

Залман Градовский

В сердцевине ада: Записки, найденные в пепле возле печей Освенцима

От составителя

1

Зарождению и прорастанию этой книги серьезно помог его величество Случай. В 2004 году, разыскивая в фондах Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге материалы о советских военнопленных, Николай Поболь и пишущий эти строки обнаружили в каталоге упоминание о записной книжке Залмана Градовского.

Знакомство с этим документом, написанным на идиш, и его историей иначе как потрясением назвать нельзя. И едва ли не первым движением души — еще до погружения в тему и в соответствующую литературу — стало: это должно зазвучать и по-русски! И уже в январе 2005 года — года 60-летней годовщины с момента освобождения Освенцима — увидели свет первые на русском языке публикации Залмана Градовского.

То были публикации «Письма потомкам»[1] — небольшого, но яркого фрагмента в переводе Меера Карпа. Все остальное нуждалось прежде всего в тщательном переводе (с последующим комментарием), как нуждалась в нем и вторая — «иерусалимская» — рукопись Градовского, узнать о которой довелось уже из научной литературы. За этот неподъемный труд взялась и довела его до конца Александра Полян.

Естественно, что параллельно возникла и другая задача — попытка осмысления того, что же представляют собой тексты Градовского, что значат они для истории и литературы. Каждая новая фаза работы над этим материалом давала только частичные ответы и каждая ставила новые вопросы, порой еще более трудноразрешимые.

Выходу данной книги предшествовало появление различных ее фрагментов в целом ряде изданий. Изначально это было «Письмо потомкам» в российской и немецкой периодике (московские «Известия» и «Еврейское слово», берлинские «Еврейская газета» и «Judische Allgemeine»), позднее вышли и более обширные фрагменты из записок Градовского в сопровождении аналитических материалов.

Бесспорно, важнейшей явилась публикация всего текста Градовского и значительной части сопровождающих его материалов в трех номерах журнала «Звезда» за 2008 год: июльском, августовском и сентябрьском. По сути, это не что иное, как журнальная версия книги в целом[2]. Здесь впервые все дошедшие до нас тексты Залмана Градовского были представлены на русском языке и в переводах, специально выполненных с первичных источников.

Настоящее книжное издание существенно отличается от сокращенной журнальной версии. И не только своей полнотой (то есть размером и составом), но также структурно и текстуально. Так, например, закравшееся в журнальную версию и традиционное для советско-российской историографии обозначение описываемых лагерей как Освенцим и Бжезинка исправлены на аутентичные Аушвиц и Биркенау; кроме того, весь перевод подвергся дополнительному стилистическому редактированию.

Иной стала и композиция текстов Залмана Градовского. Основное различие — в их компоновке. В журнальной публикации «Письмо» Градовского — его обращение к потомкам — открывало повествование, благодаря чему весь текст окрашивался эмоциональностью и темпераментом автора. В нашей же книжной версии мы придерживаемся историко-хронологического подхода, в результате чего «Письмо» — явно последнее из написанного Градовским и уж во всяком случае последний сохранившийся документ — переместилось в конец и замыкает собой все ту же трехчастную композицию.

Книга начинается с описания того, что предшествовало Аушвицу («Дорога в ад»), повествование продолжается изложением событий, происходивших в Аушвице-Биркенау («В сердцевине ада») и завершается «Письмом из ада». В нем звучит своего рода предсмертный крик автора, в котором содержится обращенный к нам — его современникам и потомкам — завет: найти записки, прочитать, понять и сохранить гневную память о том немыслимом, что здесь, в земном аду, творилось. Завершает книгу Приложение, которое обогащает читательское восприятие предложенных текстов.

Перевод текстов Градовского с идиш в настоящем издании выполнен А. Полян с наиболее аутентичных источников: часть I («Дорога в ад») с оригиналов, хранящихся в ВММ МО РФ, а также с издания этого текста, выпущенного проф. Б. Марком (Тель-Авив, 1977); часть 2 («В сердцевине ада»; в публикации в «Звезде» — «Посреди преисподней») дается по микрофильму с рукописи, хранящемуся в архиве Яд Вашем. И наконец, часть 3 («Письмо из ада»; в предыдущих публикациях — «Письмо потомкам») пред-

ставлена составителем в переводе М.Л. Карпа. Все переводы для настоящего издания отредактированы составителем.

Название второй части — оригинальное, авторское, остальные части озаглавлены составителем.

Завершает книгу Приложение «Чернорабочие смерти», написанное Павлом Поляном.

Разумеется, книжная версия по сравнению с журнальной располагает и гораздо более развернутым сопроводительным аппаратом: предисловие «От переводчика» и вступительная статья составителя «И в конце тоже было слово...» предшествуют корпусу текстов Градовского, а непосредственно за ним следует Приложение Павла Поляна. Оно состоит из нескольких статей, в которых разносторонне освещается быт и работа «зондеркоммандо», подготовка и ход восстания узников, а также описывается история обнаружения рукописей и их публикаций.

Перечисленные материалы вводят в книгу дополнительный и существенный контекст. Это прежде всего история «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и контекст Холокоста в целом, затем — освобождение Освенцима-Бжезинки и искусственное «выветривание» еврейского ядра из исторической канвы происходившей здесь трагедии. И, наконец, описание и анализ аналогичных рукописей других членов «зондеркоммандо», найденных возле крематория. Перевод на русский язык и изучение этих текстов могли бы стать логичным продолжением настоящего проекта, его своеобразным развитием вширь. Его развитием вглубь могло бы стать приращение текста самого Градовского с помощью современных технических средств, используемых в криминалистике. Их грамотное и осторожное применение позволило бы прочесть и те места оригинального текста, что до сих пор не поддавались прочтению и расшифровке.

Первое издание настоящей книги, приуроченное к 65-летию Победы, увидело свет в начале мая 2010 года (издательство Гамма-Пресс, Москва). К сожалению, Приложение не вошло в это сокращенное издание — упущение, которое выправляется в настоящем, втором, издании. Текст перевода и преамбулы переводчика дается без изменений, различия во вступительной статье незначительны и вызваны необходимостью учета информационного поля Приложения.

2

Термины «шоа» и «холокост» употребляются в настоящем издании в соответствии со сложившейся практикой как де-факто синонимы. В то же время этимологически они весьма отличаются друг от друга: «холокост» — по-гречески — это «жертвоприноше-

ние», «воскурение», а «шоа» — на древнееврейском — «бедствие», «катастрофа». Само по себе уподобление катастрофы жертвоприношению более чем сомнительно, но в русском языке, как и в немецком, в отличие, впрочем, от Английского, не существует словарного различения двух типов жертв — жертв геноцида и жертв культового заклания, что смягчает названное противоречие и делает приемлемой широко распространившуюся практику словоупотребления «холокост».

Обозначение Аушвиц закреплено за городом Освенцим в период национал-социализма и за названием современного музейного комплекса, а Аушвиц I — за основным, или базовым, концлагерем. Во всех послевоенных контекстах мы пользуемся топонимом Освенцим.

Принятая в настоящем издании (вслед за «Календарием» Дануты Чех) индексация крематориев римскими цифрами охватывает пять крематориев Аушвица и Биркенау и начинается с самого первого, расположенного возле основного лагеря в Аушвице I; остальные четыре крематория, с запада на восток, получили номера с II по V.

В настоящем издании приняты следующие сокращения:

ВММ МО РФ — Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург;

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва;

ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР;

Каценельсон, 2000 — Каценельсон И. Сказание об истребленном народе. М. 2000;

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории, Москва;

РГВА — Российский государственный военный архив, Москва;

ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза;

ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны РФ, Подольск;

ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия при Совнаркоме СССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба, Москва;

Яд Вашем — Национальный мемориал Катастрофы и героизма еврейского народа, Иерусалим;

АРМАВ — Archiv Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oswięcim, Polska (Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау, Освенцим, Польша);

Baum, 1962 — Baum, Bruno. Widerstand in Auschwitz. Bericht der internationalen antifaschistischen Lagerleitung. Berlin: Kongress-ferlag, 1962;

Czech, 1989—Czech, Danuta. Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz/Birkenau 1939–1945 /Vorwort Walter Laqueur. Rowohlt, 1989;

Greif, 1999 — Greif G. «Wir weinten trenenlos...» Augenzeugenberichte der jüdischen «Sonderkommandos» in Auschwitz. Frankfurt am Main, 1999;

Gutman, 1979— Gutman I. Der Astand der Sonderkommando //Auschwitz. Zeugnisse und Berichte. Koln — Frankfurt-am-Main, 1979;

Halvini, 1979 — Halvini T. The Birkenau Revolt: Poles prevent a Timely Insurrection // Jewish Social Studies. Vol.51, No. 2. 1979. Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1. — Inmitten des grauenvollen Verbrechens: Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Hefte von

Auschwitz. Sonderheft 1. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Oswiecim, 1972;

Kagan, 1979 — Kagan R. Die letzten Orfer des Widerstandes // Auschwitz. Zeugnisse und Berichte. Koln — Frankfurt-am-Main, 1979;

Kraus, Kulka, 1991 — Kraus O., Kulka E. Die Todesfabrik Auschwitz. Berlin, 1991;

Langbein, 1979 — Langbein H. Die Kampfgruppe Auschwitz//Auschwitz. Zeugnisse und Berichte. Koln — Frankfurt-am-Main, 1979;

Muller, 1979 — Muller, Filipp. Sonderbehandlung: 3 Jahre in den Krematorien und Gaskammern von Auschwitz. 1979;

Nyiszli, 1960. — Nyiszli, Miklos. Auschwitz: a Doctor's Eyewitness Account. New York, 1960;

Venezia, 2008 — Venezia, Shlomo (im Zusammenarbeit mit B.-Prasquier). Meine Arbeit im Sonderkommando Auschwitz. Munchen, 2008;

Zeugen, 2002 — Friedler E., Slebert B., Killian A. Zeugen aus der Todeszone. Das jüdische Sonderkommando in Auschwitz. Luneburg, 2002;

ZIH — Zydowski Instytut Historyczny, Warszawa (Институт еврейской истории. Варшава).

В книге использованы материалы из АРМАВ, ГАРФ, ВММ МО РФ, собрания Х. Волнермана и П. Поляна.

3

В заключение я хочу искренне поблагодарить Нью-Йоркский Фонд еврейского культурного наследия за сильную поддержку этого проекта, позволившую провести необходимые разыскания

в архивах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Иерусалима, Варшавы и Освенцима, а также перевести и снабдить комментарием все дошедшие до нас тексты Градовского.

Кроме того, я хочу поблагодарить всех тех, кто лично — трудом или советом — поспособствовал его успеху.

Это Рашид Капланов (Москва), Арно Люстигер (Франкфурт-на-Майне) и Арон Шнеер (Иерусалим), поддержавшие заявку проекта на его начальной стадии.

Это Александра Полян (Москва), которая не только самоотверженно переводила во многих отношениях трудные тексты Градовского, не только снабжала их ценными и лаконичными комментариями, но и всегда была заряжена на плодотворную и конструктивную дискуссию, касавшуюся буквально всех аспектов выполнения проекта и подготовки книги.

Это Ира Рабин (Берлин), в накаленных спорах с которой оттачивались или рождались многие аспекты восприятия и оценки как творчества Градовского, так и его исторического контекста (ей же я обязан многочисленными и разнообразными историко-ведческими уточнениями и подсказками).

Это Николай Поболь (Москва), взявший на себя часть труда по архивным разысканиям.

Это Иосиф Волнерман (Иерусалим), сын Хаима Волнермана — открывателя и публикатора одной из рукописей З. Градовского, предоставивший сохранившиеся у него материалы.

Это Денис Датешидзе (Санкт-Петербург), редактор журнала «Звезда», чье взволнованное и скрупулезное чтение выявило целый ряд остававшихся еще не решенными вопросов, что премного способствовало поиску и частичному обнаружению ответов на них.

Это Марк Зильберквит, Ольга Гусева и Дмитрий Аникеев (директор, редактор и художник издательства ГАММА-ПРЕСС), в темпераментном общении с которыми эта книга приобретала свои контуры и черты.

Это Гидеон Грайф и Андреас Килиан, израильский и немецкий историки, чьи работы о «зондеркоммандо» во многом определяют на сегодняшний день уровень изученности этого вопроса, отчасти зафиксированную на специальном сайте, созданном в 2003 году А. Килианом и руководимой им «Независимой рабочей группой по исследованию истории еврейской «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау»: www.sonderkommando.de

Это российские, израильские, польские и американские архивисты и ученые, без помощи которых книга не могла бы состояться. Среди них — сотрудники Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге А. Будко, А. Волькобич, В. Грицкевич, В. Лопухов и, в

особенности, И. Козырин; сотрудники Мемориала Яд Вашем: Д. Банкье, Н. Гельперин, И. Гутман, М. Ионина, Н. Коэн, Р. Марголина; сотрудники Государственного музея в Освенциме В. Плоса и Ф. Пипер; Института еврейской истории в Варшаве Э. Бергман, А. Жбиковский и М. Чайка; Института национальной памяти в Варшаве Р. Ляшкевич и Я. Пивовар и Мемориального музея Холокоста в США: П. Блэк и П. Ильин.

Кроме того, это еще и ученые-историки и специалисты по другим дисциплинам, к которым составитель и переводчица не раз обращались за консультацией и советом: И. Альтман (Москва), М. Ерчиньский (Варшава), К. Зелинский (Люблин), П. Карп (Санкт-Петербург — Лондон), М. Карпова (Иерусалим), К. Кратцат (Фрайбург), С. Лопатёнок (Санкт-Петербург — Лондон), Е. Левин (Иерусалим), М. Куницки-Гольдфингер (Варшава), В. Москович (Иерусалим), Г.Г. Нольте (Ганновер), А. Ольман и Р. Маркус (Иерусалим), А. Парик (Прага), А. Полонская (Москва), Я. Савицкий (Фрайбург), Л. Смиловицкий (Иерусалим), Д. Терлецкая (Москва), Ю. Царусски (Мюнхен) и В. Чернин (Иерусалим — Москва).

Павел Полян

От переводчика

Наследие З. Градовского представляет собой три рукописи — два дневника, которые он вел в Аушвице, и письмо, написанное незадолго до восстания «зондеркоммандо», одним из руководителей которого он был.

Попытки перевода текстов Градовского на русский язык уже предпринимались[3].

В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге хранятся перевод письма Градовского, сделанный М.Л. Карпом, и довольно любопытный документ — 16-страничный машинописный текст, считающийся, согласно картотеке, переводом дневника Градовского на русский язык (переводчица Миневич; датировано 23 июля 1962 года). Он представляет собой более-менее точный перевод нескольких первых листов, за которым следует контаминация отдельных фрагментов из середины и конца записной книжки. Текст, к сожалению, недостоверен (порой переводчица явно домысливает то, чего не смогла прочесть в рукописи), изобилует ошибками и содержит огромное количество лакун, так что считать его полноценным переводом мы не вправе.

Дневник «В сердцевине ада» на русский язык переведен нами впервые.

Таким образом, настоящее издание является первым полным переводом корпуса сохранившихся текстов Градовского на рус-

ский язык. Этот корпус состоит из трех частей. Первая и третья из них в настоящем издании озаглавлены составителем как «Дорога в ад» и «Письмо из ада», вторая носит авторское заглавие «В сердцевине ада». Это документы разного объема и разной степени сохранности.

Находящееся в фондах Военно-медицинского музея «Письмо из ада» (или «Письмо потомкам») сохранилось прекрасно, его перевод достаточно точен, так что переводчику и публикатору оставалось только восстановить авторское деление на абзацы.

Там же хранится дневник «Дорога в ад». Его текст записан на 82 страницах небольшой записной книжки. Большинство ее листов исписаны только с одной стороны; на страницах с 1-й по 39-ю текст написан на каждой строке, на страницах с 40-й по 73-ю — через строчку, а с 74-й по 82-ю — снова на каждой строке. Несколько последних листов (стр. 73–79) заполнены с обеих сторон. Каждая страница насчитывает от 20 до 38 строк.

Сохранность документа посредственная: хорошо читаются только около 60 % текста на каждой странице, остальное размыто. Наибольшую трудность для расшифровки представляют верхняя часть страниц (от 2 до 17 строк) и самая нижняя строка, а также левый край всех страниц рукописи.

Авторская рукопись дневника «В сердцевине ада» утрачена, перевод выполнен по копии, сделанной после войны Х. Волнерманом. Копия сохранилась прекрасно и хорошо читается: текст написан на линованной бумаге с полями, с большим межстрочным интервалом.

«Дорога в ад» и «Посреди преисподней» описывают разные события: первая — выход из гетто и путь в Освенцим, вторая — лагерную жизнь (кульминационных моментов два: ликвидация терезинского семейного лагеря и селекция «зондеркоммандо»). Рукописи различаются и по форме: первая представляет собой именно дневник, вторая — три литературных текста, написанных по мотивам лагерных событий: лирическое эссе, обращенное к луне («Лунная ночь»), драматическое описание уничтожения чешских евреев («Чешский транспорт») и психологический очерк, посвященный разделению «зондеркоммандо» («Расставание»). Все три части предварены преамбулами, при этом преамбула к первой части графически оформлена так, как будто она предпослана всему дневнику.

Вторая и третья части второго дневника написаны уже душевно больным человеком, человеком, находящимся после двух лет работы при газовых камерах на грани помешательства. «Чешский транспорт» заканчивается следующей сценой: заключенный «зондеркоммандо» сидит и долго смотрит в печку, в которой

сторают человеческие трупы (все это подробнейшим образом описано). В «Расставании» есть пространное патетическое эссе о барачных нарах. В переводе мы позволили себе несколько отредактировать эти фрагменты со стилистической точки зрения.

Градовский, уроженец Сувалок, пишет на белорусско-литовском диалекте идиша (Сувалки, как и несколько других пунктов на северо-востоке Польши, в отличие от остальных польских городов, входят в ареал распространения северного диалекта идиша). Орфографию своего текста он пытается приблизить к уже складывавшемуся в то время литературному стандарту правописания, но влияние его родного диалекта все же довольно сильно. Те части дневников, которые посвящены жизни в лагере, изобилуют немецкими заимствованиями — как в лексике, так и в синтаксисе. В текстах Градовского отразилось и особое словоупотребление, сложившееся в среде узников. Говоря об отношении лагерного начальства к заключенным, Градовский избегает по отношению к узникам слова «человек», называет их только «номер» или «хефтлинг». Часто используется слово «бокс» — отсек нар, на которых спали заключенные. Во время написания «Дороги в ад» это слово кажется Градовскому странным и непривычным, во втором дневнике — «В сердцевине ада» — оно уже употребляется безо всяких объяснений. Барак может называться словами «барак», «блок» и «кейвер» — «могила».

В публикуемом тексте отточиями в квадратных скобках обозначены фрагменты, оставшиеся для нас нечитаемыми. В угловых скобках даются конъектуры, неавторский текст выделяется курсивом. В некоторых случаях указывается количество непрочитанных строк.

Александра Полян

П. Полян. И в конце тоже было слово... (вместо предисловия)

*...Последние евреи догорали.
Сияло небо, словно высший
Зритель
Хотел полюбоваться на Конец.
И. Кдценелъсон. Сказание об
истребленном народе*

*Холокост нельзя
рассматривать <...> как
большой погром,*

*как случай, когда история в
своем движении
поскользнулась.
Никуда не деться, приходится
рассматривать Освенцим
как последнюю станцию, на
которую Европа прибыла
после двух тысячелетий
построения этической и
моральной культуры...
И. Кертеш. Из Нобелевской речи*

*Дорогой находчик, ищите везде!
З. Градовский. Письмо из ада*

1

Залман (Залмен[4]) Градовский родился в 1908 или в 1909 году в польском городе Сувалки недалеко от Белостока. Его отец Шмуэл Градовский владел магазином одежды на улице Лудна. Он обладал очень хорошим голосом и служил кантором главной городской синагоги, а также учителем талмуда. Мать Сорэ — скромная, гостеприимная женщина. Ее дед, раввин Авром-Эйвер Йоффе, был выдающимся знатоком и толкователем Закона (гаоном) и почтенным талмудистом, автором книги «Махазе Авраам» («Видение Авраама»), а отец — Иегуда Лейб — автором другого толкования — «Эвен Лев» («Камень сердца»)[5].

Все три сына — Залман (Хаим-Залман), Авром-Эйвер и Мойше — учились в ломжинской иешиве. Двое старших занимались общественной работой — они были лидерами в молодежных организациях (в частности в союзе «Слава юношей Сувалок»). Залман также участвовал в объединении, которое снабжало кошерной едой еврейских солдат польской армии, служивших в Сувалках.

Залман получил еврейское и общее образование, знал европейские языки и европейскую литературу, много читал на идиш и по-польски[6]. У него была явная склонность к писательству. Залман обладал волевым и амбициозным характером, был физически силен и в то же время сентиментален.

Незадолго до начала Второй мировой войны Градовский женился на Соне Апфельгольд[7], портновской дочке из местечка Лунно под Гродно, с которой случайно познакомился в Лососно около Гродно. На фотографии, сделанной, видимо, вскоре после свадьбы, у обоих (но особенно у Залмана) нежное выражение

лица, какое бывает только у молодоженов, еще не познавших ни счастья, ни морщин родительских чувств, но уже полностью к ним подготовившихся. Соня хорошо пела, и ее глубокий грудной голос, украшавший молитву, совершенно созрел и для колыбельных.

Когда разразилась война и Сувалки оказались под угрозой немецкой оккупации, супругам уже было не до детей. Они сочли за благо стать беженцами и перебраться к свекру — в Лунно, сулившее им безопасность. Местечко находилось в 40 км к юго-востоку от Гродно и было не под немцами, а под Советами.

Лунно расположилось на удивление живописно — на берегу Немана и в окружении лесов. Оно как бы срослось в одно целое с другим местечком — Воля, отчего их иногда и воспринимали и называли как синонимы, а иногда и объединяли топонимически (Лунно-Воля)[8]. Славилось местечко своими сапожниками и портными да еще частыми пожарами. Событиями всемирно-исторического значения летопись Лунно не перегружена: в 1812 году через него на восток прошла армия Наполеона, а в Гражданскую войну веком позже здесь на короткое время стоял со штабом Лев Троцкий.

Перед войной в Лунно насчитывалось около двух тысяч жителей, большинство — около трехсот семей — евреи. В целом местечко было из бедных, но Апфельгольды были одними из самых зажиточных: тестю Градовского, портному по основной профессии, принадлежали также продуктовый магазин и лавка канцелярских товаров.

Сам Градовский работал здесь конторским служащим, но, ощущая в себе и литературное призвание, и тоску по Земле обетованной, писал в высокопарном стиле статьи о своей любви к Сиону. Его зять — писатель-коммунист Довид Сфард[9] (кстати, единственный из всей семьи, кто, подавшись в Москву, уцелел![10]) — вспоминал позднее об идеологических спорах с Градовским и о его первых литературных опытах, которые тот приносил ему на суд[11].

Палестина была давней мечтой Градовского, туда он стремился перебраться всей семьей. Один из его шуринов, Волф, уже было согласился, но другой шурин, Сфард, все колебался и тянул с решением. На размышления он взял себе год, но никто и не подозревал, что этого года про запас ни у кого из них уже не будет...

В сентябре 1939 года на Польшу с двух сторон напали сразу оба заклятых соседа — Германия и Россия. Лунно располагалось восточнее линии Керзона и досталось Советам. Полтора года новая власть «воспитывала» польскую элиту, а заодно и миллион с лишним новообретенных евреев, но Залмана Градовского и его

семьи эти репрессии не коснулись. К моменту нападения Германии на СССР ему было тридцать два или тридцать три года.

Граница была так близко, а немцы наступали так стремительно, что ни о какой эвакуации на восток и речи быть не могло. И хотя все предчувствовали эту войну и ждали ее, но никто и подумать не мог, что Красная Армия сдаст Гродно так легко и так быстро. Тихо и без боя немцы вошли в город уже 23 июня, на второй день войны![12]

Лунно-Воля была оккупирована 25 июня[13], и в первый же день здесь были расстреляны несколько евреев по подозрению в связях с советской разведкой. В начале июля в Лунно был создан юденрат под председательством бывшего главы общины Якова Вельбея. Юденрат, по определению, был призван не столько защищать евреев, сколько быть инструментом оккупационной политики по отношению к ним. Эта политика заключалась в управлении жизнью евреев, в обеспечении немецких интересов рабочей силой, в получении различных сборов и контрибуций и только после этого — в их уничтожении. В числе членов юденрата был и Залман Градовский, он отвечал за санитарно-медицинские вопросы[14].

В сентябре 1941 года все евреи из Лунно-Воли были согнаны в гетто, располагавшееся в Воле[15]. За все время существования гетто каких-то чрезвычайных событий в нем не произошло, очевидцы припоминают только убийство одного еврея-сумасшедшего и «ведерную повинность» — когда замерз водопровод, каждого еврея обязали принести по три ведра воды из Немана.

В окружной столице, в Гродно, было на порядок больше евреев и на порядок больше проблем. 29 июня в Гродно прибыла Einsatzkommando № 9 и сразу же принялась «за дело»: на завтра в городе уже был сколочен юденрат во главе с директором еврейской школы Давидом Бравером. Даниил Кловский[16] в книге «Дорога из Гродно» пишет, что поговаривали, будто бы Бравер и немецкий комендант Гартена[17] — старые приятели, когда-то вместе учились в одном университете в Германии, и что, мол, благодаря этому гродненских евреев оккупационные власти первое время «не слишком притесняли». Однако это «не слишком притесняли» не могло быть не чем иным, как самоиронией[18]: уже в июле 1941 года здесь расстреляли первых восемьдесят евреев[19].

Дома, среди своих, — последнее место, где еврей, хотя бы немножечко (пусть и ненадолго), еще ощущал себя человеком. Но в конце октября 1941 года для многих наступила пора попрощаться и со своими жилищами: немцы выгородили в Гродно два гетто. Первое, «украшенное» сторожевыми башнями, располагалось в самом центре города, в пределах улиц Переца, Виленской, Найдун-

са и Замковой, а второе — на Скидельской и соседних с ней улицах[20]. Всего в Гродно перед войной жили около тридцати тысяч евреев — цифра немалая, хотя и не идущая ни в какое сравнение с Белостоком, Лодзью, Люблином или Варшавой. Около двадцати тысяч было приписано к первому и еще семь-восемь тысяч ко второму гетто.

Каждый прожитый в гетто день мог оказаться для любого еврея последним — по приказу коменданта, обершарфюрера СС Курта Визе, их вешали или расстреливали за малейшую провинность. Рассказывали, что он и сам любил поупражняться в стрельбе по движущимся живым мишеням с желтыми нашивками на груди[21]. А потом выяснилось, что точно так же вели себя и Стрелблев с Хинцлером — коменданты второго гродненского и третьего — келбасинского — гетто[22].

Линия фронта удалялась от Лунно и Гродно так стремительно, что уже начиная с 17 июля они попали в зону гражданского управления, став частью Рейхскомиссариата Остланд. Но 18 сентября 1941 года город Гродно вместе с северными и юго-восточными окрестностями был включен в состав так называемого Белостокского дистрикта, который, в свою очередь, еще 15 августа был передан под внешнее управление гауляйтера Восточной Пруссии Э. Коха, то есть де-факто (но все-таки не де-юре) присоединенного к рейху[23]. Эта административная деталь на протяжении более чем года служила лучшей защитой проживавшим в округе евреям: в то время как большинство восточнопольского, белорусского и украинского еврейства уже систематически расстреливалось айнзацгруппами СД — «белостокских» раскидали по гетто и долгое время почти не трогали[24].

Но в конце 1942 года добрались и до них. Между 2 ноября 1942 года и началом марта 1943 года немцы проводили во всем Белостокском дистрикте акцию Judenrein[25] — одну из операций по зачистке оккупированной территории. Еврейское население из 116 городов и местечек этого дистрикта стонялось в пять крупных транзитных полугетто-полулагерей, располагавшихся в Белостоке (в казармах 10-го уланского полка польской армии), Замброве, Богушеве, Волковыске и Келбасине[26] — гродненском пригороде, что всего в нескольких километрах от Гродно по Белостокскому шоссе[27].

У лагеря в Келбасине своя предыстория. С 21 июля и по ноябрь 1941 года здесь велось строительство — и одновременно эксплуатация — огромного (площадью около 50 га) лагеря для военнопленных[28]. Военнопленным поначалу было еще хуже, чем евреям, — в лагере содержались до 36 тысяч человек, половина погибла непосредственно в лагере. До сентября 1942 года этот огоро-

женный колючей проволокой барачный лагерь функционировал как дулаг, то есть транзитный лагерь исключительно для военнопленных. Но затем, ненадолго, его превратили в так называемый лагерь для военнопленных и гражданского населения. А это означало, что сюда на короткие сроки в отдельные бараки загоняли и гражданских — перед тем как отправить их куда-нибудь на работы или, если обнаружатся среди них партизаны, евреи или окруженцы, расстрелять.

Третьей сменой этого лагеря в ноябре 1942 года и стали евреи: здесь, в бывшем дулаге, разместилось одно из пяти областных «транзитных гетто». Евреи в таких гетто задерживались совсем ненадолго: по мере заполнения барачных и поступления вагонов их обитателей систематически отправляли в Аушвиц. Однако немцы и юденрат с его полицейскими деликатно называли это «эвакуацией» и говорили об отправке евреев на какие-то работы в Германию. Начальником лагеря был обер-шарфюрер СС Карол Хинцлер, сильный, атлетического сложения человек. Как и у многих эсэсовцев в схожем положении, в его натуре постепенно брал верх садист: он лично избивал и убивал узников — безо всякой причины, просто так.

Первыми в Келбасин стали свозить евреев из окрестных местечек — Индура, Сопоцкина, Скидлы и еще многих-многих других[29]. Понятно, что и евреям из чуть более отдаленной Лунно-Воли также было не миновать этой судьбы. 1549 евреев оттуда были депортированы в Келбасин 2 ноября 1942 года, среди них и Залман Градовский со своими домашними[30]. Барак, в котором разместили их и еще три сотни человек, был наполовину вкопан в землю: в сущности, это была большая землянка. Окна забиты, и внутри всегда, даже днем, стоял полумрак. Теснота, смрад, грязь — и в то же время холод и земляночная сырость пробирали насквозь, отопления и электричества не было. «Сколько же людей здесь успело перебывать! — наверняка думал каждый, кто сюда попадал. — И где они — все те, кто тут был до нас?»

Остальные условия в Келбасине были соответствующие: так, единственный источник воды — ручной колодец — находился вне лагеря и почти ежедневно выходил из строя. Впрочем, для питья эта вода все равно не годилась. Из еды — пайка 170 граммов почти несъедобного хлеба плюс пара картофелин на человека, через день — теплая тюря-суп.

В лагере появились и распространились болезни, люди заболели, быстро превращаясь в дистрофиков и доходяг (таких в концлагерях называли еще «мусульманами»). Для тифозников была устроена больница. В ней работал доктор Яков Гордон, его имя еще встретится в этом повествовании. Кладбище заменяла

огромная открытая яма, куда сбрасывали трупы умерших, слегка пересыпанные известью.

Возможно, что в Келбасине, как и в Лунно, Градовский входил в состав санитарной команды[31]. В этом угрюмом лагере он и его близкие провели около месяца. Раз или два в неделю с близлежащей станции Лососно — той самой, где Градовский познакомился со своей женой, — уходили эшелоны с «эвакуированными». Места «эвакуации» предусмотрительно не назывались, особенно Треблинка, к этому времени уже ставшая притчей во языцех. Аушвиц же к этому времени еще не завоевал своей «славы». Когда 5 декабря[32] — на третий день Хануки — объявили о новой «эвакуации», жена Залмана Градовского, прекрасная певица, вдруг затянула Maoz Zur — песню, подобающую этому дню[33].

Охрана построила евреев из Лунно в колонну по пять и вывела за ворота Келбасино. На станции Лососно их погрузили в поджидавший поезд, и охрана вернулась в Келбасин, где уже ждали следующие[34]. Сам Келбасинский лагерь закрыли 19 декабря, в нем к этому времени оставались только гродненские евреи числом самое большое на один эшелон — около 2000 человек. В основном все из «полезных евреев» — представителей профессий, потребных в местном хозяйстве, и членов их семей. Для слабых и больных даже подали подводы![35]

Эшелон с Градовским, проследовав через Белосток, подошел к Варшаве, но налево, в направлении Треблинки, не повернул. Треблинка была у всех на слуху, ее все боялись. Но радоваться было решительно нечему: миновав Катовиц, поезд прибыл в Аушвиц. Произошло это 8 декабря 1942 года.

В Аушвице их «встречали», и на рампе[36] — этом эсэсовском чистилище — произошла заурядная в таких случаях селекция: слабые и не пригодные к труду женщины, старики и дети до 14 лет — всего 796 человек — составили две длинные шеренги слева (отдельно женщины с девочками и отдельно пожилые или слабые мужчины с мальчиками), а остальные 231 человек, крепкие и здоровые мужчины, — еще одну шеренгу, но покороче, справа[37].

Тех, кто оказался слева, затолкали, не церемонясь, в крытые брезентом грузовики, и в тот же день все они — а стало быть, и мать, жена, две сестры, тесть и шури́н Градовского — погибли. Грузовики привезли их в местность чуть ли не идиллическую — внешне напоминавшую польский хуторок. После разгрузки всех заставили раздеться в легкой постройке и, дав по кусочку мыла, запустили в переоборудованную из крестьянского дома «баню» с на удивление массивными дверями и небольшим круглым окошком — на самом же деле в газоню.

С недоумением все смотрели наверх, на совершенно сухие крапы, — обещанную воду все никак не пускали, а когда невидимые им люди в газовых масках вбросили сверху в «душевую» какие-то зеленоватые пористые кристаллы, жить им оставалось всего несколько минут, — правда, очень мучительных. Этот незримый, без цвета и запаха, газ — Циклон Б[38] не знал жалости: перекрывая (буквально) человеческим тканям кислород, пары синильной кислоты начинали свое действие с невыносимой горечи во рту, затем царапали горло, сжимали грудину, вызывая головную боль, рвоту, судороги и одышку. Так что можно было только позавидовать тем, кто оказывался ближе всего к упавшим сверху кристаллам — вслед за короткими судорогами счастливчик терял сознание и уже не чувствовал, как наступал паралич всей дыхательной системы! Искореженные страданием, вцепившиеся друг в друга, окровавленные и перепачканные испражнениями трупы извлекали, грузили на вагонетки и сбрасывали в огромные и никогда не остывавшие ямы-костры... Не забыв, разумеется, перед тем заглянуть им в рот и вырвать золотые зубы, а у женщин — еще и выдрать сережки и срезать волосы.

2

...Отныне в живых из всей семьи оставался только он один — Залман Градовский, человек из правой шеренги[39]. Крепкий и здоровый, он был нужен рейху пока живым.

Всю их шеренгу пешком отконвоировали в Биркенау, в гигантский новый лагерь, расположенный в нескольких километрах от старого. Там их ожидали «формальности»: регистрация в 20-м блоке (для чего всех отобранных на рампе заставили выстроиться по алфавиту) и получение номеров, затем — в так называемой сауне — татуирование номеров, состригание волос, душ и полная перемена одежды и обуви, и уже после этого — ночевка в холодном 9-м блоке[40].

На следующий день поздно вечером — еще одна селекция и, как оказалось, это был отбор в «зондеркоммандо»: из их партии взяли от 80 до 100 человек (а всего в новую «зондеркоммандо» — около 450 человек). Всех разместили во 2-м блоке[41] — вместе с оставшимися в живых старожилами «зондеркоммандо». А утром 10 декабря, то есть фактически без соблюдения трехнедельного карантина, конвоиры-эсэсовцы с собаками уже выводили «новеньких» на работу...[42]

Итак, не спрашивая на то согласия, Градовскому «оказали доверие» и включили в лагерную «зондеркоммандо». Это была совершенно особая команда, почти сплошь состоящая из заключенных евреев и обслуживавшая весь конвейер смерти (только самое

убийство немцы не могли доверить евреям и оставляли за собой). Именно члены «зондеркоммандо» извлекали трупы из газовен, сбрасывали их в костры или загружали в муфели крематориев, ворошили их пепел и хоронили, выкапывали и перезахоранивали бранный пепел сотен тысяч людей, убитых на этой фабрике смерти. Надо ли говорить, каким потрясением для Градовского и его товарищей было осознание их новой «профессии». Особенно угнетала, конечно же, их собственная роль в процессе убийства — их пусть навязанное, но все же принятое пособничество этому процессу.

Есть свидетельства того, что всякий раз, когда «работа» была сделана и «зондеры» возвращались в свой барак, Грановский, как, наверное, и многие другие, мысленно творил кадиш по душам усопших, а если обстоятельства позволяли, то доставал из укрытия талес, закутывался в него, надевал тфилин и читал кадиш уже по-настоящему, плача и всхлипывая. Оба кошмара — кошмар самого убийства и кошмар пособничества ему[43] — мучили и терзали Градовского, в конечном счете, пополнившись мотивом малодушия (см. раздел «Расставание»), стали основным моральным стержнем его повествования. Кажется, он был чуть ли не первым из числа тех, кого впоследствии огульно будут считать и даже называть коллаборантами, кто сформулировал для себя эту умопомрачающую проблему и кто заговорил о ней сам. Этому посвящены, быть может, самые потрясающие строки в его записках.

Замаранный этой «работой», он истово мечтал или о самоубийстве, на которое не оказался способен, или о восстании, которое кровью смоет этот и другие грехи — его собственные и всех остальных[44]. И, наверное, он был в этих мучительных мыслях не одинок. Члены «зондеркоммандо» хорошо себе представляли, что и как здесь происходит, и никаких иллюзий относительно собственного будущего ни у кого из них тоже не было. Так что не случайно именно в их среде вызрело и 7 октября 1944 года — на пятый день праздника Суккот — вспыхнуло беспрецедентное в своем роде восстание в главном лагере смерти — в Биркенау, где дено и ночью горели четыре из пяти аушвицких крематориев.

Символический смысл восстания понятен, но был ли еще и практический? Казалось бы, зачем был нужен этот обреченный на неуспех бунт, все участники и даже тайные помощники которого все равно наверняка будут убиты или казнены? Один из ответов на этот вопрос дает сам Градовский в своих записках. В его голове не укладывалось: почему так бездействуют союзники? Почему с юга, с американских аэродромов в Италии, или тем более с востока (начиная с июля 1944 года Красная Армия стояла

всего в 90 км от знаменитой браны[45] с пресловутой сентенцией![46]) — почему же не прилетают американские или советские самолеты и не бомбят эти печи и эти газовни, этот не знающий передышек конвейер смерти с суточной производительностью около четырех с половиной тысяч мертвецов?[47] Почему?

Как раз в августе 1944 года заместитель секретаря Министерства обороны США Джон Мак-Клой был вынужден отвечать на аналогичный запрос, поступивший из еврейских кругов. 9 августа Арьеж Леон Кубовицкий, руководитель Отдела по спасению евреев Всемирного еврейского конгресса, переадресовал ему сообщение Эрнеста Фришера из Чехословацкого государственного совета: «Я уверен, что разрушение газовых камер и крематориев в Освенциме посредством бомбардировки возымело бы сейчас серьезный эффект. Немцы в настоящее время эксгумируют и сжигают трупы в попытке скрыть следы своих преступлений. Это может быть предотвращено разрушением крематориев, после чего немцам, возможно, придется прекратить массовые уничтожения, особенно учитывая то, как мало времени у них осталось. Бомбардировка железнодорожных коммуникаций в этом же районе может иметь значение и в сугубо военном отношении».

Итак, бомбардировка цехов фабрики смерти, по убеждению Фришера и Кубовицкого, смогла бы пресечь или до крайности затруднить дальнейшие акции по уничтожению евреев.

В своем ответе от 14 августа Мак-Клой писал об имевших место консультациях с Комитетом по делам беженцев войны по вопросу о целесообразности этих предложений. Анализ показал, что такая операция потребует мобилизации самых различных ресурсов и их отвлечения от других оперативных задач. И все это — при столь большом сомнении относительно эффективности их использования, что в этом случае не стоит и рисковать! Закругляя отписку, он не постеснялся подобрать следующие слова: «Относительно эффекта от предлагаемых мер, в случае если бы они даже были осуществлены, сложилось общее мнение, что они способны спровоцировать карательные акции со стороны немцев в еще большей степени. Министерство обороны полностью разделяет гуманитарные мотивы, лежащие в основе Вашего предложения, но по вышеизложенным причинам такая операция не будет или не может быть произведена, по крайней мере в настоящее время»[48].

Лукавый цинизм этого ответа становится особенно очевидным, если вспомнить, что уже 20 августа американцы отбомбились, и именно в этом районе: их целью, однако, были не цеха фабрики смерти в Биркенау и даже не подъездные пути к ним, а фабричные корпуса в Моновице, расположенном всего в 5 км от Бирке-

нау!

Градовский словно прочел эту позорную переписку с Мак-Клоем. Он словно заглянул в холодные и равнодушные глаза врагов своих врагов — и не нашел в них ни лучика понимания или сострадания!

Что ж, нельзя не поразиться точности и тонкости восприятия Градовским геополитической ситуации в мире, поистине невероятной в таких условиях. Но не менее точны и справедливы, хотя и очень горьки, выводы, к которым он после такого анализа приходит: «Несмотря на хорошие известия, которые прорываются к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность широкой рукой уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Создается впечатление, что союзные государства, победители мира, косвенно довольны страшной участью нашего народа».

Что ж, членам «зондеркоммандо» оставалось полагаться лишь на себя, и они это делали. Запасались не только оружием, но и взрывчаткой, а когда восстали, то первым делом они взорвали и подожгли крематорий IV[49], который так больше и не заработал. Вспыхнув — буквально — только на одном из крематориев, восстание сумело перекинуться еще на один — на II, а по некоторым сведениям, и на остальные крематории.

Одним из руководителей восстания и был Залман Градовский, работавший на мятежном IV крематории и героически погибший в перестрелке с эсэсовцами. Некоторые очевидцы называют его даже главным руководителем восстания[50].

Но еще за месяцы до восстания он совершил два других своих подвига — подвиг летописца и подвиг конспиратора. Много месяцев вел он дневник и другие записи, в которых детально описал важнейшие процессы и события того ада, в котором оказался.

Шломо Драгон, постоянный дневальный барака «зондеркоммандо», так описал Градовского и его летописание: «Залман Градовский из Гродно расспрашивал различных членов «зондеркоммандо», работавших на разных участках, и составлял списки людей, которых отравили газами и сожгли. Эти записи он закапывал возле крематория III[51]. <...> Градовский описал весь процесс уничтожения. Мало кто знал, что он вел эти записи; только я как штубовый знал это. Мы старались создать ему условия для ведения записей, потому что обстановка, честно сказать, этому не способствовала. Его постель была у окна, чтобы у него было достаточно света для писания. Это мог только штубовый обеспечить <...> Он говорил нам, что миру нужно оставить свидетельство о происходившем в лагере. Когда он начал записывать, мы уже точно знали, что наши шансы на выживание равны нулю. Всякий раз немцы убивали членов «зондеркоммандо», и кто же знал, что

кто-то из нас сумеет уцелеть. <... > Градовский был среди нас и делал то же самое дело, что и мы. Хочу напомнить, что среди нас был еще один еврей, которого мы звали судьей — магид из Макова, Макова-Мазовецкого [Лейб Лангфус. — П.П.]. Он тоже писал, как и Градовский, оба спали на одних и тех же нарах. Градовский писал в тетрадках, которые заготовливал я. Для схронов он разработал целую методику: он клал бумаги в стеклянные емкости, напоминающие термосы...»[52]

О том, что Градовский и магид писали по ночам свои дневники, которые потом прятали в бутылки, залепляли воском и закапывали, вспоминал и Э. Айзеншмидт[53].

Еще один уцелевший узник Аушвица — Яков Фреймарк из Сувалок, работавший на складах команды «Канада»[54] и потому бывавший «по служебной надобности» в крематориях[55], — также подтвердил, что лично видел, как Градовский начиная с лета 1943 года вел самые различные записи и прятал их в пепле[56].

Залман Градовский сумел не только засвидетельствовать все происходящее (что и само по себе в условиях концлагеря было героизмом), он сумел еще и надежно схоронить свои записи для потомков, точно рассчитав даже то, где со временем, вероятнее всего, пройдут раскопки. «Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вести раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших», — писал он в записной книжке[57].

В этих словах — уверенность в поражении зла, уверенность, несмотря ни на что. Так поступить и так написать мог только человек с колоссальным историческим самосознанием и с поистине выдающимся человеческим оптимизмом!

Об исторической ценности записок Градовского можно и не говорить: он нисколько не преувеличивал, когда писал сразу на четырех языках: «Кто заинтересуется этим документом, тот получит богатый материал для истории». Вместе с записями других членов «зондеркомmando» это прямой репортаж из самой утробы фабрики уничтожения — и, тем самым, не что иное, как центральный документ Катастрофы.

Этого письменного свидетельства совершенно достаточно для того, чтобы прекратить все пошлые дебаты о том, был или не был Холокост[58]. Тем поразительней, что ни в одной из центральных экспозиций Шоа — ни в Иерусалиме, ни в Вашингтоне, ни в Берлине и ни в Париже — фигуре и деяниям Градовского не нашлось не просто заслуженного, а вообще никакого места!

3

После того как 27 января 1945 года Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау со всеми его филиалами и ушла дальше на запад, на территории концлагеря остались полевые, а затем тыловые госпитали, а также представители ЧГК — Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний. В марте здесь были организованы различные лагеря для немецких военнопленных и интернированных поляков, но в течение практически всего февраля территория лагеря была отдана на откуп кладоискателям — мародерам из местных жителей.

На большую часть территории доступ никем не запрещался, что не мешало местному населению бродить по лагерю, проникать в бараки и служебные помещения, где можно было найти много вещей, протезов, игрушек, мешки с женскими волосами, сосуды с эмбрионами, извлеченными из маток беременных женщин. Особенно волновала этих «черных археологов» из Освенцима территория газовых камер и крематориев в Биркенау. Именно туда, ходили те, чей стяжательский энтузиазм питался исключительно слухами о кладах с еврейским золотом и драгоценностями, а как же иначе? — повсюду аккуратненько поназакапывали прежде, чем принять причитающуюся им смерть.

Едва ли эти омерзительные чаяния оправдались прежде чем нашелся где-то золотой зуб, то об этом мы едва ли узнаем.

Но иногда кладоискатели натыкались в пепле или земле на банки или бутылки, внутри которых что-то действительно было. Но «что-то» чаще всего оказывалось никчемными рукописями на непонятном жидовском языке, и скорее всего их разочарованно выбрасывали в помойку[59]. Кое-кто, однако, успел сообразить, что и на этом можно сделать деньги, и предлагал эти находки тем, кто мог их купить — а именно уцелевшим евреям, чаще всего местным польским, или же бывшим узникам, которых тянул к себе, еще не остывший ад — Ад, который они пережили, а большинство нет.

Были среди них и члены «зондеркоммандо»: они наверняка знали где надо копать, и по их наводкам действительно было найдено несколько закладок с рукописями[60]. Первая такая находка и оказалась рукопись Градовского! — была сделана еще в феврале 1945 г., когда ни музея в Освенциме, ни самого польского государства еще не было: как вещдок она попала в фонды ЧГК и пролежала в запасниках Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге чуть ли не четверть века — пока на нее не упал глаз историка!

В самом же бывшем концлагере некоторые время находились лагеря для немецких военнопленных и для так называемых си-

лезцев — интернированных польских граждан немецкой национальности.

Уже в марте 1945 года фронтовой приемно-пересыльный лагерь для военнопленных № 22, находившийся в ведении 4-го Украинского фронта, был передислоцирован в Освенцим из Самбора и Ольховцов[61]. Здесь же обосновались и два спецгоспиталя — № 2020 и № 1501, обслуживавших перевозку немецких военнопленных в глубь СССР. А в апреле Освенцим, к которому подходят ветки как западноевропейской, так и советской железнодорожной колеи, стал узловым местом сосредоточения и перевалки военнопленных перед отправкой их на восток; поблизости оказались и склады с топливом, вещевым имуществом и эшелонным оборудованием. В результате в уцелевшую и отчасти восстановленную барачную инфраструктуру бывших Аушвица и Биркенау с их суммарной остаточной емкостью вплоть до 50 тысяч человек в апреле — мае 1945 года были передислоцированы еще два лагеря — фронтовой приемно-пересыльный лагерь для военнопленных № 27 из Подебрад и сборно-пересыльный пункт № 5 из Оломоуца[62]. В мае номер лагеря изменился (из № 22 он стал № 87), но сама дислокация в Освенциме была подтверждена и в июне[63].

По всей видимости, деятельность этих лагерей продолжалась на протяжении всего лета 1945 года, при этом в Освенциме застревали те, кто не был годен к транспортировке и физическому труду в советских лагерях[64]. Осенью 1945 года лагерь для «силезцев» был переведен в Явожно.

В конце 1945 года было принято решение о возвращении территории бывшего концлагеря Польской народной армии и о создании в Освенциме и Бжезинке государственного музея. В апреле 1946 года был назначен его первый директор-организатор — д-р Тадеуш Войсович, бывший узник Аушвица и Бухенвальда. Фактическое открытие музея состоялось 14 июня 1946 года, в 7-ю годовщину прибытия в Аушвиц I первого транспорта с первыми заключенными-поляками[65].

Но не надо думать, что, как только музей в Освенциме был создан, музейщики занялись активными и целенаправленными раскопками: самые первые археологические экзерсисы музея состоялись только спустя 15 лет — в начале 1960-х годов, и то под давлением бывших узников из «зондеркоммандо». Такая пассивность прямо вытекала из послевоенной политики стран Восточного блока по отношению к Холокосту и памяти о нем.

В преломлении концепции Освенцимского музея это выглядело примерно так: «Дорогие посетители, вы находитесь в самом чудовищном из существовавших при нацизме концентрацион-

ных лагерей... Здесь сидели многие десятки тысяч польских патриотов. Как всем хорошо известно, мы, поляки, мужественно и героически боролись с эсэсовцами и тяжело за это страдали... — Что-что, еврей? Да-да, еврей здесь тоже были, да, правда, миллион или больше, да, правда, их тоже обижали, да, часто, но все же главные жертвы и главные герои — это мы, поляки!»

...В результате из нескольких десятков закладок, спрятанных «зондеркоммандо» в пепле и земле вокруг крематориев, были обнаружены и стали достоянием истории и историков всего во семь.

И две из них — рукописи Залмана Градовского[66].

4

Расскажем о них подробнее — и о том, как их нашли, и о том, что с ними случилось, и о том, какая архивная и какая издательская судьба выпала этим слизанным временем и силезскими дождями свидетельствам — центральным, если задуматься, документам в истории Холокоста[67].

«Дорогой находчик, ищите везде!..» — взывал к потомкам Залман Градовский. Но первый же из находчиков его рукописей в точности знал, где надо искать, — и нашел! Им был Шломо Драгон, бывший узник Аушвица (№ 80359) и товарищ Градовского по «зондеркоммандо». 18 января 1945 года, во время массовой эвакуации лагеря («марша смерти»), ему удалось уцелеть, бежав из колонны в районе Пшины. В конце января он вернулся в Польшу — сначала в свой родной Журомин под Варшавой, а оттуда — в свой бывший концлагерь и находился в нем все время, пока там работала советская ЧГК. 5 марта 1945 года во время раскопок — в точности там, где их предвидел Градовский! — в одной из ям с пеплом возле крематория IV в Биркенау он и обнаружил схрон Градовского[68].

Раскопки велись в присутствии представителей ЧГК — полковника Попова[69] и эксперта по уголовным делам Н. Герасимова. Попову Ш. Драгон и передал свою находку[70] — обернутую резиной алюминиевую немецкую полевую фляжку с широким горлом (по-польски — «менажку»). Передача и осмотр фляги были запротоколированы[71]. Протокол же гласит:

«При осмотре установлено:

Фляга алюминиевая широкогорлая, немецкого образца, длиной 18 см, шириной 10 см. Горлышко в диаметре 5 см. Фляга закрыта алюминиевой завинчивающейся крышкой, внутри которой имеется резиновая прокладка. На одном боку фляга имеет вмятину и небольшое отверстие, через которое во фляге виден сверток бумаги.

При открытии фляги через горлышко извлечь содержимое не представилось возможным. С целью извлечения содержимого фляга была рассечена и содержимое извлечено.

При осмотре содержимого выявлено: записная книжка размером 14,5x10 см, в которой на 81 листе имеются записи на еврейском языке. Часть книжки оказалась подмоченной. В книжку вложено письмо на еврейском языке на двух листах. Книжка и письмо завернуты в два чистых листа бумаги. В чем и составлен протокол».

Итак, первая весть от Залмана Градовского! Его записная книжка с вложенным в нее письмом, плотно закатанная в широкогорлую, но все же очень узкую солдатскую флягу, немного поврежденную, вероятнее всего, лопатой самого Ш. Драгона. Текст на идиш, по его же свидетельству, был немедленно переведен бывшим узником Аушвица доктором Яковом Гордоном[72].

За чисто медицинские аспекты нацистских преступлений в ЧГК «отвечал» профессор М.И. Авдеев, организовавший в годы войны систему учреждений военной судебно-медицинской экспертизы, которую сам и возглавлял до 1970 года[73]. Он, в свою очередь, позаботился о том, чтобы «менажка» и рукописи попали в Военно-медицинский музей Министерства обороны СССР[74].

В музее поступление было зарегистрировано под четырьмя отдельными сигнатурами: № 21427 — это процитированный протокол осмотра алюминиевой фляги, № 21428 — сама фляга, № 21429 — письмо З. Градовского (рукопись и перевод на русский язык) и № 21430 — записная книжка З. Градовского, 82 листа[75].

Два последних номера соответствуют двум различным документам, находившимся во фляжке[76].

Немного о самой книжке. В обложке из черного коленкора, размером 148x108x10 мм, она была исписана синими и черными чернилами. Из ее первоначальных 90 страниц сохранились 81 — остальные были вырваны (и, скорее всего, самим Градовским — для того, чтобы легче было затолкнуть ее в тесную фляжку). Те же страницы, что сохранились и дошли до нас, изрядно пострадали от пребывания в сырой земле — они сильно подмочены и местами совершенно нечитаемы.

На фоне такой сохранности записной книжки не может не вызывать удивления отличное состояние письма. Вероятнее всего, Градовский, опасавшийся за герметичность хранения с записной книжкой, выкопал ее и перезахоронил в обернутой в резину фляжке, вложив в нее и наскоро написанное «Письмо потомкам»[77].

К оригиналам были приложены и имевшиеся в наличии переводы[78].

Самое первое в СССР упоминание о документе проскользнуло (иначе не скажешь) в 1980 году — в составленном В.П. Грицкевичем каталоге «Воспоминания и дневники в фондах [Военно-медицинского] музея»[79]. Вскоре после этого в музей приезжали сотрудники журнала «Советише геймланд» («Советская родина»), переписавшие среди прочего и записки З. Градовского, но публикация в журнале, насколько известно, не состоялась[80].

Однако еще в конце 1961 года или самом начале 1962 года сведения о рукописи Градовского и даже ее текст достигли Польши. Старший научный сотрудник ВММ МО РФ в Ленинграде кандидат медицинских наук А.А. Лопатёнок[81] обратился к директору Института еврейской истории в Варшаве Бер Марку[82] с письменной просьбой опубликовать дневник Градовского, для чего к письму были приложены микрофильм «Дневника» и, видимо, фотокопия перевода письма на русский язык.

Антон Адамович Лопатёнок родился 20 сентября 1922 года в Ульяновске, где в длительной командировке находилась его семья, и уже в двухлетнем возрасте вернулся в Ленинград. По окончании школы в 1940 году поступил в Военно-морскую медицинскую академию, которую окончил в 1945 году. Будучи курсантом, участвовал в Великой Отечественной войне, имеет боевые награды. В 1948 году окончил Ленинградский филиал Всесоюзного юридического заочного института, получил диплом юриста. С 1951 по 1954 г.г. обучался в адъюнктуре при кафедре судебной медицины ВММА. Защитил кандидатскую диссертацию. В то же время тесно сотрудничал с Военно-медицинским музеем, где участвовал в создании зала жертв фашизма.

В 1950-е годы служил врачом на Балтийском и Черноморском флотах, а с 1960 по 1969 г.г. — в Группе советских войск в Германии в городах Потсдаме и Магдебурге, где много сотрудничал с немецкими коллегами (имеется несколько написанных в соавторстве с ними научных работ). По возвращении из ГДР продолжил службу в Военно-медицинской академии в Ленинграде, где возглавлял редакционно-издательский отдел и активно занимался преподавательской и научно-просветительной работой. Службу в армии закончил в звании полковника медицинской службы. Находясь на пенсии, занимался вопросами истории медицины, в конце 80-х годов был научным сотрудником Военно-медицинского музея МО СССР. Умер 9 февраля 2003 года, похоронен на Богословском кладбище в Петербурге[83].

Уже в марте 1962 года работа над переводом текста Градовского на польский была закончена, и на заседании Польского исторического общества в Варшаве Б. Марк прочитал доклад о еврейском Сопротивлении, а также проинформировал собрание о Гра-

довском и его дневнике.

В мае 1962 года воспоследовали две публикации Б. Марка в газете «Фольксштимме» («Голос народа»), выходящей в Варшаве на идиш. Первая из них (анонимная, но авторство Б. Марка не вызывает ни малейших сомнений) содержала большую часть текста Письма[84], сделанные при этом купюры явно цензурные[85].

В 1963 году Бер Марк ездил в Ленинград, где он, первым из исследователей Холокоста, познакомился с оригиналом Градовского и в 1964 году усовершенствовал свой перевод на польский язык[86].

Затем польский востоковед Роман Пытель проверил и заверил его перевод, стилистически его отредактировал и даже сумел прочесть несколько не прочитанных Марком фрагментов.

С упомянутой анонимной заметки в «Фольксштимме», являющейся по сути обратным переводом с русского на идиш[87], и с двух купюр в процитированном полностью Письме (в качестве подарков от польской цензуры) и повела свой отсчет история публикаций текстов Залмана Градовского. Впервые текст записных книжек и полный текст Письма были опубликованы на польском языке — в переводе и с предисловием Б. Марка — только в 1969 году, в выпуске «Бюллетеня Еврейского исторического института» в Варшаве за второе полугодие 1969 года.

Самого Б. Марка к этому времени уже не было в живых, и публикацию к печати готовила его вдова — Эдварда (Эстер) Маркова. И делала она это, скорее всего, под большим идеологическим нажимом: текст ее публикации, увы, существенно отличался от оригинального перевода, подготовленного Б. Марком. Так, были сделаны изъятия и даже изменения цензурного свойства, при этом купюры на тексте никак не были обозначены и нигде не сообщалось хотя бы то, что публикуемый текст — неполный.

Лишь после того, как Э. Маркова оказалась на Западе, она сумела опубликовать текст Градовского корректно и полностью — сначала, в 1977 году, в оригинале (то есть на идиш), а затем и в переводах: в 1978 году — на иврит, в 1982-м — на французский, в 1985-м — на английский и в 1997 году — на испанский языки.

Указанные дефекты, однако, не были исправлены в публикациях Государственного музея Аушвиц-Биркенау. В 1971 году на польском языке вышел специальный выпуск «Аушвицких тетрадей», посвященный извлеченным из пепла рукописям «зондеркоммандо». Текст Залмана Градовского представлен в нем лишь фрагментами, касающимися собственно Аушвица, а внутри публикации вмешательство цензуры оставлено без изменений.

В 1972 году этот же выпуск был повторен на немецком языке, а в 1973-м — на английском. С существенными дополнениями по составу он вышел на немецком языке еще раз — в 1996 году, но все, что касается текста Градовского, осталось без изменений: «иерусалимская» рукопись из собрания Х. Волнермана даже не упомянута, а дефекты в переводе «ленинградского-санкт-петербургского» текста не исправлены.

Первые публикации Градовского на русском языке (и только «Письмо потомкам»!) состоялись в январе — марте 2005 года, в связи с 50-летием освобождения Освенцима. До этого ни одной строчки на русском языке не появлялось[88], да и само имя Градовского в то время оставалось практически неизвестным даже лучшим специалистам.

5

Куда менее ясны обстоятельства, при которых была найдена вторая рукопись Градовского, носящая авторское заглавие «В сердцевине ада» и содержащая его наблюдения и мысли об Аушвице и событиях, происходивших в нем.

Судьба этой рукописи оказалась неотрывной от судьбы Хаима Волнермана — человека, который ее спас для истории.

Саму рукопись, по одной версии, нашел молодой польский крестьянин — один из освенцимских «кладоискателей», имя которого осталось для истории неизвестным, а по другой — столь же безымянный советский офицер[89]. Обе версии сходятся на покупателе: им стал Хаим Волнерман — местный, ушпицинский, то есть освенцимский[90], еврей, вернувшийся сюда в марте 1945 года[91].

Он родился 12 декабря 1912 года в семье знатных бобовских хасидов. Отец — Иосиф Симхе, мать — Эстер; поженились они еще во время обучения отца в иешиве. Назвали его в честь прадедушки, Хаима-Цви Купермана, который примерно 40 лет был председателем религиозного суда (бейс дина). После хедера Хаима послали учиться в бобовскую иешиву, и он до конца своих дней оставался пламенным и верным хасидом Бенциона Халберштама (4-го бобовского ребе). Занятий Торой Хаим не бросал никогда, но из-за экономических трудностей, антисемитизма и с благословения ребе Хаим начал работать прорабом на «Раппорт-френкл» — знаменитом текстильном заводе Абэла Раппорта в Билице. Одновременно занимался общественной работой: был одним из основателей филиала «Поалей агудат Исраэль» (религиозной сионистской партии) в Ушпицине-Освенциме и организатором курсов для будущих эмигрантов в Палестину (изучение Торы, истории еврейства, профессиональные навыки в

различных областях), а также курсов по оказанию первой медицинской помощи и помощи раненым (что весьма пригодилось ему самому в испытаниях Холокоста: немцы приказали ему организовать медпункты в лагерях, где он был — Живице и Бунцлау).

Уцелев, Волнерман вернулся в Ушпицин и пошел в те чудовищные лагеря, что окружали его родной город. Он и представить себе не мог того, что увидел в них, как не мог представить и того, насколько глобальным было уничтожение евреев. Первое время он ходил по лагерю в поисках хоть каких-нибудь следов своих близких, но потом понял, что среди бесчисленного числа погибших в Аушвице людей разыскать следы отдельной семьи просто невозможно.

И тут-то к нему подошел некий гой (по одной версии — поляк, по другой — русский офицер) и предложил купить у него что-то, что тот нашел под крематорием в Биркенау. Это были четыре тетрадки, запечатанные в проржавевшую металлическую емкость (не то банку, не то ящик), каждая тетрадь была испещрена записями на идиш убористым почерком. Пролистав рукопись, Волнерман сразу же понял, что он держал в руках: аутентичное свидетельство о том, что и как происходило в Аушвице-Биркенау. Не торгуясь, он купил все тетрадки.

Да, это было поистине потрясающее приобретение! Многие месяцы Хаим посвятил прочтению и переписыванию рукописи. Часть ее было невозможно расшифровать, потому что бумага крошилась в руках от недавней влажности; в части недоставало слов или целых предложений (в таких случаях он помечал: «не хватает»).

Вскоре в одном из лагерей в Нижней Силезии он нашел жену. Они мечтали уехать как можно скорее в Израиль, но получить нужные бумаги сразу после войны было исключительно тяжело: пришлось задержаться. Волнерман занялся торговлей и осел в городке Лауф близ Нюрнберга, где обзавелся пропусками во все союзнические зоны. Затем в Мюнхене он одно время был секретарем главного раввина Германии Шмуэла Або Шнейга.

Все свое свободное время он разбирал записки Градовского и переписывал их на идиш в свою записную книжку. Расшифровка шла с трудом и заняла много времени. Волнерман даже разгадал одну из загадок рукописи: числа, стоящие в скобках в конце одного из предисловий — (3) (30) (40) (50) и т. д., — это гематрия (числовое значение) имени автора: Залман Градовский[92]. Дойдя до адреса А. Иоффе — американского дяди Градовского, он написал ему в Нью-Йорк письмо и вскоре получил ответ с фотографиями Градовского. Желая показать Иоффе весь текст записок племянника, Волнерман даже отказал Еврейскому музею в Праге, обра-

тившемуся к нему с предложением о приобретении рукописи[93].

В 1947 году, так и не дождавшись легальных документов, Волнерманы обзавелись фальшивыми — сертификатами возвращающихся в Палестину ее жителей. Они упаковали весь свой багаж в ящики, но в самый последний вечер, когда Хаим с женой ушли праздновать свой отъезд с друзьями, их обокрали. Они лишились всего: среди украденного был и оригинал дневников Градовского! Чудом уцелели всего лишь пять листов оригинала и — полностью — собственноручная копия Волнермана[94].

Сразу по прибытии в Палестину Хаим стал работать в больнице Хадасса в Иерусалиме. Жизнь эмигрантская, даже если ты приехал в Сион — на чужбину столь долго желанную и родную, — исключительно тяжела и требует от новичка всего и сразу. Так что, переехав в Израиль в 1947 году, Волнерман смог снова вернуться к Градовскому только в 1953 году.

Однажды он взял все, что у него уцелело, — и оригиналы Градовского, и полную переписанную им копию — и отнес показать их в Яд Вашем. Там ему не поверили и чуть ли не обвинили в подделке!

Позже, когда обнаружилась другая рукопись Градовского, ситуация изменилась. Но неизменным оставался результат: извлеченные из пепла, записки еще долго не могли дойти до читателя.

Во-первых, никто не брался за перевод. Все, к кому Волнерман ни обращался (Эрих Кулка и Эли Визель, например), говорили, что это решительно невозможно — адекватно передать такое на другом языке.

Во-вторых, не находилось и заинтересованного издателя. Даже Яд Вашем, по словам Волнермана, не мог найти денег хотя бы на публикацию. Не мог или не хотел? Ведь эти записки не слишком вписывались в «героическую»[95] концепцию музея! Уж больно покорными и обреченными смерти представляли в них евреи. Да и по отношению ко всем членам «зондеркоммандо» тогда еще преобладали черно-белые краски.

Прошло еще двадцать два (!) года, пока, наконец, в 1977 году Волнерман не смог осуществить это издание сам, на свои средства![96] Тогда же, в 1977-м, вышла и другая книга Волнермана — и тоже за собственный счет: книга памяти местечка Освенцим, над которой он работал всю жизнь. Тиражи обеих привезли одновременно — 10 декабря, а через два дня — в день своего 65-летия и в последний день Хануки — Волнерман умер.

Иначе как катастрофой нельзя назвать и судьбу оригинала этой рукописи, и судьбу ее первого издания в Израиле. На протяжении тех долгих лет, пока Волнерман и Яд Вашем вели друг с другом безуспешные переговоры, копия рукописи находилась во

владении семьи Волнермана. Там же, по сообщению Иосифа Волнермана (сына Х. Волнермана), находится она и сейчас.

Поскольку ознакомление с самой рукописью оказалось затруднено, источниками текста для нашей публикации послужил микрофильм, сделанный с копии Волнермана и хранящийся в архиве Яд Вашем[97], а также книжное издание на идиш 1977 года.

Но потребовалось еще 22 года, пока эти записки Градовского дождались своего перевода на европейские языки[98]. Впрочем, служебный — для нужд сотрудников Музея в Освенциме — перевод на польский язык был сделан еще в конце 1970-х годов, но полностью, по нашим сведениям, он до сих пор не опубликован.

В марте 1999 года «В сердцевине ада» впервые выходит на немецком языке — в сборнике «Терезинцы: материалы и документы», приуроченном к 55-летию уничтожения семейного лагеря в Аушвице[99]. Увы, и эта публикация была избирательной и частичной. В нее вошла лишь повествующая об этом глава «Чешский транспорт» в прямом переводе с идиш, с примечаниями и предисловием Катерины Чапковой; к публикации была впервые приложена фотография Залмана Градовского и его жены. Первая же и третья части рукописи Градовского («Лунная ночь» и «Расставание») были вовсе опущены, а вторая («Чешский транспорт») давалась со множеством купюр, сделанных в соответствии с их «уместностью» или «неуместностью» в разговоре о чешском транспорте[100]. Этот провинциальный патриотизм явился сквозной и малоприятной особенностью первых восточноевропейских публикаций. Если публикация готовилась в терезинском контексте, то печатался только фрагмент про «семейный лагерь», если же в аушвицком — то только про Ауш-виц (и даже обозначающие купюры отточия проставлялись не всегда).

Просто поразительно, насколько все перечисленные публикаторы были равнодушны к тому чуду, что находилось в их руках! Даже бросающаяся в глаза художественность, с которой написан текст Градовского, вызывала у той же К. Чапковой чуть ли не сомнение: а мог ли такое и так описать какой-то там член «зондеркоммандо»?[101]

Иными словами, повсюду Градовский становился жертвой различных идеологических конструкций и музейных «концепций».

И вот, повторяюсь, сухой остаток: ни в одной из крупнейших экспозиций мира, посвященных Шоа, вы и сегодня не найдете его имени!

6

Первым переводчиком текстов Залмана Градовского на русский язык был врач Яков Абрамович Гордон.

Он родился в Вильно 30 июня 1910 года. В момент нападения Германии на СССР работал врачом в местечке Озеры близ Гродно. 13 июля 1942 года вместе с братом его схватило гестапо и обвинило в помощи партизанам, совершившим накануне успешный налет на Озеры. Братьев зверски избили, но ни признания в соучастии, ни сведений о местах, где скрывались партизаны, от них не добились. Из Озер их доставили в тюрьму Гродно, возили в гестапо на Народомещанскую улицу, но и здесь они не признали обвинения. Наконец, 12 ноября 1942 года их перевели из тюрьмы в лагерь Келбасин, где Гордон встретил своих родителей и где он снова стал работать врачом[102]. После ликвидации лагеря 19 декабря Гордон вернулся в Гродненское гетто пешком вместе с последними 2000 евреев, избежавшими участи большинства. В Гродно он встретил свою жену и детей. Спустя месяц, 19 января 1943 года, началась ликвидация гетто, продлившаяся пять дней. Евреев согнали в синагогу и оттуда снова конвоировали в Келбасин-Лососно — прямо для погрузки в вагоны.

Эшелон с Гордоном и его семьей отправился из Лососно 21 января в 18.00 и уже через сутки с небольшим его встречали аушвицкая рампа, прожекторы, овчарки, палочное битье — одним словом, селекция. Своими глазами он видел, как его жена и дети залезали в грузовик... Сам он после всех процедур в приемном 22-м и ночи или двух в распределительном 19-м блоках попал 25 января в 26-й рабочий блок со специализацией на строительстве дорог. Дробление камней кайлом, укладка гравийно-щебневой подушки — эта была тяжелейшая физическая работа в сочетании с побоями, недоеданием и антисанитарией. В марте, дойдя до веса 38 кг и как врач понимая, что долго он так не протянет, Гордон обратился в 12-й блок — лазарет, где рассказал врачу Каролю Орловскому, что он тоже врач, и попросил о трудоустройстве по профессии. Гордона, уже почти «доходягу», перевели сначала в 22-й (приемный) блок, где он проработал до середины апреля 1943 года, а потом в 3-й («резервный») блок, где находились выздоравливающие узники, выписанные из больницы. Все это происходило в секторе Б лагеря Биркенау, но 9 августа 1943 года Гордона перевели в 21 — й блок базового лагеря в Аушвице-1, в хирургическое отделение больницы. Здесь ситуация в целом была получше (имелась вода, соблюдалась гигиена и т. д.), но по соседству вместо «зондеркоммандо» оказался «штрафкоммандо» — 11-й блок с его знаменитой «стеной смерти», где жизнью и смертью заключенных заправляло политическое управление лагеря.

В 21-м блоке Гордон оставался до самого освобождения 27 января 1945 года, сумев избежать и общей эвакуации лагеря, и ликви-

дании оставшихся. Он входил в состав Комиссии, в тот же день составившей первый акт о национал-социалистических преступлениях в концлагере Аушвиц. Его имя как врача, свидетельствующего о преступных медицинских экспериментах над узниками Аушвица, упоминается в «Сообщении ЧГК о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме» от 8 мая 1945 года[103].

Наконец, 5 марта 1945 года Яков Гордон не только скрепил своей подписью факт обнаружения Ш. Драгоном рукописей Залмана Градовского, написанных на идиш, но и с листа перевел на русский язык его «Письмо из ада», или «Письмо потомкам»[104]. Этот перевод более нигде не всплывал, как и сведения о самом докторе Якове Гордоне. Записную книжку он лишь бегло пролистал и пробежал глазами: полный ее перевод, даже самый скорый, потребовал бы куда большего времени.

Вторым по счету переводчиком стал Меер (Меир) Львович Карп (1895–1968) — советский генетик и знаток еврейских языков.

С детства он жил в Киеве, в юности (после революции) побывал в Палестине, а вернувшись, жил в Крыму, в еврейской коммуне Войя-Нова; тогда же организовывал на Украине детские дома для беспризорных еврейских детей. С 1930 года он обосновался в Москве, где окончил Тимирязевскую академию, аспирантуру по генетике на биологическом факультете МГУ и защитил кандидатскую диссертацию. После защиты работал в Институте животноводства, а затем в Институте генетики, у Н.И. Вавилова. После ареста Н.И. Вавилова в 1941 году и прихода в институт Т.Д. Лысенко ушел из института и был принят в Институт ботаники АН УССР, но после войны вернулся в Москву, а в 1948 году, после известной сессии ВАСХНИЛ, был принят в Ботанический институт АН СССР в Ленинграде. Главной сферой его научных интересов была генетическая теория селекции.

В еврейских кругах М. Карп считался знатоком идиш и иврита, одно время даже работал над собственным учебником иврита. В начале февраля 1953 года его арестовали и осудили за сионизм на 10 лет (и это уже после смерти Сталина и отмены дела врачей!), которые он провел в Тайшете, освободившись в 1956 году, но не по реабилитации, а как тяжело больной. Через несколько лет с него сняли судимость, но сам за реабилитацией он обращаться не стал. Последние годы жил под Ленинградом (как нереабилитированный он не имел права вернуться в город), а потом под Москвой. Умер в Москве и похоронен на Востряковском кладбище.

Как, когда и при каких обстоятельствах им был выполнен этот перевод, остается загадкой: ни архивисты, ни члены его семьи не располагают об этом никакими данными. Самой поздней и край-

не маловероятной датой могло бы быть начало 1953 года: в феврале М.Л. Карп был арестован. Материалы Градовского были переданы в ВММ МО РФ, предположительно, в 1948 году: заказ учреждением Министерства обороны в этот и последующие годы на перевод с еврейского языка именно Карпу был едва ли возможен. Поэтому наиболее вероятная гипотетическая дата этого перевода — 1948 год, когда М.Л. Карп впервые поселился в Ленинграде.

Третьей была переводчица ЧГК Миневич (1962 г.[105]) и, наконец, четвертой — Александра Леонидовна Полян, чья работа, выполненная в 2007–2008 годах, впервые увидела свет в 2008 году в журнале «Звезда»[106]. Эта журнальная версия стала, по сути, первой в мире сводной и полноценной публикацией всех текстов Залмана Градовского — без каких бы то ни было изъятий и искажений.

7

Корпус текстов Грановского открывают записные книжки, названные нами «Дорога в ад». В них описываются депортация из Келбасина в Аушвиц и первые дни пребывания в Аушвице. Едва ли они писались как нормальный дневник или путевые заметки — по дороге и «день за днем». Записи начались уже в лагере, писались явно по памяти, но все говорит за то, что попытки осознать происходящее начались очень рано.

Своеобразным ключом к этим заметкам явилось введение в их ткань риторической фигуры некоего воображаемого друга, которого автор, вызывающийся быть по отношению к нему своего рода Вергилием, зовет себе в свидетели и попутчики.

«Дорога в ад» открывается посвящением-перечислением всей погибшей семьи Градовского. Последнее сродни зачинам: трижды — перед каждой главой — оно встречается и в следующей части, в «В сердцевине ада», играя роль своеобразного рефрена[107].

Далее текст записных книжек делится на две части. В первой описывается переселение семьи автора из Лунно в Келбасин, вплоть до погрузки в вагоны поезда, отправляющегося в Аушвиц. Во второй — описание дороги и самых первых дней пребывания в концлагере. Записки обрываются вскоре после того, как автора зачислили в члены «зондеркоммандо»[108].

Второй текст Градовского — «В сердцевине ада», или «Посреди преисподней» — состоит из трех глав: «Лунная ночь», «Чешский транспорт» и «Расставание»[109]. Каждая посвящена явлениям или событиям, потрясшим Градовского. О таком вечном «событии», как луна, еще будет сказано ниже, два же других — это ликвидация 8 марта 1944 года так называемого семейного лагеря чехо-

словацких евреев, прибывших в Аушвиц из Терезиенштадта ровно за полгода до этого[110], и очередная селекция внутри «зондеркомmando», проведенная 24 февраля 1944 года»[111].

На первый взгляд странно, что среди таких ключевых событий нет ни одного, относящегося к 1943 году. Как и то, что нет упоминаний «стахановской» ликвидации венгерских евреев. Но почему, собственно, странно? Ведь речь идет главным образом о внутренних кульминациях индивидуального восприятия Градовского. И потом: разве у нас на руках полный, завизированный автором корпус всех текстов Градовского?

Все три главы «В сердцевине ада» начинаются практически одинаково — с обращения к «Дорогому читателю»[112] и скорбного перечисления своих близких, уничтоженных немцами (иногда они начинаются с упоминания матери, иногда с упоминания жены)[113]. Дважды повторяется и адрес нью-йоркского дяди Градовского. Это придает каждой главке, с одной стороны, некоторую автономность, а с другой — имеет и литературно-композиционный смысл, ибо выполняет роль еще одного рефрена, скрепляющего все части воедино.

Поинтересуемся хронологией создания всех трех текстов. Самый ранний из них — «Дорога в ад» — был написан (или завершен?) спустя 10 месяцев после прибытия Градовского в Аушвиц, то есть в октябре 1943 года. Нет сомнений в том, что тогда же соответствующая записная книжка и была впервые спрятана в земле. Но, скорее всего, Градовскому пришлось ее выкопать и перезахоронить вместе с самым поздним их трех текстов — «Письмом из ада», датированным с точностью до дня: 6 сентября 1944 года. Датировке поддается и «В сердцевине ада», причем выясняется, что первой была написана ее третья глава («Расставание»), посвященная селекции «зондеркомmando»: 15-месячный срок со времени прибытия в Аушвиц указывает на апрель, а 16-месячный, маркирующий главу «Чешский транспорт», — на май 1944 года. Недатированной (и, по-видимому, сознательно не датированной) остается лишь первая глава — «Лунная ночь», но все же представляется, что она написана позже обеих последующих глав, то есть летом 1944 года. Ее зачин стилистически приближается к «Письму из ада». Возможно, «Лунную ночь» Градовский писал в конце августа или в начале сентября 1944 года, когда он оформлял композицию всей вещи.

Основание для такого предположения, однако, более чем зыбкое: прежде всего — это попытка реконструкции фаз душевного состояния Градовского[114]. Он и сам запечатлел тот первый шок, который пережил сразу же по прибытии в лагерный барак, когда узнал и, главное, осознал ту горькую правду, что близких его

убили, что их уже нет в живых и что его самого пощадили лишь для того, чтобы заставить ассистировать убийству сотен тысяч других евреев — точно таких же, как он сам и его семья![115]

В этот момент человек еще не член «зондеркоммандо»: он может и сам довершить селекцию, сам отрешиться от жизни и присоединиться к своим близким. Несколько таких случаев известны (люди даже сами бросались в огонь!), но то были единицы — против тысячи с лишним подписавших этот контракт с дьяволом в своей душе. Что же заставляло большинство так хотеть жить? Ведь мгновенная смерть враз прекращала все самое тяжелое — и сатанинский физический труд, и нравственные мучения и ответственность.

И все-таки верх брали непреодолимое желание жить и, почти иррациональная, воля (точнее, полуволя-полунадежда) выжить — в результате какого-нибудь чуда, например[116]. Цена этого выбора была высокой: уровень человеческого в «зондеркоммандо» был отрицательным или нулевым. Почти все уцелевшие вспоминали, что они становились бездушными роботами и что без этого автоматизма выжить они бы не смогли[117].

Это заторможенное состояние во многом сродни душевной болезни — отсюда и некоторые опасения в психической нормальности Градовского, возникавшие в связи с самой ранней из трех глав — с «Расставанием»[118]. Опасения, как нам представляется, в его случае напрасные; интеллектуальным ли усилием или как-то иначе, но он явно избежал и сумасшествия, и пресловутой стадии «робота» — в противном случае он едва ли смог бы взяться за свои записки.

Поэтому столь интенсивное и столь экспрессивное переживание селекции и, как следствие, неминуемой смерти группы узников из «зондеркоммандо» в главе «Расставание», на первый взгляд, может даже удивить: ведь ежедневно перед Градовским проходят сотни и тысячи еврейских жертв. Их настолько много, что даже самый чувствительный человек, а не робот из «зондеркоммандо», просто не в состоянии воспринять гибель каждого из них обостренно-индивидуально.

Образ семьи занимает в текстах Градовского центральное место: разделение семьи, селекцию он сравнивает с хирургической операцией. Когда с надеждой на чудо спасения собственной семьи пришлось окончательно распрощаться, те же понятия Градовский перенес на лагерное сообщество, на свое «зондеркоммандо» — отсюда и обращение к товарищам как к братьям и многое другое.

Да, они стали его семьей, его опорой и некоторой промежуточной инстанцией, примиряющей его собственное «я» с трагедией

всего еврейства, истребляемого на его глазах и не без помощи его рук. И пусть это была не семья, а ее суррогат, но чувство ее хотя бы частичной утраты заменило ему переживание смерти своих настоящих близких. И недаром он, не оплакавший, по его же словам, даже смерть горячо любимой жены, впервые за все время в Аушвице обнаружил в себе слезы и буквально оплакал другую гибель — еще не наступившую, но неизбежную смерть двух сотен товарищей, с большинством из которых у него наверняка не было и не могло быть никакого осязаемого личного контакта!

Члены «зондеркоммандо», и Градовский в их числе, слишком хорошо представляли себе всю механику смерти. Кроме, может быть, главного ее секрета — момента превращения живого и горячего тела в заледеневший труп. Градовский — единственный, кто пытается передать еще и это[119].

В целом о «нормальности» всех членов «зондеркоммандо» говорить не приходится. Уровень же человечности — а стало быть, и уровень этой ненормальности — регулировался каждым самостоятельно. Оказалось, что он напрямую зависел от готовности (не говоря уже о способности) сопротивляться обстоятельствам, в том числе сопротивляться буквально.

И лучшим лекарством от душевного недуга, несомненно, оказалась сама идея восстания, не говоря уже о счастье его практической подготовки. То, что Градовский оказался в самом узком кругу заговорщиков и руководителей восстания, наилучшим образом сказалось на его психическом самочувствии: уже в «Чешском транспорте», не говоря о «Лунной ночи», перед нами не призрак, тупо уставившийся в открытую печь, а человек, настолько хорошо ориентирующийся и отдающий себе отчет в происходящем, что может позволить себе и «роскошь» чисто художественных задач.

А в «Письме» перед нами уже человек и вовсе в состоянии, прямо противоположном состоянию робота. Это человек осознанного и прямого действия, точнее — человек накануне действия; он всецело предан подготовке восстания, скорым исходом которого он и взволнован, и, независимо от исхода, счастлив.

«Письмо из ада» завершает корпус текстов Градовского. Оно, повторим, написано самым последним из сохранившегося — 6 сентября 1944 года, то есть всего за месяц до восстания «зондеркоммандо». Оно и писалось как явное послание потомкам, *urbī et orbī* — «городу и миру», всем-всем-всем на земле. Начинающееся с описания топографии ям с пеплом и, соответственно, «зондеркоммандовских» схронов вокруг всех крематориев, оно переходит к призыву искать эти схроны везде, где только можно (призыву, увы, после войны не столько не услышанному, сколько

проигнорированному).

8

Интересна проблема подписи и авторского имени под тремя текстами. Под написанным последним «Письмом из ада» Градовский прямо поставил свое имя. «Дорога в ад» и отдельные части «В сердцевине ада», наоборот, анонимны и сверхосторожны, однако не настолько, чтобы читатель, в том числе и потенциальный читатель из лагерного гестапо, не мог бы идентифицировать автора по косвенным признакам. Кроме того, в «Дороге в ад» называются и Келбасин, и Лунно, а также время прибытия в Аушвиц.

Во второй части «В сердцевине ада», произведении, вполне законченном, имя автора не проставлено ни на одном из привычных мест — ни в начале, ни в конце. Вместе с тем сама проблематика авторской подписи вовсе не чужда Градовскому: имя свое в веках ему явно хотелось бы сохранить. Поэтому зачин второй главки подписан его инициалами, в другом месте — в конце предисловия к главе «Расставание» — он зашифровал цифрами свои же инициалы[120], а в зачине к третьей прямо просит идентифицировать себя с помощью нью-йоркского дяди и подписать записки подлинным именем их настоящего автора.

Можно предположить, что такая анонимность была вызвана соображениями конспирации и боязнью того, что записки попадут в руки врагов и могут стоить автору или кому-то еще жизни. Но почему тогда тот же страх не остановил Градовского 6 сентября 1944 года, когда он подписывал свое «Письмо»? Только ли то, что восстание («буря», как он называет его в другом месте) могло вспыхнуть в любой момент?

Думается, что свой вклад в проблему авторского имени у Градовского внесло жанровое разнообразие его произведений. Если внимательно посмотреть, то понимаешь, что каждое из них написано в совершенно особом жанровом ключе.

«Дорога в ад» — это, в сущности, реконструированный дневник, пусть и вперемежку с литературой; записи делались если и не по ходу действия, то в согласии с реальной последовательностью событий. То, что рельефно выступит в разделе «В сердцевине ада» — сила обобщения и художественность, — здесь еще только обозначено (риторическая фигура «друга», например, в части «В сердцевине ада», доросшая до не менее риторической «Луны»).

В центральной части текста Градовского — «В сердцевине ада» — художественность и эпичность сгущаются уже настолько, что заметно теснят событийность и летописность, — это уже настоящая поэзия, отрывающаяся от фактографии как таковой. Поэтому

«В сердцевине ада» представляется нам поэмой в прозе, пусть неровной и несовершенной, но все же поэмой[121]. Она эпична, но эпос ее не дантовский, не драматический, а скорее античный или библейский — по-эсхиловски трагический.

А вот «Письмо из ада» — это политическое воззвание, это письмо потомкам, героический выкрик перед смертью или перед казнью, причем выкрик не только в лицо врагам, но и в лицо союзникам. Этому жанру анонимность противопоказана, если только это не безлично-массовая листовка.

9

Впечатляет уже сама идея создать именно художественное произведение, а не документальное свидетельство[122]. Уже в «Дороге в ад», а тем более в другой вещи — «В сердцевине ада» — Градовский применяет сугубо литературные приемы. Прежде всего это обращение к читателю как к другу и свободному человеку, приглашение последовать за ним и запечатлеть трагические картины происходящего[123]. Этот читатель — не просто лирический герой, а alter ego автора; если автор погибнет (в чем сам он ни на секунду не сомневается), а рукопись сохранится, то вместе с ней уцелеет и читатель: он примет от автора эстафету и передаст ее дальше.

Градовский умеет находить точные слова, например для самого Аушвица как единого целого — «резиденция смерти». Он знает скрепляющую силу стежков-повторов и охотно к ним прибегает. Ему, как правило, удаются анафорические построения (прекрасный пример — зачин поминальной главки «Снова в бараке...» из «Расставания»). Каждая отдельная данность бытия — луна, кровать, барак, бокс (отсек) в бараке — становится у Градовского де-факто персонажем.

Он пытается обобщать не только свой личный опыт (в том числе свои детские воспоминания), но и опыт других людей: так, будучи сам ко времени начала войны бездетным, он много пишет о детях, представляя себе их переживания, их доверчивость, трудности их воспитания и т. п. — все то, что он видит вокруг себя или слышит от других. Привлекая воображение и для того, чтобы еще более оттенить ужас происходящего в Аушвице, он моделирует различные жизненные ситуации, прямым свидетелем которых сам он, может, и не был, но мог быть (например, главка «Он и она» в «Чешском транспорте» или почти аллегорическая характеристика влюбленности в «Лунной ночи»: «Два сердца плели золотую нить — и изверг безжалостно разорвал ее»). Понятно, что такая установка Градовского-писателя на практике нередко обрачивается патетикой.

В то же время он не избегает и обличительных, публицистических нот: жестко и беспощадно чеканит он фразы о преступном бездействии союзников или о бытовом антисемитизме части поляков: «...Мы жили среди поляков, большинство из которых были буквально зоологическими антисемитами. Они [только] с удовлетворением смотрели, как дьявол, едва войдя в их страну, обратил свою жестокость против нас. С притворным сожалением на лице и с радостью в сердце они выслушивали ужасные душераздирающие сообщения о новых жертвах — сотнях тысяч людей, с которыми самым жестоким образом расправился враг. <...> Огромное множество евреев пыталось смешаться с деревенским или городским польским населением, но всюду [им] отвечали страшным отказом: нет. Всюду беглецов встречали закрытые двери. Везде перед ними вырастала железная стена, они — евреи — оставались одни под открытым небом, и враг легко мог поймать их. <...> Ты спрашиваешь, почему евреи не подняли восстания. Знаешь, почему? Потому что они не доверяли соседям, которые предали бы их при первой возможности».

Вольно нам поправлять Градовского сегодня, когда мы знаем о тысячах поляков — Праведниках мира, спасавших, несмотря на риск, евреев, но в индивидуальном опыте Градовского — ни в Лунно, ни в Келбасине, ни в Аушвице — такие случаи, по-видимому, не запечатлелись.

Но не щадит он и «своих» — евреев. Так, он был поражен трусостью и предсмертной покорностью мужчин из «семейного лагеря». Как старожилы Биркенау, те не могли питать никаких иллюзий относительно того, что произойдет с ними и с их женами, но, в отличие от всех остальных, спрыгивавших с подножки поезда прямо в газовню, у них было время, чтобы подготовиться к этому и оказать хоть какое-то сопротивление (судя по всему, того же опасались и эсэсовцы). И хотя он же сам и поясняет механизмы, парализующие евреев в такие минуты, но он явно разочарован, и примирительности в его тоне не слышно.

Не щадит он своих и из «зондеркоммандо», хотя именуется их всех в главе «Расставание» не иначе как «братьями». И здесь — точно такой же «несостоявшийся героизм» евреев, прекрасно понимающих суть происходящей селекции в своих рядах, но расколотых ею надвое[124]: одни были неспособны перешагнуть через черту личной безопасности, другие — через черту личной обреченности. Это относится и к нему, Залману Градовскому, лично, и он полностью признается в своей слабости и признает свой индивидуальный позор, смыть который смогло бы только восстание.

Очень интересен эпизод о некоем «покровителе» Келбасинского гетто — вероятнее всего, об его коменданте, отбирающем у евреев последние ценные вещи. Даже этот грабеж, эта экспроприация материального добра, воспринимается евреями по-особому — как некий лучик надежды, который, как знать, еще отзовется по-доброму на их положении. Именно так — не за деньги или миску баланды, а за лучик надежды — евреи и трудятся на врага. Надежда (и прежде всего — надежда выжить) превращается в некий товар, в обмен на который можно и нужно что-то заплатить; в сочетании с наивностью и доверчивостью к врагам она оборачивается инструментом их закабаления и поддержания среди них покорности и дисциплины.

10

Между тем история Холокоста знает еще одно художественное произведение, которое можно поставить в один ряд с поэмой Залмана Градовского. Это «Сказание об истребленном народе» Ицхака Каценельсона.

Судьба самого Каценельсона (1896–1944) и его поэмы так же беспримерна. Известный еврейский поэт и драматург из Лодзи, он уже в сентябре 1939 года попадает сначала в Лодзинское, а затем в Варшавское гетто, где 19 апреля 1943 года участвует в восстании. 20 апреля 1943 года Каценельсон и его сын Цви бегут из гетто, прячутся в арийской части города и с купленными гондурасскими паспортами покидают Варшаву с необычным заданием: написать поэму! Они попадают в Vorzugs-KZ (концлагерь для привилегированных евреев), размещавшийся в Виттеле в Эльзасе. И где-то между 3 октября 1943 года и 18 января 1944 года Каценельсон поэму создает. Спустя три месяца, 18 апреля 1944 года, отца и сына депортируют сначала в Дранси, а 1 мая 1944 года — в Аушвиц, куда они прибыли 3 мая и где вполне могла состояться встреча Каценельсона с Градовским[125].

Но что же стало с рукописью поэмы? Ее судьба не менее поразительна: сохранились оба ее экземпляра! Первый (оригинал) еще в марте 1944 года был разложен в три бутылки и закопан под деревом в Виттеле. В августе 1944 года Мириам Нович откопала бутылки и передала их Натану Экку[126], который был вместе с Каценельсоном в Виттеле и ехал вместе с ним в Аушвиц, но сумел выпрыгнуть из поезда и спастись. Уже в феврале 1945 года он написал предисловие к книге и начал искать автора — в надежде на то, что и Каценельсон каким-нибудь чудом остался жив. В конце 1945 года, так и не разыскав его, Экк опубликовал поэму в Париже в виде маленькой книжки. У него к этому времени оказался и второй экземпляр поэмы, который он сам переписал зи-

мой 1944 года на папиросной бумаге, купленной на черном рынке. Стопку листов с поэмой зашили в ручку чемодана, с которым Рут Адлер[127], вооруженная уже не гондурасским, а английским паспортом, в 1945 году добралась до Палестины — а с нею и поэма![128]

Перед Каценельсоном и Градовским стояли в общем-то схожие задачи — выразить в слове всю трагическую невыразимость катастрофы, постигшей евреев.

Пой вопреки всему, наперекор природе,
Ударь по струнам, пой, сердца овладей!
Спой песнь последнюю о гибнущем народе —
Ее безмолвно ждет последний иудей.

<...>

Пой, пой в последний раз. От ярости зверея, —
Они растопчут все, что создал твой народ,
В последний раз воспой последнего еврея —
Евреев больше нет, и Бог их не спасет.

Пой — вопреки всему! Гляди померкшим взором
В пустые небеса, где прежде был Творец,
Взойди к ним по костям народа, о котором
Лишь ты поведаешь оставшимся, певец.

<...>

Кричите, мертвые, зарытые в траншеи,
Кого глодали псы, кто стал добычей рыб;
На весь кричите мир, убитые евреи,
Да оглушит живых немой предсмертный крик.
Земля не слышит вас. Небесная гробница
Безмолвна и черна. И солнца тоже нет.
Оно погасло, как фонарь в руке убийцы...
Погас и мой народ, дававший миру свет[129].

Горечь от предательского бездействия Бога переходит у Каценельсона не в громогласный упрек, а почти что в Йово богоборчество, в усомнение в самом существовании Того, кто смог все это допустить:

...Пой! Голос подними!

Пусть Он услышит, если

Там наверху Он есть...[130]

У Градовского еще больше оснований для подобного выяснения отношений со Всевышним, но, отчаявшись, он не вызывает Его на спор, ибо не связывает с Ним и упований. Если он и ждет спасения, то не сверху, а с востока — от Советов.

Бросается в глаза еще одно важное сходство между двумя поэмами. Девятая песнь «Сказания об истребленном народе» названа «Небесам» и посвящена небесам — она играет у Каценельсона

точно такую же роль, что и глава «Лунная ночь» у Градовского[131]. Оба адресуются к небесам, недоумевая, почему те — видя то, что творится внизу, — мирятся с этим и не бросают на убийц грома и молнии. Поэт разочаровывается в них («Я верил вам, я верил в вашу святость!..») и, в конце концов, просто отказывается смотреть наверх, на небеса — лживые и бесстыдные. Если евреи — все те же, что и 3000 лет назад, то небеса стали другие: лживые, бездушные, предательские. В такие небеса остается только одно — плюнуть. И тут догадка посещает поэта: «нет Бога там, на небе...»! Нет потому, что Он умер, что Он тоже умер, умер, как и Его народ, что и Он — «с гурьбой и гуртом» — тоже убиенная жертва, а с ним погибло и нечто, еще более значительное для евреев — идея единобожия!

О, небеса мои, вы опустели,
Вы — мертвая, бесплодная пустыня.
Единый Бог здесь жил — теперь он умер.
Всевышнего утратил человек.
Наш Бог — один, но людям показалось,
Что мало одного, что лучше трое;
Ни одного на небе не осталось...
Да будет проклят этот гнусный век![132]

Эта своеобразная Иова традиция — традиция разочарования и крайнего отчаяния, вплоть до усомнения и богоборчества, — восходит еще к поэмам Бялика, автора поэмы о кишиневском погроме: «Небеса, если в вас, в глубине синевы Еще жив старый Бог на престоле...»[133].

И все же у Градовского Луна — это не предательница, а свидетельница, и в вину ей он ставит лишь ту абсолютную бесстрастность, с какой она взирает на все, что творится там, внизу.

11

Залман Градовский — не только одна из самых героических фигур еврейского Сопротивления, не только летописец, конспиратор и оптимист, он еще и литератор! Его произведения — единственные из свидетельств всех остальных авторов — членов «зондеркоммандо» — не были ни дневником, ни письмом, ни газетным репортажем «с петлей на шее» из «ануса Земли», как назвал Аушвиц один из эсэсовцев[134]. И хотя не найти в мире места, более не приспособленного для литературных экзерсисов и пестования литературных талантов, чем поздний Аушвиц-Биркенау периода крематориев и газовен, установка самого Градовского была именно литературной.

Он недаром сравнивает свой «дом творчества» с преисподней. Ад, в котором пребывал и о котором поведал Градовский, неизме-

римо страшнее дантовского своей вящей реальностью, заурядной обыденностью и голой технологичностью. Но, в отличие от великого флорентийца, Залману Градовскому не довелось вернуться из этой преисподней живым.

Ни на «вынашивание замысла», ни на «работу с источниками» или над «замечаниями редактора» времени и возможности у Градовского не было. Еще до войны он показывал свои очерки главному писателю в их семье — зятю Довиду Сфарду — и все волновался: что-то он скажет о его писаниях? Тот, наверное, поругивал своего младшего родственника, — по-видимому, за неистребимый сплав сентиментальности и патетики.

Этот сплав присутствует и в публикуемых текстах. Литературным гением, в отличие от Данте, Градовский не был. Но его слово, его стилистика и его образность, изначально сориентированные ни много ни мало на еврейское духовное творчество, на поздне-пророческие ламентации в духе Плача Иеремии, посвященного разрушению Храма в 586 году до нашей эры, удивительно точно соответствуют существу и масштабу трагедии. Просто уму непостижимо, как он это почувствовал, как угадал, но строки Градовского пышут такой уверенностью, что писать надо так и только так. Его поэтическое слово достигает порой поразительной силы и, вопреки всему, красоты![135]

Его записки, в точности так, как и рассчитывал Градовский, были найдены одними из первых почти сразу же после освобождения Аушвица-Биркенау, и это чудо стало каденцией его беспримерной жизни и смерти. Наконец-то он получил возможность быть услышанным и прочитанным.

В том числе — впервые полностью — и на русском языке...

Павел Полян

ЧАСТЬ I

ДОРОГА В АД

Zainteresujcie sie tym dokumentom, ktory zawiera bogaty material dla hystorika

Заинтересуйтесь этим документом, ибо он вмещает в себя богатый материал для историка

Interessez vous de ce document parce qu'il contient un material tres important pour l'historien

Interessieren Sie sich an diesem Dokument, der sehr wichtiges Material fur den Historiker enthalt[136]

Посвящается моей семье, сожженной в Биркенау (Аушвице).
Моей жене Соне

Моей матери Сорэ
Моей сестре Эстер-Рохл
Моей [сестре] Либэ
Моему тестю Рефоэлу
Моему шурина Волфу

Иди сюда, ко мне, человек из свободного мира — мира без оград, — и я расскажу тебе, как [...] был обнесен забором и закован в цепи.

Иди сюда, ко мне, счастливый гражданин мира, живущий там, где еще есть счастье, радость и наслаждение, — и я расскажу тебе, как современные преступники и подлецы превратили счастье одного народа в горе, радость — в вечное несчастье, наслаждениям положили конец.

Иди сюда, ко мне, свободный гражданин мира! Твоею жизнью правит человеческая мораль, твое существование защищает закон. Я же расскажу тебе, как новые варвары, подлые изверги искоренили мораль и уничтожили законы существования.

Иди сюда, ко мне, свободный гражданин мира! Твоя земля отгорожена от нас новой китайской стеной — и дьяволам не достать вас. Я же расскажу тебе, как они завлекли в свои адские объятия целый народ, кровожадно вонзили свои страшные когти в его шею и задушили его.

Иди сюда, ко мне, свободный человек, имевший счастье не столкнуться лицом к лицу с властью их стальных пушек! Я расскажу тебе и покажу, как и какими средствами они погубили миллионы людей из народа, давно известного своей мученической судьбой.

Иди сюда, ко мне, свободный человек, имевший счастье не оказаться под властью этих ужасных культурных двуногих зверей! Я расскажу тебе, какими утонченными садистскими методами они погубили миллионы сынов и дочерей одинокого беззащитного народа, ни от кого не получившего помощи, — народа Израиля.

Иди и смотри, как культурный народ по какому-то дьявольскому закону, [родившемуся] в голове самого главного негодяя, превратился в массу подлейших преступников и садистов, каких свет не видывал до сих пор.

Иди [...]

Иди сейчас, пока уничтожение еще идет полным ходом.

Иди сейчас, пока нас с остервенением истребляют.

Иди сейчас, пока ангел смерти упивается своим могуществом.

Иди сейчас, пока в печах еще пылает огонь.

Приходи, встань, не жди, пока потоп минует, тьма рассеется и солнце засияет, — иначе ты застынешь в изумлении, не веря сво-

им глазам. Кто знает, не исчезнут ли вместе с потопом и те, кто мог бы быть живыми его свидетелями и мог бы рассказать тебе правду?

Кто знает, доживут ли до рассвета свидетели этой кошмарной темной ночи? А ты наверняка подумаешь, что в этой страшной катастрофе виноваты канонады, что истребление, постигшее наш народ, принесла война. Ты наверняка подумаешь, что огромное смертоносное бедствие, постигшее наш народ, произошло вследствие какого-то природного события, что вдруг разверзлась земля — и какая-то сверхъестественная сила собрала евреев отовсюду, и бездна поглотила их.

Ты не поверишь, что такое кровавое истребление могло быть задумано людьми — хотя они уже и превратились в диких зверей.

Иди со мной — с одиноким оставшимся в живых сыном еврейского народа, которого выгнали из дома, который вместе с семьей, вместе с друзьями и знакомыми нашел временное пристанище в земляных бараках, а оттуда был направлен якобы в трудовой концентрационный лагерь, — а оказался внутри огромного еврейского кладбища, где меня заставили стать сторожем у ворот ада, через которые прошли миллионы евреев со всей Европы.

Я [был] с евреями, когда они стояли [на рампе]. Я делил с ними последние минуты, и они открывали мне свои последние тайны [...] Я сопровождал их до последнего шага: после этого они попадали в [объятия] ангела смерти и навсегда исчезали из этого мира. Они рассказывали мне обо всем: о том, как их выгнали из дома, о том, какие мучения им довелось пережить, прежде чем они оказались здесь и их принесли в жертву дьяволу.

Иди сюда, мой друг. Встань, выйди из своего надежного теплого дома, исполнись мужества и смелости — и пройди со мной по европейскому континенту, где дьявол установил свое владычество. Я предоставлю конкретные факты и расскажу тебе, как высокая цивилизованная раса истребила слабый беззащитный народ Израиля, не повинный ни в каких злодеяниях.

Не ужасайся этому большому страшному пути. Не ужасайся тем жутким картинам, тем зверствам, которые тебе придется увидеть. Не бойся — и я покажу тебе все по порядку. Ты не сможешь оторвать глаз от того, что увидишь, сердце твое захолонет, уши перестанут слышать.

Возьми с собой вещи, которые согревали бы тебя в мороз, защищали бы от жары, возьми еду и питье, чтобы утолить голод и жажду, ведь нам придется проводить ночи в пустынных полях и провожать моих несчастных братьев в последний путь, на марш смерти, идти дни и ночи, страдая от жажды и голода, скитаться по долгим дорогам Европы, по которым современные варвары

гонят миллионы евреев к ужасной цели — к алтарю, на котором их принесут в жертву.

Дорогой друг, ты уже готов к нашему путешествию. Но у меня есть одно условие.

Расстанься с женой и детьми, потому что, [увидев] эти страшные сцены, они больше не захотят [жить] на свете, где дьявол может творить такое.

Расстанься с друзьями и знакомыми: ты столкнешься с невообразимым садизмом и жестокостью, твое имя будет стерто из человеческой памяти, из человеческой семьи — и ты проклянешь тот день, когда появился на свет.

Скажи им — жене и детям, что если ты не вернешься из этого путешествия, то это потому, что твое человеческое сердце оказалось слишком слабым, чтобы вынести груз страшных деяний, свидетелем которых тебе доведется быть.

Скажи своим друзьям и приятелям, что если ты не вернешься, то это потому, что кровь у тебя застыла в жилах, когда ты стал свидетелем этих сцен садизма, когда увидел, как погибают невинные незащитные дети моего беспомощного народа.

Скажи им, что даже если твое сердце отвердеет, если твой мозг превратится в холодный думающий механизм, а глаза будут способны только фотографически фиксировать происходящее, — то и тогда ты не вернешься к ним. Пусть они ищут тебя где-нибудь в дремучих лесах: ты убежишь от мира, населенного людьми, будешь искать утешения среди диких зверей — только чтобы не оказаться среди культурных дьяволов. Потому что даже зверю культура ограничивает свободу: когти его становятся не такими острыми, а сам он — не таким жестоким. Человек — наоборот: когда он превращается в зверя, то чем он культурнее, тем более жестоким он становится, чем цивилизованнее, тем больше в нем варварства, чем он умнее, тем ужаснее его поступки.

Иди со мной. Мы поднимемся ввысь на крыльях стального орла и полетим над страшным европейским горизонтом, откуда мы сможем все наблюдать через бинокль и повсюду проникать взором.

Запасись [мужеством], потому что ничего ужаснее тебе видеть не придется.

Будь сильным, заглуши в себе все [чувства], забудь жену и детей, друзей и приятелей, забудь тот мир, откуда ты пришел. Представь себе, что ты видишь не людей, а отвратительных зверей, которых необходимо уничтожить, — иначе жизнь будет невозможна.

Не пугайся, когда в сырых бараках ты найдешь живых еще детей: ты увидишь их и в куда более страшном состоянии.

Не пугайся, когда морозной ночью увидишь огромную толпу евреев, которых выгнали из бараков и теперь ведут неизвестно куда.

Пусть не дрогнет твое сердце, когда ты услышишь плач детей, крики женщин и стоны старых и больных: то, что тебе предстоит увидеть и услышать, еще более страшно.

Не пугайся, когда евреев куда-то погонят на рассвете, не ужасайся, когда увидишь, что на дороге лежат тела старых родителей, пятна крови возле тел тех больных, которые не перенесли тяжелой дороги.

Не думай о тех, кто уже ушел из жизни. Но вздохни о тех, кто еще остается в живых.

Не ужасайся, когда увидишь, как евреев загоняют в вагоны, — как будто загружают инвентарь, — в такой тесноте, что становится нечем дышать. Но везут их в другое, еще более страшное место.

Теперь, друг мой, когда я дал тебе все указания, теперь мы с тобой сможем совершить полет над одним из бесчисленных польских лагерей, в которых заключены евреи из Польши и других стран, которые [...] были отправлены сюда, откуда нет обратного пути, потому что сама вечность установила тут свои границы.

Подойди, мой друг, мы сейчас спустимся над лагерем, где я и моя семья, как и десятки тысяч других евреев, провели некоторое время. Я тебе расскажу, что они делали в эти страшные минуты — пока не отправились к своему последнему пункту назначения.

Прислушайся, мой друг, к тому, что здесь происходит.

В лагере паника: на сегодня назначена высылка людей из нескольких местечек сразу. Все напутаны: и те, кто должен уезжать, и те, чья очередь может подойти завтра, — понятно, что начальство в срочном порядке ликвидирует лагерь. И вот приходят такие вести: из города тоже регулярно отправляются транспорты, и все делается с той же жестокостью, что и тут: жандармы перекрывают несколько улиц, ходят по домам, выводят молодых и старых, больных и слабых — как если бы они были самыми опасными преступниками, и всех сгоняют в большую синагогу, а оттуда под усиленным конвоем отправляют к поезду, где для них уже подготовлены товарные вагоны — для перевозки скота. Их загоняют туда, как мерзких тварей, люди набиваются так тесно, что с самого начала им не хватает воздуха. Когда они видят, что давка уже невыносима, что люди висят в воздухе, — тогда двери закрываются и закладываются металлическими засовами, и вагоны под конвоем отправляются в неизвестном направлении — к тому месту, которое для всех евреев должно служить местом сбора и местом работ. Тех, кто пытается спрятаться или кого подозревают

в желании уклониться от работы или бежать, расстреливают на месте. На пороге большой гродненской синагоги — кровь десятков молодых людей, которых заподозрили в том, что они понимают, что с ними собираются сделать, и хотят избежать этой участи — первыми взойти на жертвенник.

Когда власть имущие — эти отъявленные негодяи, подлые преступники — увидели, что система отправки людей прямо из города на поезд может им в будущем доставить серьезные трудности, потому что есть определенный риск, что соберутся группы отчаянных молодых людей, не связанных семейной ответственностью, которые смогут оказать сопротивление или уйти в леса, чтобы спрятаться там среди диких зверей — лишь бы не оказаться среди них, или углубятся в чащобы, где прячутся отдельные группы героических бойцов, которые жертвуют своей жизнью ради свободы и счастья для всех. Они помешают узурпаторам в борьбе за власть и могущество. А те, чтобы избежать всего этого, чтобы их разбойничий план был надежнее, прибегли к другим рафинированным средствам, задача которых — оглушить, затуманить сознание. Они распустили слух о том, что конечным пунктом сбора для евреев из Гродно будет лагерь в глубинке, который сейчас для нас как раз готовят. Этим опиумом иллюзий были опьянены даже те, кому удалось сохранить интуицию, реальные представления о происходящем и о будущем, кто был бы готов к борьбе и сопротивлению.

И вот концентрация гродненских евреев в лагере началась.

Иди сюда, друг мой. Сегодня должны подать «наш» транспорт. Давай выйдем на дорогу, которая ведет к лагерю. Подойди, встанем в сторонку, чтобы лучше видно было страшную картину. Видишь, друг, там, вдалеке, на белой дороге лежат черные люди — целая толпа — и почти не двигаются, их окружают черные тени — какие-то люди к ним периодически наклоняются и бьют их по голове. Кто это — скот, который куда-то гонят, или люди, которые почему-то стали вдвое ниже? Непонятно. Посмотри, они приближаются к нам. Это тысячи, тысячи евреев, молодых и старых, которые сейчас на пути к своему новому дому. Они не идут, а ползут на четвереньках — так приказал молодой бандит, в чьих руках сейчас их судьба и жизнь.

Он хотел посмотреть своими глазами на эту страшную картину — как огромная толпа людей превращается в стадо животных. Он хотел наполнить свое разбойничье сердце наслаждением от человеческих страданий и боли. Видишь, как после большого участка пути они встают, как опьяненные, — измученные, разбитые — и по команде поют и танцуют, чтобы повеселить своих конвоиров.

Он, этот подлый разбойник, и его помощники уже в начале этой операции принесли свои души в жертву своему арийскому божеству, они превратили своих жертв в несчастные живые машины, лишённые своей воли, своих стремлений, готовые делать только то, что им приказывают их мучители. Единственное, чего они еще хотят, единственное чувство, которое у них еще осталось, — это желание, чтобы им оставили надежду, тлеющую глубоко в сердце, надежду на то, что в ближайшем будущем они снова обретут свое «я», что в них вдохнут новую душу.

Посмотри, друг мой: они, как окаменелые, застывшие, идут в ряд. Не слышно ни криков, ни детского плача. Знаешь ли, почему? Потому что за каждый крик бьют и ребенка, и мать. Таков приказ, так хотят эти молодые бестии, в которых разыгрались звериные инстинкты, — и потому они теперь ищут себе жертв, хотят напоить свои ненасытные разбойничьи души горячей еврейской кровью. Толпа должна приспособиться к этим страшным приказаниям — иначе тела жертв будут валяться, как падаль, на дороге, в потоках крови, и никто не сможет их даже похоронить.

Смотри, друг, как матери прижимают своих детей к груди, чтобы заглушить их плач. Они оборачивают им головки своими платками — чтобы никто не слышал крика замерзших младенцев. Видишь, один еврей ударяет другого по руке — подает знак, что нужно молчать. Будьте спокойны, помните, не теряйте жизни раньше времени. Вот так, мой друг, выглядит путь тысяч евреев, которых гонят во временный концентрационный лагерь.

А теперь посмотри, друг [...] получилось теперь. Посмотри [...] тысячи и тысячи евреев, которые еще вчера были «нужными», пользовались привилегиями за свою важную работу, сейчас превратились в душевно сломленных и физически истощенных бродяг, которые не знают, куда загонит их Дьявол, и чье единственное желание — как можно скорее найти живую могилу, чтобы дать мешку костей отдых.

Друг мой, страшное известие получили мы сегодня: я и моя семья, друзья и знакомые и тысячи других евреев должны готовиться к пути.

Черные мысли обуревают нас: куда нас поведут? Что принесет нам утро? Ужасное предчувствие не дает нам покоя, потому что поведение власти никак не соответствует той цели, о которой нам объявили: если бы мы были нужны на каких-то работах, то почему нас хотят так быстро истощить, обескровить, превратить еврейские мускулы в руки, опущенные в бессилии? Почему ликвидируются важные рабочие участки, где, кроме нас, некому работать? Почему местные государственные работы теперь счита-

ются не столь важными и рабочие места можно уничтожить? Почему ожидание концентрации теперь важнее, чем жизнь?

Видимо, это [уловка] проклятых подлых преступников, которые пытаются дать нам [...] хлороформ в виде обещаний предоставить работу, чтобы можно было проще и с меньшим риском провести операцию по нашему уничтожению. Вот такие мысли сейчас одолевают тех, кто собирается в дорогу.

Я вижу, друг мой, что ты хочешь меня о чем-то спросить. Я знаю, чего ты никак не можешь понять — почему, почему мы позволили себя довести до такого состояния, почему мы не могли найти себе лучшего места — места, где наша жизнь была бы вне опасности. На это я дам тебе исчерпывающий ответ [...]

Есть три момента, облегчившие дьяволу его задачу — триумфальное уничтожение нашего народа. Один момент общий и два частных. Общее соображение заключается в том, что мы жили среди поляков, большинство из которых были буквально зоологическими антисемитами. Они только радовались, когда смотрели, как дьявол, едва войдя в их страну, обратил свою жестокость против нас. С притворным сожалением на лице, но с радостью в сердце они выслушивали ужасные, душераздирающие сообщения о новых жертвах — сотнях тысяч людей, с которыми самым жестоким образом расправился враг. Возможно, они радовались тому, что народ разбойников пришел и сделал за них работу, к которой они сами еще не способны, поскольку в них все еще есть зерно человеческой морали. Единственным, чего они определенно — и не зря — боялись, было соображение, что когда борьба с евреями закончится, когда то, что они своей жестокостью и своим варварством начертали на щите, обесмыслится, чудовищу придется искать свежую жертву, чтобы утолить свои звериные инстинкты. Они действительно боялись, и проявления этого страха были заметны. Огромное множество евреев пыталось смешаться с деревенским или городским польским населением, но всюду им отвечали страшным отказом: нет. Всюду беглецов встречали закрытые двери. Везде перед ними вырастала железная стена, они — евреи — оставались одни под открытым небом, и враг легко мог поймать их.

Ты спрашиваешь, почему евреи не подняли восстания.

И знаешь почему? Потому что они не доверяли соседям, которые предали бы их при первой возможности. Не было никого, кто бы мог оказать серьезную помощь, а в решительные моменты — взять на себя ответственность за восстание, за борьбу. Страх попасть прямо в руки врага ослаблял волю к борьбе и лишал евреев мужества.

Посмотри, друг мой [...] что [...]

Почему мы не скрылись в лесной чаще, почему у нас не было групп, отрядов, не было своих героев, которые боролись бы за благополучное завтра?

Думая над этим вопросом, нельзя забывать о других важных моментах — о личных чувствах, тревогах и инстинктах, которые погубили целый народ: огромные толпы людей, из которых каждый был оглушен своим личным горем, безропотно шли на бойню.

Первый момент, сослуживший им страшную службу, состоял в том, что связывает семьи воедино: это чувство ответственности по отношению к родителям, женам и детям — это и нас связало, сплотило в единую, неделимую массу.

Второй момент — это инстинктивная любовь к жизни, которая прогоняла все черные мысли, развеивала, как буря, все злые думы, ведь все то, о чем по секрету говорили и думали, — это не более чем крик души разуверившегося пессимиста, на чем можно было легко поймать каждого.

Мы не понимали, как так может быть — чтобы власть имущие, даже если они сплошь самые подлые, самые низменные бандиты, могли бы выдумать что-то худшее, нежели цепи, голод и мороз.

Кто мог поверить тому, что они забирают людей миллионами — без причины, без повода — и гонят навстречу многоликой смерти?

Кто мог поверить в то, что целый народ может быть доведен до исчезновения только лишь по дьявольской воле банды подлых преступников?

Кто мог поверить в то, что, терпя поражение в борьбе, эти изверги, чтобы «спасти положение», принесут в жертву целый народ?

Кто мог поверить в то, что развитый народ может слепо повиноваться власти закона, который несет только смерть и уничтожение?

Кто бы мог подумать, что цивилизованный народ может превратиться в дьяволов, которые стремятся только к убийству и уничтожению?

Нет, нельзя недооценивать этих разбойников, их подлость и низость.

Едва ли ты, друг мой, можешь понять нас, проявить к нам сочувствие в эту страшную минуту. Пойдем со мной, давай обойдем бараки, где люди лихорадочно собираются в дорогу.

Ты слышишь плач, крик — звуки, которые доносятся из дальних барачных корпусов, где сидят смертельно испуганные евреи. Зайди в один из этих барачных корпусов. Слышишь этот шум, видишь этот переполох? Каждый увязывает свой тюк, берет самые нужные вещи,

надевает на себя все что можно, а все остальное — то, что тщательно собирал и нес сюда, — уже не нужно и раздается друзьям, знакомым и даже чужим. Все то, что еще вчера, еще несколько часов назад, было людям так дорого, теперь, в последние часы перед отправлением, потеряло свою ценность и стало ничем. Люди как будто предвидели свое будущее, как будто предчувствовали, что скоро никакие вещи им не будут уже нужны.

Смотри, друг мой. Вот идут два еврея, один держит в руке свечу, чтобы освещать себе путь в темноте, а второй несет раскрытый мешок. Это начальники над теми, кого угоняют в путь. Они выполняют приказ: отобрать у тех, кто уходит, последние ценные вещи — под угрозой смерти для тех, кто будет сопротивляться.

Женщины снимают украшения, которые дороги им как память о «важных вехах их жизни, которые у них в семье передавали из поколения в поколение и берегли как зеницу ока, — и со слезами на глазах и болью в сердце [...] отдают свои сокровища, с тяжелым вздохом опускают их в мешок. Несчастные пытаются найти и в этом утешение: власть забирает у них вещи, — но, может быть, это облегчит им жизнь в дальнейшем? Взяв все ценные вещи, два сборщика, довольные, несут свою добычу, как выкуп за наши души. Они выносят ее за забор и направляются к тому зданию, где живет самый большой разбойник — наш «покровитель». Он понял, что людям надо дать надежду: им пообещать жизнь, а себе забрать все ценное их имущество.

Войди, друг мой, теперь во второй барак. Ты снова услышишь плач женщин и детей. Это плачут маленькие дети, которым уже давно пора спать, и теперь они трут себе глазки, пытаются заснуть, — но им не дают. Их одевают в теплые вещи, в которых им тяжело. Дети хотят, чтобы их оставили в покое, не понимают, чего от них хотят так поздно ночью. Они плачут, — и их матери вместе с ними. Плачут о своей горькой судьбе, о своей горькой доле: почему, почему в такое страшное время появились они на свет?

Друзья и знакомые приходят попрощаться, все падают друг другу на шею и плачут. Как сердечно они целуются — и как ужасен, как напряжен каждый поцелуй! Кажется, что люди, которые так сердечно прижимаются друг к другу губами, знают о том, что им предстоит. Их сердечность — выражение глубокого сочувствия, слезы — сильного сострадания. Видишь, стоят несколько семей — они убиты горем, они беспомощны, они не знают, что им делать: это те, у кого в лазарете остались больные родственники, с которыми теперь надо расстаться.

[...[137]] окрылены, снова исполнены мужества: больные тоже могут ехать, потому что [власть] гуманна и не будет разделять

семьи.

Евреи радуются. Те, кто получил разрешение ехать вместе с больными родственниками, ослеплены своим недолгим счастьем и не могут здраво оценить обстановку. А ведь в этом решении можно было увидеть недоброе предзнаменование: ведь больных не могут послать на работу! Но как бы там ни было, каким бы печальным ни оказалось будущее — больше никто не разлучит семьи. Никто не позволит этим преступникам отрывать от тебя твоих близких — резать по живому: среди нас нет подлых эгоистов, которые могли бы покинуть жен и детей, родителей, братьев и сестер и искать спасение лишь для себя, бросить семью, с которой они уже пережили все самое страшное. А теперь [...] в такой ненадежный, неизвестный и пугающий путь. Нет, все должно идти [...]

Приходи, друг мой, вот пробил час, когда мы должны выйти отсюда. Смотри, как огромная толпа, как 2500 человек вышли из своих земляных нор и построились в ровные ряды. Члены каждой семьи вместе, рука в руке, плечо к плечу, объединенная, цельная толпа из сотен и сотен семей, монолитная, спаянная, ставшая одним большим неделимым организмом. И они устремились в путь — в направлении, определенном властью, путь, который должен их привести туда, куда их посылают на работу.

Холодная, морозная ночь с сильным ветром; тысячи и тысячи мужчин стоят и топают ногами, чтобы отогреть уже замерзшие пальцы. Женщины прижимают к себе детей, берут в рот и согревают дыханием их замерзшие ручки. Каждый поправляет свою поклажу, чтобы легче было идти. Слабые родители идут налегке, чтобы они могли хотя бы двигаться сами. Сокрушенно вздыхают их дети, которые, выходя в первый раз на свободу, несут [...] тяжелый груз. Все готово к выходу.

У соседних бараков стоят мужчины и женщины и смотрят на нас, заглядывают нам в глаза, не зная, что пожелать нам на прощание. Мы отвечаем им взглядом, в котором читается наша последняя воля: увидеться еще раз — уже после освобождения.

Открываются ворота, и мы оставляем обнесенный проволокой лагерь. Мрачные мысли проносятся в голове. Во второй раз для нас открываются ворота в свободный мир — и как страшно обманула нас свобода! Мы вышли за колючую проволоку — и, через свободный мир, нас снова погнали в бараки. И кто знает, куда приведут нас эти вторые распахнутые ворота. Кто знает, куда смотрят эти открытые глаза лагеря...

Первый привал оказался близко к нашему дому, мы дышали воздухом нашего края, и это дало нам немного уверенности. Но сейчас кто знает, куда заведет нас дорога? Мы должны идти туда,

как можно дальше в глубь той страны, где находится наш опаснейший враг. Кто знает, не превратятся ли его руки, протянутые к нам будто бы для объятий, в дьявольские лапы, которые схватят и задушат нас, кто знает?

Мы вышли в большой свободный мир, который слепил своей белизной и путал своей безграничностью. А от черноты большого беспредельного неба — по контрасту с белизной — нас бросало в дрожь. Как символично все это выглядит: белая земля и черное покрывало над толпой, движущейся по белизне. Над землей застыла непривычная тишина, кажется, что мы не отбрасываем черных теней — их нет. И что нас вывели на свет, чтобы сделать с нами какое-то черное, ночное дело, которое день видеть не должен.

Мы переглядываемся, каждый взглядом что-то ищет [...] Мы хотим увидеть хоть какой-нибудь признак жизни и существования. Но наши поиски напрасны: вокруг только мертвая, застывшая тишина.

Но вот раздается эхо тысячи шагов — и оживают события минувших веков. Издревле гонимый народ отправляется в новое изгнание. Но насколько ужаснее наше нынешнее злоключение! Тогда, покидая Испанию, мы знали, что нас изгоняют за нашу национальную гордость религиозное самосознание [...] Мы презрительно глядели в лицо тем, кто [...] с распростертыми объятиями [...] и даже ввести нас в [...] храмы в обмен на разрешение остаться — хочет презреть нашу культуру и национальную независимость. Насмешливо и презрительно отвечали мы на их молящие взгляды и с отвращением смотрели на тех, кто хотел дать нам все гражданские свободы — если только мы примем: веру. Тогда мы ушли, как несгибаемый и гордый народ. Издали нам мерцали открытые ворота мира, который нас принимал с распростертыми объятиями. Но сейчас мы не покидаем страну, нас выгоняют — и не как народ, а как отвратительных чудовищ. Нас гонят не из-за нашей национальной гордости, а по подлому садистскому дьявольскому закону. Нас гонят не к границам другой страны — наоборот, нас подводят ближе к себе, глубже — в самую середину той страны, которая хочет от нас избавиться. Мы идем, и кажется, что дорога бесконечна, что мы вечно будем так идти.

Нас всех охватила инстинктивная дрожь. Вдали на белом фоне земли большие, длинные черные тени, среди которых виднеются маленькие, едва различимые огоньки; все сердца бешено заколотились от ужаса. Мрачная мысль [...] Кто знает, может быть, нас ведут [...] Двор злых теней [...] ночных демонов, которые уже ждут нашего прихода и заверяют последние приготовления, чтобы нас принять.

Кто знает, может быть, нас ждет та же судьба, что и сотни тысяч евреев до нас, которых они в такие же темные ночи выводили в такие мрачные места и там жестоко убивали. Кто знает [...] Пока мы прошли лес, все целы.

Мы идем дальше, идти все тяжелее, мы идем по гористой местности и там мы видим [...] уже хорошо знакомое место, но сейчас оно неузнаваемо чужое. Кажется, в низине — разверстая земная пасть, уже готовая проглотить нас живьем, как это уже произошло с десятками тысяч до нас, кто знает? Мы держимся за руки, мы идем с колотящимся сердцем, с колоссальным напряжением на вершину горы.

Внезапно всех охватила радость. Издалека мы заметили мерцающие огоньки электрических лампочек — значит, близко станция. Сила и вера возвращаются ко всем нам. Вот мы подошли к поезду. Нас уже ждут двадцать маленьких вагонов, по 125 человек в вагоне — чтобы у каждого было стоячее место. Это для нас большое утешение. Все семьи стараются держаться вместе как можно дольше — в этом страшном, пугающем пути. Часть семей, в которых есть больные, стоят и с замиранием сердца выглядывают из окон поезда: не подойдет ли их слабый брат или ребенок, старые родители, но их нет и следа. Как мы позже узнали, их [...] и кинули в вагоны [...] закрыли [...]

[...[138]]

Сбежать — тут же застрелят с циничной усмешкой на лице. И стояли в полном спокойствии, с внутренней твердостью. Это белокурое чудовище — наша охрана: [...] вагоны. Этот злодей взял на себя великую миссию — повез две с половиной тысячи людей, которые мешают [...] и отправляет их к [...] высокой культуры, которые должны вынести им приговор.

Резкий свисток разрезал воздух. Это был сигнал отходящего поезда. Как зверь, убегающий с добычей, так и наш поезд тронулся с места и помчался. Из всех сердец вырвался болезненный стон, все почувствовали, как это больно — знать, что теперь ты действительно оторван от дома.

Толпа качнулась и едва не упала. С самого начала все почувствовали, как тяжелы условия, в которые их поместили. Все стараются помочь друг другу, чтобы хотя бы выдержать дорогу. Детей берут на руки. Все договариваются: сейчас ты сидишь, а потом твое место занимает другой. Все пытаются создать атмосферу спокойствия и единства — будучи пойманными в сеть, которую раскинули лапы еще не явившего свой лик дьявола. Религиозные евреи произносят дорожную молитву, желают друг другу: как пленных, везут нас — но пусть мы вернемся освобожденными![139]

Иди сюда, друг. Давай пройдемся по вагонам — по движущимся клеткам. Видишь, здесь в горе и отчаянии сидят и стоят люди, погруженные в глубокие, полные кошмаров думы.

Монотонный печальный стук колес подавляет людей, он только усиливает их отчаяние. Кажется, что мы едем уже целую вечность. Мы вошли в поезд еврейских скитаний. Наверное, есть диспозиция народов — и мы должны выходить только по воле и приказу тех, кто нами распоряжается.

Ты видишь, друг мой: у окон в каждом вагоне стоят как прикованные люди — и смотрят на свободный мир. Каждый жаждет охватить и запечатлеть взглядом все вокруг — как будто чувствуя, что видит это все в последний раз.! Такое впечатление, что мы заточены в движущуюся крепость, мимо которой проносится окружающий мир во всем его многообразии — и прощается с нами, несчастными узниками[140].

[...] Кажется, что мир говорит нам: посмотри на меня [зачеркнуто], насмотришься — пока ты меня еще видишь. Потому что это для тебя уже в последний раз.

Ты заметил, друг мой? Вот стоят два молодых человека, мужчина и женщина, и их взгляды устремлены в одну точку. Они молчат, но их мысли близки, они сходятся воедино. И тихие стенания вырываются из их сердец. Проблеск интересного воспоминания их сейчас так заморозил и вырвал из реальности. Они вспоминают о былом, о недавнем прошлом. Вот здесь, у этой площади, у знакомой станции Лососно[141], они тогда так часто встречались, проводили там вместе отпуск. И их?знакомство переросло в великую любовь. [...]

Так текли [...] Каждый день приносил им много радости, много удовольствий. [...] чаровал своим разнообразием. Все вокруг улыбалось им, отовсюду был слышен [...] жизни. А теперь страшная мысль поражает их: кто знает, оживут ли еще волшебные воспоминания? Они смотрят туда, где [...] от которого их бессердечно оторвали. Часть жизни кончилась — и отошла в вечность.

Пойдем дальше, видишь — стоит молодая пара. В оцепенении оглядываются эти люди крутом. Слышишь ли слова, которые женщина сказала своему спутнику: «Дорогой, помнишь то путешествие, тот мрачный зимний день, когда мы, два чужих друг другу человека, встретились в купе поезда и познакомились — эта встреча соединила нас. Ах, то путешествие, тот день — они предвещали нам грядущее счастье, открывали нам новую дорогу в мир, усыпанную розами. Кажется, той же дорогой — в том же направлении поехали мы и сейчас. Нам удалось сесть на поезд жизни, но кто знает, куда приведет нас нынешняя наша Дорога? Кто знает, на каком пути стоит наш поезд теперь?»

Пойдем дальше. Смотри: вот стоит женщина с маленьким ребенком на руках, рядом с ней стоит муж. Они смотрят на проплывающий перед ними мир и инстинктивно то и дело переводят взгляд на ребенка, маленького и красивого. Их обуревают тяжелые заботы: они еще молоды и полны жизни — и им так не хватает мира, на который они могут смотреть из окна. Все влечет их к жизни, к существованию, им есть теперь для кого жить, для кого существовать, ради кого трудиться: недавно у них появился первенец — маленький человечек, который связал их с вечностью, — они стали соучастниками развития, созидания этого мира... И вот их, только что сделавших первые шаги, сметают с пути, заставляют уйти прочь — когда они только начинают вить себе семейное гнездышко!

О себе они сейчас не думают. Только одна мысль занимает их: что будет с их младенцем — с их крошечным, милым, но не приносящим [им][142] никакой пользы?

Для них этот ребенок — величайшее счастье, величайшее утешение, их общий идеал, но для жестоких бандитов он всего лишь бесполезная игрушка, которая не стоит ничего и не имеет права на существование.

Видишь, как они смотрят на свою милую дочку, как заглядывают в ее глаза — черные вишни? Ты можешь прочитать по их встревоженным лицам, что думают они: «Милое дитя, в тебе весь смысл нашей жизни, нашего существования. Сколько счастья, сколько радости ты принесла нам, когда впервые произнесла слово «мама»! Ах, как тогда твой отец позавидовал своей жене! И как обрадован он был, когда ребенок стал узнавать отца и в первый раз назвал его папой! Милое дитя! Кто знает, не будет ли ниточка твоей жизни жестоко оборвана, едва начавшись? Кто знает, будем ли мы вместе с тобой дальше, останешься ли ты с нами [...]?»

Мать прижимает ребенка к сердцу, слезы падают на головку девочки, отец жарко и нежно ее целует.

Подойди, давай пройдем еще немного. Видишь, сидит мать с двумя взрослыми дочерьми. Какие мучительные мысли наполняют их сейчас! Мать думает: «Всю жизнь отдала я вам, мои дорогие дети, всю жизнь посвятила я вам, все отдала ради вас, чтобы только дожить — испытать материнское счастье. Но все это осталось лишь пустой мечтой. Вашего отца, любящего и преданного, куда-то увели злодеи, кто знает теперь, жив ли он еще. Может статься, вы уже осиротели. Ваших братьев оторвали от меня, неизвестно, где они сейчас. Одна-одинешенька осталась я, несчастная, измученная. Единственным утешением для меня были вы, милые мои дети. А нынче — кто знает, что ожидает вас. Привык-

нете ли вы когда-нибудь к этой муке, сможете ли вынести двойной груз — своего и моего — кто знает...»

О себе мать сейчас вовсе не думает, не тревожится за свою жизнь. Как может она думать о себе, когда неизвестно, что станет с ее детьми, выживут ли они? Дочери смотрят на мать, тяжело вздыхая. Печаль мрачной тенью ложится и на их лица. Кто знает, что будет с милой мамой, которая ослабела от бессонных ночей, поседела и так постарела от горя, что выглядит старой и больной — и не скрыть ее возраста? Не сочтут ли ее из-за этого «ненужной» — человеком, чье существование «не оправданно»? Сможем ли мы прийти на помощь? А вдруг тебя вырвут из наших объятий? Тогда мы останемся одинокими — без мамы, без братьев, несчастными, будем совсем одни в большом и пустом жестоком мире. Кто знает?..

В каждом вагоне, повсюду ты увидишь таких людей — кто сидит, кто стоит, понутив голову, застыв, оцепенев от тяжелых, мучительных дум.

Поезд продолжает свой путь — долгий, однообразный. Мы приближаемся к Белостоку. Все вдруг будто ожили, сбросили груз тяжелых раздумий, бросились к окнам, чтобы рассмотреть станцию, к которой мы подъезжаем. Кого мы увидим, кто будет нас ждать здесь? Едва ли кто-либо встретит нас. Но все равно всем хочется посмотреть на город, с которым они были тесно связаны: у каждого есть здесь кто-нибудь — родные, друзья и знакомые[143]. Хочется хотя бы издали взглянуть на город где живет друг, ребенок, родственник. Хочется из окошек помахать им, послать им прощальный взгляд. Вдруг удастся увидеть еврея из еще спокойного города — Белостока?[144] Может быть, он одним взглядом сможет дать нам понять, куда нас везут?

Мы прибыли на станцию, остановились на боковом запасном пути. Путь к жизни для нас уже перерезан. Как страшно выглядит сейчас этот вокзал! Это место, всегда полное жизни, шумное, сейчас затянуто туманом, от былой жизни не осталось и следа. Из живых существ мы видим только жандармов в касках, со штыками в руках, расхаживающих по вокзалу. Раздается фабричный гудок. Он заставляет вспомнить о прошлом, он как привет от братьев и сестер, которые работают на этой фабрике, находятся сейчас в этих больших фабричных зданиях, отдают свой труд, свои силы и усердие бандитам — таким же, как и те, что везут нас сейчас. Они работают только за надежду, что их труд будет им защитой. Свисток пронзает воздух — это наш поезд поехал дальше. Будьте здоровы, еврей Белостока. Пусть вам фабрики [...]

Живите спокойно, а мы будем надеяться, что скоро сможем к вам вернуться свободными людьми.

Поезд поехал быстрее — и всех снова охватила глубокая тоска, с каждым километром ужас становится все сильнее. Что же случилось?

Мы подъезжаем к известной среди евреев станции Треблинка, где, по разным дошедшим до нас сведениям, погибло несчетное множество евреев из Польши и других стран. Все прильнули к окнам, смотрят вокруг жадным взглядом, вдруг удастся что-нибудь разглядеть, вдруг попадетс я кто-нибудь, кто расскажет им, куда их везут и что их ожидает?

И как ужасно! Вот стоят две молодые христианки, заглядывают в окошки поезда и проводят рукой по горлу. Трепет охватывает тех, кто видел эту сцену, кто заметил этот знак. Они молча отшатываются, как от призрака. Они хранят молчание, не в силах рассказать об увиденном. Они не хотят усугублять горе, которое с каждой минутой и так становится все тяжелее, кажется, что уже вот-вот [...] Кто знает, что принесут им наступающие минуты. Не вывезут ли их на боковой путь, который ведет к тому страшному месту, что превращено в огромное еврейское кладбище? Все стараются прильнуть к окну: каждому хочется первому увидеть, куда их повезут. Как одно бьются тысячи сердец, тысячи душ как одна замирают от страха. Одна мысль не дает им покоя: неужели настали последние минуты их жизни? Неужели они подошли к границе вечности? Каждый сводит последние счета с жизнью. Верующие читают молитвы и готовятся к покаянию. Семьи собираются вместе, люди прижимаются друг к другу. Им хочется слиться, срастись в один неделимый организм — этим они хотят защититься себя. И вот ищи [...]

Матери обнимают детей, [глядят] их головки. Большие дети сами прижимаются к родителям — хотят почувствовать материнскую и отцовскую нежность в последние минуты жизни. Им кажется, что родители, как обычно, смогут укрыть их, защититься, чтобы ничего страшного с ними не случилось. Страх все сильнее, поезд, кажется, замедляет свой бег. Кажется, мы добрались до цели. Напряжение достигло высшей точки. Поезд остановился — и 2500 человек затаили дыхание. От страха стали стучать зубы, сердца судорожно забились. Большая масса в смертельном ужасе ждет своих последних минут. Каждая секунда — вечность, как шаг, приближающий нас к смерти. Всё в оцепенении, все ждут момента, когда упадут в распростертые объятия дьявола и тогда он вцепится в них когтями и утащит к себе в логово.

Звук свистка прервал это оцепенение. Поезд как будто очнулся и стал набирать ход. Матери целуют детей, жены — мужей, льются слезы радости. Все как будто заново родились и стали дышать свободнее. Появляются новые мысли, новые надежды, страх отпу-

стил, ужас развеялся. Новые, утешительные мысли, овладели всеми. Все уверились в том, что прежние предположения были неправильны, что все ужасные подозрения были беспочвенны, что люди просто выдумали их из-за ужаса, который им пришлось испытать. Но не [...] массовый характер — и потому ты заметишь, что все сейчас полны мужества, окрылены. Все уверены, что везут их для жизни, для тяжелой — но жизни!

Вот раздаются сладкие звуки [...] чарующих женских голосов. Они сливаются в страстный молитвенный напев — и его подхватывают все новые и новые голоса. В этот напев каждый вкладывает свои мольбы, свои страдания — вот участь узника, закованного в цепи, которого ведут в неизвестность [...] Все это путает и мучает. Молящиеся просят Создателя: освободи нас, вызволи отсюда, дай нам счастливое, светлое завтра, веди нас дальше путями жизни, как вел до сих пор. Пусть все ограничится лишь нашим страхом, нашим испугом.

Мы подъезжаем к Варшаве. Каждый из нас многое бы отдал за то, чтобы увидеть хоть одного варшавского еврея. Как счастливы мы были бы, если бы смогли увидеть хоть одного из них — из тех, чьих братьев и сестер уже наверняка постигла страшная участь! Может быть, кто-нибудь из них смог бы рассказать нам правду, открыть нам цель этого дальнего путешествия?

Увы! Никаких следов евреев на этой варшавской станции, когда-то полностью еврейской, теперь нет[145]. Вокруг снуют люди с серьезными, полными злости взглядами, которые ждут нужного им поезда. Но все они чужие для нас, их появление вызывает у нас только зависть и ненависть: почему они свободны и идут куда хотят? Почему они могут купить билет на поезд, который повезет их к дому — надежному и теплому? Почему у них есть возможность поехать туда, где ждут их жена и дети, которые готовы раскрыть им объятия?

А нас — везут против нашей воли, везут не в теплый дом, а в пустоту. Нам не улыбнутся жены при встрече, нас не обнимут матери; увидев нас, не засмеются дети, — нас ждут только злые, страшные взгляды наших ужасных врагов, в руках у них нагайки, холодное оружие — а когда нужно, и винтовки. Этими горестными размышлениями подавлены несчастные.

Вдруг молчание прерывает один человек, который приходит из соседнего отсека[146] и радостно говорит: «Евреи! Вот весть от наших предшественников — от тех, кто был отправлен в лагерь предыдущими транспортами». В своем отсеке он нашел на стене надпись и целиком маршрут путешествия с момента выезда до прибытия в Германию.

Все были рады увидеть хоть какой-нибудь след, оставшийся от тех, кто исчез безвозвратно. Все читают эти слова; кажется, что ты говоришь с мертвыми, что они рассказывают тебе обо всем. Вот они как будто ожили: несколько недель назад их увезли — и теперь от них не осталось ничего, только эта надпись, которая привела нас в такое волнение. Евреи, теперь вы можете прочитать надпись, оставленную ими — теми, чью трагическую судьбу рисовало вам воображение! Как умны были они — те, кто ехал тогда, кто предвидел, что мы ужаснемся их судьбе, — они оставили нам знак, послание, которое должно нас успокоить, вселить в нас уверенность, мы последуем их примеру и напишем обращение к тем, кого повезут этим поездом в ближайшие дни: пусть они будут нам благодарны за заботу о них.

Но вдруг радости как не бывало. Ее сменило отчаяние — оно захватило нас в свои сети. Одна фраза [...] всех повергла в ужас: «Мы прибываем в Германию»! На этом заканчивается надпись. Здесь обрывается нить. До этого мы были вместе, а теперь они исчезли, они оторваны от нас. Они написали историю своей жизни — до того момента, как прибыли в Германию[147], то есть попали на территорию врага. Мы могли следить за тем, что с ними происходило, — до того момента, как они оказались в руках жестоких бандитов.

Над миром — тихая темная ночь. Поезд остановился. Опасно ехать с подлыми преступниками, когда нет света. Посреди старой станции стоит поезд из 20 вагонов в ряд, внутри этих вагонов — 2500 детей несчастного, гонимого народа. Вагоны мрачные, полные смертной тоски: из их окон выглядывают испуганные, измученные, обессиленные дети народа, приговоренного к смерти. Они ищут в ночном мраке луч света, который озарит и оживит эту тьму, — но поиски их напрасны. Ночь страшна, вокруг только темень. По черным вагонам время от времени пробегает луч света — но это чужой, холодный, мертвый свет. Это наши конвоиры светят в вагоны-тюрьмы, чтобы удостовериться, что никто из нас — «опаснейших преступников» — не собирается бежать, искать спасения в непроглядной ночной темноте.

Начинается страшная, полная кошмаров первая ночь путешествия. Два ужасных врага [...] завладели большой массой, застывшей от ужаса, — голод и жажда. Ты видишь, друг мой: люди утратили все человеческие чувства. Каждый думает только об одном: где бы раздобыть кусок хлеба, чтобы утолить голод, или немного воды, чтобы утолить жажду. Смотри, как те, кому посчастливилось стоять около окон, высовывают языки и облизывают окна, покрывшиеся вечерней росой. Им хочется хоть [капельку] влаги — освежить свои ослабевшие тела. Слышится детский плач, дети

кричат: «Мама, дай немного водички, хоть капельку! Слышишь, дай мне хоть крошку хлеба! Я падаю в обморок, мне плохо, у меня нет сил». Мама утешают деток: сейчас, милый, сейчас я тебе помогу. Где-то еще есть счастливицы, у которых есть какие-то запасы — и они могут что-то отдать тем, кто умирает от голода, но подавляющее большинство уже полностью истощено. Дети нетерпеливы, они не могут ждать — и снова требуют обещанной еды и воды. Матери чувствуют себя совершенно беспомощными, глядя на мучения своих детей, и, не в силах ничего сделать, плачут сами.

Дети затихают от страха, прижимаются к материнской груди. Взрослые, страдая не меньше, чем дети, утешают себя тем, что на следующей станции власти наверняка снабдят всех едой и питьем, не дадут рабочей силе умереть от голода и жажды.

Из соседнего отсека доносится истерический вопль: взрослые дети хлопчут вокруг матери, которая не могла больше терпеть — и потеряла сознание. Ее стараются привести в чувство — и вот она уже открыла глаза. Горе сменилось радостью: мать снова вернулась к жизни! Дети испугались было, что потеряют ее, что осиротеют — но вот страх отошел.

Есть среди нас мужественные, хладнокровные люди — они стучат в окна, просят наших конвоиров бросить в вагон хотя бы немного снега — ведь он лежит у них под ногами. Но в ответ раздаётся циничный смех этих ужасных извергов. Вместо ответа они показывают нам заряженные винтовки — вот что ожидает тех, кто попробует открыть окно. Это ужасно! Выглядываешь из окна — на земле лежит белая мокрая масса — снег! Он мог бы заставить вновь биться слабые сердца, освежить ослабевшие тела, продлить еще немного нашу жизнь.

Вот блесит эта белизна, в которой спасение стольких жизней, столько утешения для нас, источник новой волны жизни. Этот снег мог бы вырвать 2500 человек из когтей ужасной смерти от жажды, наполнить надеждой и мужеством сердца отчаявшихся людей. Как близок он к нам! Вот он, прямо напротив! Он сверкает, дразнит своим волшебным сиянием. Надо только открыть окно — и можно будет достать его рукой. Кажется, что эта белая масса сейчас оживет, поднимется с земли, чтобы приблизиться к нам. Она видит, как мы пронизываем ее взглядами, она чувствует, как мы страдаем, тоскуем по ней, хочет нас утешить, хочет вернуть нас к жизни. Но вот стоит злодей с ледяным штыком на плече и отвечает страшным словом — нет. Он не может сейчас этого разрешить. Ничто не трогает его: ни мольбы женщин, ни плач детей. Он глух и неподвижен. Все, подавленные, отходят от окон и хотят отвести взгляд от этой чарующей белизны — и снова погружают-

ся в глубокое отчаяние и горестные раздумья, и мертвую тишину нарушают душераздирающие стоны.

[...] отделила от жизни подвижная линия, чтобы никому не мешать на пути.

Поезд черен, как ночь, но еще чернее горе тех, кого в нем везут. Время от времени нас будят свистки проходящих мимо поездов. Все бросаются к окнам, чтобы посмотреть, кто те счастливцы, которые могут [...] ехать ночью. Мы видим хорошо освещенные вагоны, которые движутся быстро, как будто даже радостно — видимо, едут в благополучное место. Мы успеваем разглядеть людей свободного мира — и глубокая боль охватывает тех, кто видит эту вольную жизнь: ведь и мы, как и они, ни в чем не виноваты, не совершили никаких преступлений — но как разошлись наши пути! Их везут дорогой жизни, а нас — кто знает?!

В их поезде светится жизнь, а в нашем царит страшная путающая темнота.

Там едут спокойные люди, которым ничто не угрожает, у их путешествия есть цель, к которой они движутся по собственной воле. А нас везут против воли, по принуждению. И кто знает куда?

Люди отодвигаются от окон. Еще одна капля отчаяния буквально расколола их сердца. Каждый впитал в себя еще немного горя и боли и, подавленный, искал, где преклонить голову, которую он не в силах поднять.

Когда ночь склонилась к рассвету, наш поезд тронулся. Он движется медленно, монотонно, постоянно уступая место высшей, лучшей расе: мы не можем задерживать ее, она не позволит. Мы приближаемся к какому-то городу. Там, внизу, всюду пробуждается жизнь. Ты видишь женщин, которые спешат по своим домашним делам. А вот видно издалека, как к нам приближается группа людей из другого [...] Они явно идут на работу. Всем интересно, кто же это: может быть, в этой области, куда нас привезли [...] еще есть «нужные» евреи? Пока эти люди были далеко, определить их национальность было нельзя, но когда они подошли ближе, всех охватила радость: мы увидели на их одежде большие желтые заплатки — видимо, здесь евреев оставляют в живых и направляют на работы! Это вселяет в нас надежду, утешает.

Но ведь на каждой станции, где мы останавливаемся, мы видим людей, которые стоят и делают руками какие-то знаки для проезжающих: проводят рукой по горлу или показывают на землю. Какой-то злой рок преследует нас в пути: на каждой остановке эти люди словно вырастают из-под земли и показывают нам свои дьявольские знаки. Что они хотят сказать? Зачем пугают и так до смерти испуганных людей? Каждый старается отогнать

мрачные мысли, которые появляются после таких знаков. Люди хотят одурачить самих себя, отвлечь свое собственное внимание от картины, которая стоит у них перед глазами: незнакомая женщина проводит рукой по горлу.

Поезд трогается с места, и мы продолжаем свой вечный монотонный путь. Приближаемся к другой станции. Вокруг зеваки, они разглядывают наш поезд. Это снова приносит страдания. Вот между деревьями стоят две женщины, смотрят на нас и вытирают платками полные слез глаза. Кроме них мы не видим поблизости никого. И ты не можешь представить себе, почему они плачут. Почему наше появление довело их до слез? Почему плачут эти женщины? Из-за личного горя или от сострадания к нам? Кто мы для них и почему мы вызываем у каждого слезы?

Но вот снова появляются два врага человека, которые не оставляют нас и требуют своего, — это жажда и голод. Они снова овладели измученными людьми. Мы упрашиваем наших нелюдей-конвоиров дать нам хоть немного воды. Напротив нас стоят женщины — судя по внешности, возможно, еврейки — и хотят бросить нам комья снега. Как счастливы были бы мы, если бы могли открыть окно хоть на минуту и схватить немного снега, этого белого мокрого вещества. К нам тянутся руки перепутанных, но смелых людей: у них самих могут быть из-за этого неприятности, но наши молящие взгляды произвели на них такое сильное действие, что они забыли обо всем, встали напротив нашего окна на таком расстоянии, чтобы при желании попасть в нас, если бросить что-нибудь. У них в руках уже по большой глыбе снега. Они хотят бросить снег нам, и лишь одна вещь не дает им исполнить свой моральный долг, — а нам, людям в отчаянии, с опустившимися руками, это могло бы дать глоток свежей жизни, мощный прилив сил, — закрытые окна вагонов, которые наши изверги-конвоиры не разрешают открывать.

Если бы они только разрешили — просто кивнули, — то благодетели помогли бы нам, и мы смогли бы вынести нашу муку. Но сердце у них твердое, как камень, они неумолимы, в них нет сочувствия. Напряжение растет с каждой минутой. Люди теряют человеческий облик. Одна девочка упала в обморок. Доведенная до отчаяния толпа, забыв обо всем, стала стучать, рвать двери, выбивать окна. Тут же появились несколько конвоиров — испугались, что произойдет что-нибудь такое, что грозит неприятностями и им. Они нагло спрашивают, чего хочет эта кричащая, рыдающая женщина. Те, кто еще не потерял дара речи, объясняют, что ее ребенок потерял сознание от жажды, показывают на мать, которая умоляет, чтобы ей дали немного воды. Они смеются — довольны, что не произошло ничего более серьезного. Они

хотят уже отойти от нашего вагона и пойти дальше. Мать колотит в стену все сильнее — и вот окна уже выломаны. Ее хотят оттащить, успокоить, чтобы из-за нее не наказали всех. Но она не хочет ничего слышать, она теряет единственную дочь, без которой жизнь для нее ничего не стоит. Она просит: дайте мне убежать, выпустите меня, чтобы я могла принести глоток воды для дочери. Находятся смельчаки, готовые встать на ее защиту, пропускают ее назад, к окну, она бьется и кричит. Тут снова приходят бандиты и, видя, что дерзкое поведение этой женщины может заразить безумной смелостью доведенную до отчаяния толпу, и последствия могут стать фатальными и для них, дипломатически кивают головой: мол, разрешают открыть окно.

Всех охватила радость. В вагон проникает свежая воздушная струя, выгоняет спертый, застоявшийся воздух. Все как будто заново ожили, пришли в нервное возбуждение: скоро, скоро, через минуту, через секунду можно будет схватить кусок снега и утолить жажду. Часть снежков попала в вагон, часть — на землю. Те счастливицы, которые заполучили в руки белое сокровище, набрасываются на него как сумасшедшие, снег делят среди ближайших членов семьи. Каждый глотает, несмотря на то, что снег холодный, смерзшийся. Люди дерутся, бьются за каждую крошку, поднимают с пола случайно упавшие кусочки [...] Но слишком мало было тех, кому посчастливилось утолить жажду, а [...] многие и дальше сидели в отчаянии, мучимые голодом и жаждой.

Поезд тронулся. Все благодарят этих нескольких смелых женщин и благословляют их — за геройский поступок, который они совершили в пути.

Поезд набирает ход. Мы проезжаем разные деревни и местечки. Большая их часть нам незнакома.

[...] Те, кто едет [...] [148] борются со вторым своим врагом — большим восточным народом.

Они смотрят на своих врагов, которые уже попались в их сеть: они хотели бы остервенело броситься на нас, «виноватых», из-за нашей [...] они вынуждены были теперь покинуть свой дом, расстаться с родителями, сестрами и маленькими братьями. Они были вынуждены оставить жену, заходившуюся в рыданиях, и ребенка, который не хотел слезать с его рук и вес просил: «Папа, не уходи!».

Слабые, беззащитные, разбитые — это мы принесли им огромное несчастье. Это мы вывели народы на поле боя [149]. А если их сейчас подпустят к нам, с каким садизмом они схватили бы нас, как жестоко переломали бы нам кости. Почему их посылают туда, против того, дальнего врага, если прямо перед ними враг страшнее и опаснее, чем тот, на борьбу с которым их отправляют. Пусть

поле боя будет для них здесь — они покажут свою [...] силу. Пусть их оставят здесь — и в бою с этим ужасным всемирным призраком они покажут, на что способны.

Нет, подлые бандиты, нет, простодушные глупые разбойники, отправляйтесь на бой с врагом номер два — врагом сильным и мощным. Показывайте свое мужество, свою храбрость там, где против вас будут биться огромные стальные птицы и массивные движущиеся крепости, которыми управляют патриоты, отважные герои, борцы за всеобщую свободу и счастье. Отправляйтесь туда, подлецы и злодеи, туда, на поле боя, где свет противостоит тьме, а свобода — порабощению. Там вы потеряете свою жестокость, там ваша сила исчезнет, там вашему существованию придет конец. Там ваша жизнь канет в бездну.

Поезда трогаются с места. Мы едем на запад, а они на восток — и нас, и их ожидает одно и то же: нас — ни за что, а их — по их собственной вине.

Мы приближаемся к городу. Издали видны огромные фабричные трубы. Ты начинаешь замечать существование сложной организации человеческого труда. Когда мы подъехали совсем близко, то увидели перед собой один из больших городов Верхней Силезии[150].

Здесь на обширной территории разбросаны большие и маленькие здания. Отовсюду рвутся к небу трубы — символы тяжелой созидательной работы. Когда-то здесь была сосредоточена польская тяжелая промышленность. Все думают, что разгадали цель путешествия: конечно, нас привезли на эти фабрики, здесь нужны рабочие руки — и нас поглотит эта индустриальная машина, как поглотила она наших предшественников.

Но мы продолжили свой монотонный путь. Движемся в глубь Силезии — туман покрывает эту область. Это так страшно, так серо, как и наша жизнь. Ты видишь на путях огромные, длинные составы с углем. По всем признакам заметно, что здесь сердце польской земли, богатой черным сокровищем — углем. Каждого будоражит мысль: если его бросят в глубокие копи [...] — кто знает, хватит ли его физических сил, чтобы это выдержать? Сможет ли он приспособиться к условиям, в которые хозяева, чьи нравы он уже хорошо знает, его поместят?

Сможет ли он, после нескольких изнуряющих недель голода и нужды, обеспечить своей работой существование семьи — жены, ребенка, родителей?

Мы едем, пока не наступает ночь — тогда состав снова останавливается. Поезд время от времени трогается с места, проезжает несколько километров и останавливается. Тяжелая, полная кошмаров ночь заключила нас в свои объятия. Большие толпы евреев

— измученных, беспокойных — знают, что скоро они уже будут недалеко от цели своего путешествия, что они почти добрались до конечного пункта. Кто знает, что будет, что ждет их, когда они приедут туда, где их предшественники оборвали рассказ о своих злоключениях?

Что будет, когда они доберутся до Германии? Вдруг их история навеки прервется? Смогут ли они оставить о себе живой [след] — для тех, кому в ближайшем будущем придется проделать тот же путь? Кто знает? Всех охватило отчаяние — как будто взяло в тиски. Только этот луч надежды, это неверие в невозможное, эта недооценка врага, опьяняли всех, как опиум, вселяли в нас мужество, давали каплю утешения сердцам. Толпа изнуренных людей дремлет, со смертельным ужасом ожидая прихода завтрашнего дня. И вот закончилась долгая, полная отчаяния ночь.

Приходит серое утро, оно прорывается в мир сквозь густой черный туман, который держится плотно, не рассеивается, властвует над миром.

[...] и не [...] покрыл серым туманом и [...] печаль и горе [...] говорит о [...] смерть [...] мир в трауре [...] это проклятое утро.

Несчастное утро [...] две тысячи пятьсот безвинных детей [...] встретили свою ужасную смерть.

Мы прибыли на станцию Катовиц. Города не видно. Перед тобой появляются лишь очертания построек. Все пришли в подавленное состояние. Все видят, что уже почти дошли до конца. Через час надо будет уже выходить из поезда. Кто знает, что ожидает нас? Кто-то боится этого конечного пункта. Эти люди уже так привыкли к ритму нескончаемого путешествия, и, несмотря на непереносимые условия, они готовы целую вечность ехать на этом поезде по пустынным местам — среди диких людей или зверей, — лишь бы не выходить здесь. Пугают злые, разбойничьи лица тех, кто их здесь ожидает. Пугает место, в которое их привезли, — страна врага, чужое место. Если там, возле их родного местечка, с ними так жестоко и безжалостно обошлись, то что же ожидает их здесь? Некоторые — те, кто уже истощен и морально, и физически, покорно препоручили себя судьбе, — а там посмотрим, что будет. Лишь бы быстрее выбраться из этой тесной запертой тюрьмы, которая отнимает жизненные силы. Может быть, на воле будет лучше, безопаснее? Еще теплится луч надежды.

Мы приближаемся к последней станции. [...] Все сломлены [...] Все погружены в страшные мысли. [...] Каждый держит себя в нервном напряжении: из глубин сознания всплывают гложущие ум мысли, мучительные вопросы: а где те, кто вышел из поезда до нас? Почему следы их жизни потеряны, почему они исчезли навсегда и ничего, что напоминало бы нам об их существовании,

не осталось — почему?

Мы скоро уже дойдем до последней точки, скоро и нам придется написать здесь наши последние слова: «Мы прибыли в Германию».

И что дальше? Все перерезано, все исчезло, — почему? Наверное, все-таки правдивы ужасные вести о варшавских[151] евреях, которые нашли свою смерть в Треблинке. [...] У бандитов [...] есть второй [...] сейчас к ним. Кто знает, слышат ли они последний стук колес?

Кто знает, случится ли им еще когда-нибудь ехать на поезде?

Кто знает, не сегодня ли их последнее утро?

Кто знает, смогут ли они еще хоть раз увидеть рассвет?

Кто знает, посмотрят ли их глаза на мир еще когда-нибудь?

Кто знает, смогут ли они еще раз насладиться жизнью?

Кто знает, смогут ли они вырастить своих детей?

Кто знает, будет ли ребенок у матери, а у ребенка — мать?

Кто знает, будешь ли ты у меня?

Поезд замедлил ход, выехал на запасной путь. Определенно, мы достигли цели нашего путешествия. Поезд остановился, толпа качнулась, ожила — все еще находясь в вагоне. Все толкаются, рвутся к выходу. Всем хочется глотнуть немного свежего воздуха — и хоть немного свободы.

Мы вышли из поезда. Посмотри, друг мой, что здесь происходит. Посмотри, кто вышел нас встречать. Это военные в касках на головах, с большими нагайками в руках. [...] с большими свирепыми собаками. Вот что встретили мы вместо раскрытых для приветствия объятий. Никто не может понять: зачем нужен этот конвой? Почему нам оказали такой страшный прием? Почему? Зачем? Кто мы такие, чтобы применять против нас мощное оружие, натравливать злых собак? Ведь мы мирные люди, мы прибыли на работу — так зачем нужны такие меры предосторожности?

Подожди, ты скоро поймешь. Прямо при выходе из вагона у нас отобрали мешки с вещами, отнимали даже самую незначительную поклажу, все бросали в кучу. Нельзя ничего брать с собой, ничего иметь при себе. Этот приказ повергает всех в уныние: ведь если тебе велят отдать самые нужные, элементарные вещи — значит, самое нужное уже и не нужно, без необходимого придется обойтись. Здесь, на этом плацу, у тебя не должно быть никаких личных вещей.

Но горевать об этом времени нет. Раздается новое распоряжение: мужчины — отдельно, женщины — отдельно. Этот страшный, жестокий приказ поразил нас, как гром.

Именно сейчас, когда мы уже стоим у края, уже подошли к последнему рубежу, нас заставляют расстаться, разорвать неразрывное, разделить неделимое, то, что уже так крепко связано, что срослось в единый организм! Ни один человек не двинулся с места: никто не верит, что это невероятное, невозможное осуществится. Но град ударов, который посыпался на первые ряды, заставил даже тех, кто стоял далеко, разделиться.

Никто, расходясь, даже не допускал мысли, не верил, никто по-настоящему не осознавал трагического значения этого момента. Все думали, что это лишь формальная процедура: нас разделяют, чтобы установить точное количество прибывших обоих полов.

Но мы чувствовали боль оттого, что сейчас, в эти серьезнейшие минуты, мы не можем стоять вместе и утешать друг друга. Все чувствовали силу неразрывных семейных связей.

Вот стоят они: с одной стороны муж, с другой — жена и ребенок. Вот стоят пожилые мужчины, тут старый отец, а напротив него — слабая мать. Вот братья, они смотрят туда, где стоят их сестры. Никто не понимает, что должно произойти. Но все чувствуют, что [...] и уже близка последняя стадия [...]

Надо называть возраст и профессию. Всех делят на группы, велят становиться [...] Только одно совершенно непонятно: те, кто спрашивает нас, совершенно не интересуются ответами. Они делят нас случайным образом: одного туда, другого сюда — в зависимости от того, понравился ли им человек на вид.

Толпу разделили на три: отдельно женщины с детьми, отдельно мужчины, самые старые и самые молодые, и третья шеренга — самая маленькая часть, процентов десять от всего транспорта. Никто не знает, где лучше, где безопаснее. Все думают, что здесь отбирают на разные работы. Женщин с детьми определяют на самую легкую, подростков и стариков — на нетрудную, переносимую работу. А самая малочисленная группа, в которой, казалось, собрались самые работоспособные, — она будет заниматься тяжелым трудом.

Сердце обливается кровью, когда смотришь на женщин, измученных долгой дорогой: им приходится еще держать на руках детей [...] Кто-то пытается им хоть чем-нибудь помочь, хоть немного облегчить их страдания — но таких тут же бьют по голове так, что забываешь, зачем, собственно, ты собирался подойти к другой колонне. Женщины, видя, что ожидает их мужей, если они попытаются оказать им помощь, машут им рукой, чтобы те стояли смирно и не двигались с места. В эти страшные минуты они хотят [...] Их утешает лишь то, что скоро они наверняка снова будут вместе и больше им не придется расставаться.

В голове роятся мысли в беспорядке, — ты стоишь беспомощный, незащищенный. Единственное, что ты сейчас чувствуешь, — это боль внезапного расставания, потому что если женщин и детей посылают на какую-то особенную работу, а они, мужчины, не смогут быть вместе с ними и не смогут им ничем помочь, то оказывается, что идиллия, которой они жили до прибытия сюда, не более чем пустая выдумка. Дурман внезапно развеялся. Все застыли, пораженные сильнейшей болью: происходящее похоже на хирургическую операцию, начатую еще у поезда.

Приезжают машины, в них сажают женщин и детей. Им придется [...] Доведется ли еще кому-нибудь из нас свидеться с женой и ребенком, с родителями, с сестрами? Мужчины стоят в стороне и смотрят, их близких увозят грузовики.

Взгляд каждого прикован к тому месту, где находится его жена с маленьким ребенком на руках. Вот две дочери ведут свою мать. Взгляд их братьев и отца провожают их. Какая страшная, какая ужасная картина открылась твоему взору! Один из военных, который загружает людей в кузов, залез на один из грузовиков и со всей силы надавил на женщин и детей — как будто они неживое вещество, инвентарь.

[...] если его жену и ребенка покалечит этот безжалостный садист. В этот тяжелый, ответственный момент каждый был бы готов заслонить их, укрыть собой — жену и ребенка, мать и сестер. Как счастлив был бы каждый из нас, если бы мог быть с ними, защитить их, встать стеной, чтобы ничего страшного с ними не случилось! Каждый шлет — им вдогонку свои пожелания — чтобы в ближайшие часы они могли еще встретиться, здоровые и веселые. Женщины смотрят вниз, на колонны мужчин. Одна не может оторвать взгляда от мужа, другая — от отца и братьев. Как счастливы были бы они, если бы могли сейчас, в эти страшные минуты, быть вместе! Они были бы увереннее и смелее встретили бы то, что должно с ними вот-вот произойти.

А сейчас они стоят — одинокие, беспомощные, испуганные. Там, внизу стоят их верные, преданные мужья и братья. Там, внизу, находятся те, кто может и хочет помочь им, утешить их. Только злые собаки не подпустят. Вы, садисты, вы, бессердечные убийцы, почему вы не тем, кто готов отдать за нас жизнь, быть сейчас с нами вместе? Они могли бы облегчить нам эти страшные минуты. Почему?!

Каждая из женщин утешается тем, что все это продлится недолго. Сразу по завершении процедуры она встретится с мужем и окажется под его защитой. Ей будут помогать братья. Все смогут снова соединиться и, как и прежде, смогут жить дальше вместе. Каким бы горьким будущее ни было, оно станет слаще от [...]

Плац пустеет. Подъезжают пустые грузовики, а отъезжают забитые до отказа. Все [...] и убегает в одном направлении. Мы следим за ними взглядом, пока они не скроются, — но тут же подходят новые машины, забирают все новых и новых людей и увозят их неизвестно куда.

Более сильные — маленькая группа, — в которую вроде бы была определена лучшая рабочая сила, хотят видеть в этом повод для утешения: то, что увозят женщин и детей, слабых и старых мужчин, — это же проявление человечности! Видимо, власть не хочет изматывать их пешим переходом после такой утомительной дороги. А нас выстроили в ряды по пятеро и приказали маршировать по направлению к лагерю.

Смотри, друг: идет небольшая группа — чуть более двухсот человек, малая часть приехавшей сюда толпы. Они идут, низко опустив головы, погруженные в тяжелые размышления, опустив руки, в отчаянии. Они прибыли тысячами, — а теперь их осталось так мало. Они прибыли вместе с женами и детьми, родителями, сестрами и братьями, — а теперь остались совсем одни — без жены, без детей, без родителей, без сестер и братьев. Всегда они держались вместе: вместе вышли из гетто и из лагеря, вместе ехали в поезде взаперти. А здесь, в конце пути, когда они уже подошли к последнему рубежу, такому страшному [...] и пугающему [...] их разлучили.

[...] как там измученная жена [...] с детьми [...] как она там в эти минуты, без его помощи? Кто поддержит ее, кто подаст ей совет? Вдруг однажды, пользуясь ее беспомощностью, злые и черствые бандиты изобьют ее?

Другой думает про своих старых родителей: что-то с ними может случиться? Насмешки и унижение с побоями в придачу — вдруг только этого можно ожидать от новых хозяев? Откуда знать ему, что происходит сейчас с его сестрами и братьями, вместе ли они, по крайней мере? Удалось ли им там, на плацу, куда их привели, удержаться вместе? Они хотят друг другу помочь, [хотят] утешить друг друга.

В направлении [...] идут [...] только с семьями [...] охвачены такими тягостными размышлениями [...] маленькие группы людей.

Вдруг все словно очнулись: мы увидели, как марширует группа людей, одетых в полосатые робы. Эти люди хорошо выглядят и производят впечатление мужественное и беззаботное. Когда мы подошли ближе, то стало видно, что это евреи. Радость охватила всех нас. Мы увидели первых людей в лагере, свидетельство жизни, хорошего отношения, человеческого обращения. Все укрепляются в вере, что и нам выпадет жребий не хуже. И единственная

забота, которая остается у нас [...]

Маленькое здание. Нам велят построиться в ряды, чтобы всех пересчитать. Мы проходим. Несколько человек в военной форме смеются над нами. Нас сосчитали — и вот мы прошли на недавно огороженный плац. Все оглядываются, смотрят всюду и надеются найти за проволокой тех, с кем нас разлучили несколько минут назад. Слышны голоса женщин — взрослых и пожилых на вид. Мы видим: за проволокой ходят женщины в гражданской и лагерной одежде. Там такой шум, такой гам — это наверняка наши жены с детьми, это точно прибыли наши матери и сестры, — и теперь проводятся разные гигиенические процедуры, чтобы их [...]

Только одно ясно нам [...] сделан [...] который отделял нас от [...] Хорошо огороженный, обнесенный проволокой женский лагерь. Мы почувствовали горечь разлуки, ощутили первую боль. Мы еще не способны полностью осознать происходящее — только глубокая пропасть стала расти перед нами. Единственное, что нас утешало: нас уводят недалеко. Мы будем рядом с ними. Через проволоку мы сможем смотреть друг на друга. И, может быть, получится установить контакт.

Мы проходим через вторые ворота и оказываемся в огороженном мужском лагере. Мы ступаем по глине [...] Но до сих пор не [...] Между двух [...] зданий стоят какие-то мужчины и оглядывают нас с головы до ног. Мы не можем понять, евреи это или нет, не догадываемся, почему они нас так разглядывают. Вероятно, им любопытно познакомиться с новоприбывшими. Вокруг нас люди, один вид которых пугает; они идут по глине и волочат тачки, груженные глиной, или несут поклажу: один — кирпичи, другой — ту же глину. Дрожь пронимает, когда смотришь на них: они были когда-то людьми, а сейчас — тени. И это — работа, это — концентрационный лагерь, который должен давать трудоустройство миллионам евреев, привезенным сюда? Это и есть та самая важная государственная работа, для которой надо пожертвовать всем, всеми самыми нужными [...] самыми необходимыми [...] то, что ты видишь, потому что тебя слишком тревожит судьба тех, кто тебе близок и дорог.

Нас ведут в какие-то деревянные постройки. Все надеялись, что встретят здесь своих братьев и отцов, которых повезли сюда. Но ни от кого из них нет и следа. А вдруг они уже прошли все процедуры и отправились на свое место? Вот входят несколько еврейских бандитов[152] в сопровождении нескольких военных и приказывают: все, что у нас есть при себе, необходимо отдать. Никто не понимает, что требуется от нас: ведь все уже отдано! Зачем им нужно даже то небольшое, то минимальное, что может еще быть у

нас в карманах, зачем?

[...] палочные удары сыплются на голову. Всего за один вопрос — удар. Они отбирают даже документы — самую важную вещь, особенно в военное время. Ничего нельзя иметь при себе. Даже запись о том, кто ты и откуда ты родом, — здесь ничего тебе не понадобится. Никто не понимает, почему надо все отдавать. Когда мы отдали все вещи, нас повели в баню. Еврейские конвоиры смеются над нами. Никто не понимает их загадочных вопросов: кто вам велел приезжать сюда? Неужели вы не могли найти себе место получше? Никто им не отвечает, потому что их вопросы нам непонятны.

Нас ведут в баню — якобы для дезинфекции, но мыться здесь нельзя. Нам состригают волосы и [...] чем-то влажным. После этого нас ведут в другое помещение и выдают новые вещи. Мы вошли сюда одетые как обычные люди, а вышли — как преступники или как безумные.

Все без шапок, один в туфлях, другой в сапогах не по ноге, слишком больших для него. Вещи кому-то слишком малы, кому-то слишком велики. Вот так мы, вновь поступившие, уже начинаем вливаться в старую лагерную семью. Нас переводят на новые лагерные рельсы: здесь нам придется устраивать жизнь заново.

Но одна мысль занимает всех сейчас, один вопрос не дает никому покоя: как же узнать, что с семьей, где она, как получить от родственников хотя бы весточку? Где найти их след?

Прошел слух: каждому удастся [...] встретиться. На чем этот слух основан — непонятно. Мы довольны тем, что получили [...]

Возвращаемся к бараку, нас выстраивают в шеренгу, чтобы сфотографировать: нужны снимки всех вновь прибывших.

Мы пытаемся завязать разговор с теми, кто здесь уже давно, и хоть что-нибудь от них узнать. Но как подло, как жестоко ведут себя те, к кому мы обращаемся! Как можно быть таким садистом — насмехаться над одинокими, сломленными людьми?! Как могут они так легко, бровью не пошевелив, отвечать нам на вопрос, где находятся сейчас наши близкие: «Они уже на небесах»? Неужели лагерь так на них подействовал, что они утратили все человеческие чувства и не находят для себя лучшего занятия, чем наслаждаться чужой болью и мукой?! Это производит впечатление ужасного [...] «Ваши близкие уже сторели...» Всех охватывает ужас. Дрожь пронимает, когда слышишь эти слова: «Твоих родных уже нет».

Нет, это невозможно! Разве может так быть, чтобы так думали люди, которые сейчас разговаривают с нами, которые так же, как и мы, приехали сюда вместе с семьями — и остались одни, потому

что те, кого увозили машины, попали прямо в газовую печь, которая глотает людей живыми и полными сил, а выбрасывает только мертвые, окаменевшие тела?! Нет, невозможно, они не могли бы так легко говорить об этом, они не могли бы открыть рта, не нашли бы слов, чтобы это сказать. Потому что их самих уже не было бы на свете.

[...] дьявольская игра [...] к страшной лагерной жизни. И тем не менее их слова оставляют в сердце глубокий след, заполняют ум страшными мыслями.

Новое мучение: ожил наш духовный враг — голод напомнил о себе. Он стал терзать нас вновь — и ты слабеешь, не выдержав напора такого сильного внутреннего врага. Он не дает покоя, он не дает тебе думать, пока не утолишь его.

Голодным дали еды — это минутное утешение: хотя бы тело немного насытилось.

Нам начинают ставить клейма. Каждый получает свой номер. С этого момента у тебя больше нет своего «я» — ты превращаешься в номер. Ты больше не тот, кем был когда-то. Ты теперь ничего не говорящий, ничего не значащий, ходячий номер.

Нас выстраивают по 100 номеров и [...] всех ведут в новое жилище. Уже стемнело, дороги почти не видно. Кое-где светят электрические лампочки — но освещение от них скудное.

Единственный яркий источник света — это большой прожектор, который висит над воротами — их видно издали. Люди ползут по глине — пока не упадут, изнемогая от страха. В мучениях добираемся до новых бараков.

Как только мы увидели наш новый дом, как только смогли глотнуть воздуха, нас стали бить палками по голове. Из рассеченной головы, с разбитого лица стекает кровь. Так выглядит первый прием для вновь прибывших. Все оглушены, в смятении оглядываются, смотрят, куда попали. Кто отодвигается в сторону [...]

Каждый думает, как защититься от побоев. Нам говорят, что это самое легкое в лагерной жизни. Здесь царит железная дисциплина. Здесь лагерь уничтожения, здесь остров смерти. Сюда приезжают не затем, чтобы продолжать жить, а лишь затем, чтобы встретить свою смерть — кто-то раньше, кто-то позже. Жизнь не стала селиться в этом месте. Здесь резиденция смерти. Наш мозг костенеет, понимание притупляется, мы не воспринимаем нового языка. Каждый думает только о том, где его семья, куда же определили его родных, как удастся им приспособиться к таким условиям. Каждый думает: а вдруг [...]

Преступники и садисты [...] как [...] до смерти напуганный ребенок, видя, как бьют его мать.

Кто знает, как сейчас эти подлые бандиты — к какому бы полу они ни относились — обходятся с его слабой больной матерью или с милыми, дорогими его сестрами. Кто знает, где, в какой могиле нашли покой его отец и братья и как [...] Мы все стоим, беспомощные, беспокойные, доведенные до отчаяния, одинокие, сломленные. Делим боксы[153] — это такие нары, рассчитанные на пять-шесть номеров[154]. Нам велят лечь на них, чтобы было видно только голову. Ползи как можно глубже, проклятый человек.

Тебя должно быть видно как можно меньше.

Вот к нам подходят те, кто здесь уже давно. Они спрашивают, сколько нас было и сколько человек оставили в лагере. Эти вопросы нам не понятны. Мы не можем взять в толк, в чем разница. Где же те, кого увезли на машинах? Собеседники смотрят на нас с циничной улыбкой. Глубоко вздыхают они — знак человеческого сострадания. Среди старых узников нашелся один человек из нашего лагеря, который приехал с одним из более ранних транспортов. Об этих транспортах у нас не было вестей, мы не нашли никаких следов этих людей. Эта встреча — весть о них, след их жизни. [...] из Германии. Но что говорит этот человек? Сердце трепещет, волосы встают дыбом, — послушай, что он несет: «Мои дорогие, нас, как и вас, прибыли тысячи, — а осталась лишь малая толика. [...] Тех, кто уехал на грузовиках, повезли прямо на смерть. А те, кто шел пешком, еще должны проделать свой мучительный путь к смерти — кто длиннее, кто короче».

Ужасные, невероятные слова! Разве может так быть, чтобы люди могли говорить о смерти своей жены, ребенка, родителей, сестер и братьев, — а сами при этом могли еще существовать? Возникает робкая догадка: наверное, лагерная атмосфера делает людей такими дикими, такими жестокими, что им теперь доставляет особое удовольствие созерцание чужих мучений: это приносит им утешение, им хочется увеличить число страдающих. Одно непонятно: почему все они, независимо от возраста и характера, рассказывают одно и то же! Что — всех, кто прибыл сюда, уже давно нет в живых? Это роковое известие. Все мы совершенно подавлены, нас терзают сомнения: неужели они говорят правду?! Иди сюда, друг, посмотри: вот лежат пять-шесть человек в обнимку, сдавленные грузом страдания. Все они плачут: каждому хочется излить свое сердце. Они не хотят снова погружаться в это несчастье, — но слезы мучений льются сами собой.

— Послушай, друг мой, — один человек говорит другому. — Дорогой мой, неужели это правда — и мы уже все потеряли? Неужели у нас уже никого больше нет: ни жены, ни ребенка, ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер? Как это ужасно! Разве это возмож-

но? Разве бывает такая жестокость на свете? Разве может такой садизм — [...] тысячи, тысячи людей, и убить их без вины — существовать на земле?

Как были бы мы счастливы, если бы могли быть там все вместе! Как счастливы были бы мы, если бы нас не разделили и мы могли бы бок о бок сражаться с судьбой, как бы страшна и ужасна она ни была! Почему вы, подлые бандиты, разделили, разлучили нас? Почему вы разделили сердца надвое: одну часть — на смерть, а другую половину еще оставили живой. Почему вы разорвали надвое мою душу [...] разделить ее судьбу [...] Это правда: почему вы [...] встретиться в объятиях смерти [...] не находить себе места от страданий [...]

Трезвый, у которого сначала было ужасное предчувствие [...] Теперь у него есть яд — смертоносные таблетки, которые он хранил до последнего момента и не знал [...]

Каждый был бы теперь счастлив иметь такие таблетки. Мы бы навеки забылись — и волны прекрасных снов соединили бы нас с любимой семьей.

Вдруг — удар палкой. Моего соседа бьют по голове (видимо, нас слишком много на нарах) — и размышлениям, скорбному нашему разговору пришел конец.

Боль нового брата подействовала на нас так: каждый стал думать о себе, о том, как бы обезопасить самого себя — живя посреди боли и горя.

К нашим нарам подходит новый «лагерный папаша» — высокий светловолосый полный человек и, улыбаясь, обращается к нам, своим новым детям: «Знайτε, что я, — тот, кого вы видите перед собой, — ваш блокэльтесте.

— Я представитель [...]

[...] можете поддерживать свое тело в живом состоянии [...] Через несколько дней ваше тело в глубок[...] и истощится от страшных мук.

Запомните: место, в котором вы находитесь, — это лагерь уничтожения. Здесь долго не живут. Условия здесь тяжелые, дисциплина железная. Забудьте обо всем, помните о себе — тогда вы сможете продержаться. Прежде всего, берегите туфли и сапоги — это первый завет лагерной жизни. Если ты бос — скоро тебе конец. Содержи себя в чистоте. И пусть неизвестно, будут ли у вас еще силы после тяжелого рабочего дня, чтобы привести себя в порядок, — пусть у вас будет хотя бы это желание. Моя речь окончена. Спокойной ночи, мои дорогие!»

После этой речи у нас мало чего осталось в голове: смерть нас не пугает. Она не кажется нам несчастьем. Лишь одно среди сказанного пустило в нас корни — это инструкция, как следить за

телом, защитить себя от лишних страданий. А это всех пугало: физической боли все хотели бы избежать. От смертельных страданий все хотели бы уйти.

Эта речь нас утешила и напутала одновременно: утешила своим тоном и испугала своим содержанием. Как выглядит рабочая улица, по которой нас поведут? Кто знает, сколько мук нам придется вынести, пока мы не найдем последнего избавления? Кто знает? [...]

[...] уже от всего и проникают во внутренний мир, ввергают в [...] пучину страданий, которая снова охватила [...]

Вдруг слышим: кто-то поет. Мы сошли с ума! Что здесь происходит? Здесь, на этом кладбище, — песнь жизни, на острове смерти — живой голос? Неужели здесь, в лагере уничтожения, кто-то еще может петь, а кто-то другой — слушать? Как это возможно?! Мы, видимо, попали в мир демонов, где все делается наоборот.

В бараке переполох. Все разбегаются, чтобы как можно быстрее залезть на нары. Это явились Stubedeinsten[155] — те самые «защитники» наших матерей, жен и сестер[156]. Они кидаются с тяжелыми палками на перепуганные, изнуренные долгим днем работы человеческие тени. Чего они хотят от этих несчастных? Почему бьют без разбора ни в чем не виноватых? Одному разбили голову, другого покалечили — а ты не можешь ничего сказать: если попытаешься их остановить, бросят на землю и тебя, как омерзительное чудовище, и будут топтать ногами — и так [...], мои дорогие сестры. Горе моим братьям, которые пытаются найти в вас утешение, горе детям, которым нужна материнская нежность. Страшно осознавать, что именно вы, оказывается, должны о них позаботиться.

Они подходят к нашим нарам и делают дополнения к лекции блокэльтесте. Они рассказывают и показывают нам, как вести себя с ними и на работе. Мы должны стать автоматами, двигаться лишь по их воле. Не дай бог сделать хоть шаг не так или ослушаться, как они станут бить вас тяжелой палкой, которая сделает вас такими ничтожными, такими жалкими, что во второй раз вам будет уже не подняться.

Каким горьким ни был бы этот яд — он не может больше воздействовать на нас. Он не путает нас и не вредит нам. Мы ко всему готовы и бесстрашно пойдем в страшное завтра.

Отталкивающее, пугающее впечатление производит на нас всех отправление физиологических потребностей в бараке — прямо напротив нар. Скоро и это нам придется научиться выносить. Как страшно, как ужасно! Мораль и этика здесь тоже умерли.

В бараке становится тихо: все укладываются на нары и погружаются в глубокий сон.

Только на тех нарах, которые заняты недавно, люди — только что ставшие братьями [...], их семьи уничтожены никак не могут найти покой, сон не приходит к ним.

[...] Смотри, друг, как они лежат [...] боли и мук на лице каждого из них. Один кричит, другой плачет во сне [...] все стонут — еще раз переживают трагедию прошедшего дня. Во сне, когда человек наедине с собой, больше чувствуется огромное, безграничное горе. У кого-то на лице появилась счастливая улыбка — наверное, снится семья, с которой его разлучили. Все спят.

Первая ночь миновала.

Всех поднял звон лагерного гонга[157]. Нас, вновь прибывших, сразу выгоняют на улицу: мы должны еще пройти тренировку перед построением.

Снаружи еще темно. Падает мокрый снег. В лагере шум: из барачков на построение тянутся номера. Всех пробирает холод: мы босы, на нас лагерные робы. Выкрики: «Разделиться, построиться в шеренги!». Нас готовят к построению, блокэльтесте дает последние указания: что надо делать по той или иной команде. Мы быстро осваиваем эту премудрость.

[...] с желтой повязкой на руке — капо[158], глава команды, это человек, который волен с каждым из нас делать все что хочет. Он распоряжается твоей силой, твоей личностью.

«[...] чтобы вы были хорошими работниками. Помните только одну вещь: если кто-нибудь попытается у вас отобрать сапоги — не отдавайте. Если вы слишком слабы, чтобы силой удержать их, — хотя бы запишите его номер. Пусть делает все, пусть убивает вас — но только не отнимает сапоги: это источник жизни, это залог существования».

Занимается день. Перед каждым бараком вырастают большие массы построенных в ряды людей. Начинается шум. Вот раздаются последние распоряжения. «Смирно! Шапки снять!» Величественно подходит человек из низших чинов — это блокфюрер[159], командующий построением. Он считает выстроившиеся ряды и подписывает бумажку: количество номеров, стоящих здесь, сходится с тем, что на бумаге. «Шапки надеть! Вольно!» Построение окончено. Он идет дальше, к следующей застывшей толпе, чтобы проверить, все ли в порядке. Мы провожаем их взглядом. Они, военные с хорошей выправкой, подходят ко всем баракам по очереди. Что мы видим? Возле каждого барака, возле каждой толпы лежит один, а иногда даже три-четыре трупа. Это жертвы ночи — те, кто не смог ее пережить. Вчера на построении они были еще живыми номерами, а сейчас лежат неподвижно. Выстроившиеся

молчат. Неважно, жив человек или мертв, — важно число. А число сходится.

[...] нужное направление. Как ужасно они выглядят! Как будто они [...] войны. Но это только те, кто остался после вчерашнего рабочего дня.

Нас снова разделяют. Группа, в которую я попал, называется SK-Gruppe[160]. Наш капо — улыбчивый человек, смотреть на него — утешение. Те, кто стоят рядом с нами, смотрят на нас, разглядывают наши номера. Наш вид их, похоже, удивил: мы выглядим для лагеря слишком хорошо. Но номер все объясняет: мы прибыли только вчера, еще не испытали здешней жизни, не знаем еще лагерной атмосферы и вкуса работы.

Вдруг раздаются звуки музыки[161]. Кто это? Музыка в лагере? На острове смерти — звуки музыки? Там, где труд убивает человека, как война на полях сражений, ум тревожит волшебная музыка, напоминающая о прежней жизни. Здесь, на кладбище, где все дышит смертью и уничтожением, можно вспомнить жизнь, которой нет возврата? Вот варварский порядок, вот логика садизма.

Нас выгоняют на работу. Проходим через ворота — и не можем отвести взгляда от женского лагеря, расположенного напротив. Женщины разного возраста [...]

[...] Мы спустились в широкие траншеи, подняли головы [...] и снова [...] Вчера на этом месте стояли другие люди, а сегодня утром, во время построения, они уже, наверное, лежали мертвыми. Сегодня вместо них пришли новые номера. Один выбыл — его место занял другой. Работа была грустной и символичной. Мы рыли ямы.

Вновь прибывшие стоят, низко наклонив голову, всаживают лопату в землю — и слезы из глаз льются ручьем. Каждый смотрит на землю и думает: кто знает, кто знает, может быть, здесь, глубоко, его близкие нашли себе вечное упокоение. Но нет, утешает он сам себя, таких трагедий в жизни не бывает. Никто не [...] к такой катастрофе [...]

Рядом со мной стоит мой земляк. Он на семь тысяч номеров раньше, чем я. Он попал сюда две недели назад. Завязывается разговор. Дрожь охватывает меня, когда я слышу его слова, которые он мне говорит: «Подними глаза и посмотри туда, в том направлении. Ты видишь, как клубы черного дыма поднимаются к небу — вот то место, где погибли твои самые дорогие и любимые».

[...] Согнувшись, когда [...] тяжелой палкой [...] по слабому телу. После каждого удара — крик. Когда человек падает, его бьют ногами — пока он не затихнет навсегда. Никто не двигается с места, даже для того, чтобы подать ему воды. Не страшно: если он

не сможет уйти сам — его унесут. [...] В этом нет никакого преступления. Наоборот, его будут считать хорошим надсмотрщиком, а когда он снова понесет труп мимо деревянного домика — его проводят улыбкой в знак признания.

Все погружены в отчаянные, горестные раздумья. Все идут, как положено, чтобы не попасть в руки этому кровожадному бандиту — большому рыжему детине.

Так прошел наш первый рабочий день.

Новая беда: нам, измученным, разбитым людям, снова напомнил о себе голод, жестокий враг, не чувствующий боли. Человек всегда беззащитен перед ним [...] Желудок не знает ничего о горе и страдании.

[...] Если хочешь жить — неважно для чего, если хочешь радоваться или горевать, — надо платить. Ты должен отдать дань своему господину. [...] Могут думать — неважно, будут это размышления о жизни, радости и счастье — или [...] мрачные мысли о смерти и уничтожении. [...] Он может подождать тебя, но недолго. Он может [...] тебе момент расплаты. Но помни: если ты [...], если ты не отнесешься к нему со всей серьезностью, он сломает тебя. Ты попадешь в его когти — и тебе придется выбирать: или быть с ним, или быть против него. Ты станешь его рабом. Твоя голова утратит способность думать о чем-нибудь еще, кроме того, как сделать его довольным. Тебе придется посвятить ему все свои умственные силы. И, кроме этого, для тебя ничего не будет существовать. Он станет властелином твоего естества, эксплуататором твоей души. Тебе придется делать все — и в конце концов ты должен будешь искать способ примириться с ним, а иначе тебе придется проститься со всем миром, со всем порвать — и исчезнуть навечно.

[...] возможные события. Было бы странно, если бы все, кто вышел с утра на работы, вернулись обратно. Мы идем под звуки музыки. Наш взгляд упирается в проволоку — за ней женский лагерь.

Каждый пытается найти способ, как бы разыскать кого-нибудь из своих. Еще остался слабый лучик надежды. Никто не верит, что они могли уйти навсегда.

Мы подходим к бараку [...] готовимся ко второму построению. Выстроилась огромная плотная масса несчастных, отчаявшихся, мрачных людей. Снова команды: «Равняйся!», «Смирно!», «Шапки снять!» — и построение окончено.

Около нашего барака лежит мертвец. Мы подходим к нему, смотрим. Еще сегодня утром он вышел с нами на работу, — а сейчас он лежит неподвижно. Никого это не взволновало — никто даже не вздохнул о нем. Бедняга! Если бы были живы твои

близкие — что бы сейчас творилось вокруг тебя! Мать бросилась бы на землю рядом с тобой, плакала бы навзрыд! Отец не находил бы себе места, ходил бы из угла в угол и плакал бы как ребенок. Сестры и братья сидели бы вокруг тебя и горько оплакивали твою кончину. Твои друзья [...] пришли бы [...] и каждый [...] со страшным несчастьем.

[...] сестры и братья [...] попал в лагерь [...] Несчастье невелико [...]

После построения нас запускают в барак. Вновь прибывшим приказывают снова выйти. Все пугаются: для чего? Ведь здесь все, что происходит, только усугубляет положение. Нас ведут в баню. Там стоит тот же самый военный — высокий чин, а рядом еще несколько. Приказывают каждому проходить мимо них, они спрашивают возраст и профессию. Один туда, другой сюда. Кто им нравится — тех отправляют в баню, кто не удостоился такой чести — тех отправляют обратно. Разносится слух, что так выбирают людей для работы на фабрике. Все завидуют нам: мы уедем отсюда и будем работать в лучших условиях. Нас пересчитывают, записывают номера и велят собираться в дорогу, быть готовыми ехать, когда позовут, — и раздают шинели с номерами. Мы возвращаемся обратно в блок. Старожилы завидуют: ведь мы сможем покинуть лагерь. Нам выдают и шапки — это значит, что мы наверняка уедем [...] все вокруг [...]

У меня есть много родственников, которые [...] живут в Палестине. Привожу здесь адрес моего дяди:

A. Joffe
27 East Broadway
Newyork. N. Y.
America

Я написал это десять месяцев назад. Я родом из Лунно, Гродненской области. Прибыл из Келбасинского лагеря. Я закопал это в яме с пеплом — мне казалось, что там самое надежное место, где — на территории крематориев — обязательно будут копать[162].

Только недавно [...] [163]

Перевод Александры Полян

ЧАСТЬ II

В СЕРДЦЕВИНЕ АДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель, в этих строках ты найдешь выражение страданий и бед, которые мы, несчастнейшие дети этого мира, пере-

несли во время нашей «жизни» в той земной преисподней, которая называется Биркенау-Аушвиц. Думаю, миру это название уже хорошо известно, но никто не будет знать точно, что здесь на самом деле происходит. Некоторые подумают, что если где-нибудь передадут по радио про то варварство, ту жестокость, то зверство, которые здесь царят, — все это не более чем «страшная пропаганда». Но я тебе покажу сейчас, что все, что ты уже слышал, и то, что я здесь и сейчас пишу, — лишь ничтожная часть происходящего в действительности. Это место бандитская власть устроила для уничтожения нашего народа и частично — для уничтожения других. Биркенау-Аушвиц — одно из многих мест, где разными способами истребляется наш народ.

Цель моего сочинения в том, чтобы мир узнал хоть о малой толике реально происходящего здесь и отомстил, отомстил за все.

Это единственная цель, единственный смысл моей жизни. Я живу памятью, надеждой на то, что, может быть, мои записки дойдут к тебе и что хотя бы отчасти осуществится то, к чему мы все стремимся и что было последней волей моих убитых братьев и сестер, детей моего народа.

К нашедшему эти записки!

Я прошу тебя, дорогой друг, — это желание человека, который знает, который чувствует, что настает последний, решающий момент в его жизни. Я знаю, что и я, и все евреи, находящиеся здесь, уже давно приговорены к смерти, и только день исполнения приговора еще не назначен. И поэтому, друг, исполни мою волю, последнее желание перед неотвратимой казнью! Друг мой, обратись к моим родственникам по адресу, который я передам. От них ты сможешь узнать, кто такие я и моя семья. Возьми у них нашу семейную фотографию — и нашу с женой карточку — и приложи эти фотографии к запискам. Пусть люди, которые посмотрят на них, проронят слезу или хотя бы вздохнут. Это будет для меня величайшим утешением, ведь мою мать, моего отца, моих сестер, мою жену и, может быть, еще моего брата никто не оплакивал, когда они ушли из этого мира.

Пусть их имена, пусть память о них не уйдут без следа.

Ах! Я, их ребенок, не могу даже сейчас, в аду, оплакать их, потому что каждый день я погружаюсь в море, да-да, в море крови. Одна волна подгоняет другую. Здесь нет ни минуты, чтобы можно было забиться в угол, сесть там — и плакать, плакать об этой беде. Регулярная, систематическая смерть, из которой и состоит вся здешняя «жизнь», заглушает, притупляет, искажает все твои чувства. Сам ты не можешь ощутить даже самое большое страдание, и твое личное бедствие поглощается бедствием всеобщим.

Иногда сердце разрывается, душа измучена терзаниями — почему я так «спокойно» сижу и не жалею, не плачу о моей трагедии, почему все мои чувства как будто затвердели, огрубели, отмерли? Было время, я надеялся, утешал себя, что придет еще время, придет день, когда я получу это право — плакать! Но кто знает... Почва подо мной шатается и уходит из-под ног.

Сейчас я хочу — и это мое единственное желание, — чтобы хотя бы посторонний человек проронил слезу над моими близкими, если я сам не смогу их оплакать.

Вот моя семья — ее здесь сожгли во вторник 8 декабря 1942 года, в 9 часов утра:

Моя мать — Сорэ

Моя сестра — Либэ

Моя сестра — Эстер-Рохл

Моя жена — Соня (Сорэ)

Мой тесть — Рефоэл

Мой шури́н — Волф

О моем отце, который за два дня до советско-немецкой войны случайно оказался в Вильне и остался там, мне немного рассказала одна женщина, родом из моего города[164], — она прибыла в крематорий с литовским транспортом. Я узнал от нее, что в ночь на Йонкипер[165] 1942 года его схватили вместе с другими десятками тысяч евреев, — а что было дальше, она не хотела мне рассказывать. Еще были у меня сестра Фейгеле и невестка Зисл в городе Отвоцке[166], их отправили в Треблинку одним из варшавских транспортов и, наверное, убили в газовой камере. О двух братьях — Мойшле и Авроме-Эйвере — я узнал от той же госпожи Кешковской из Вильны[167], что их уже давно отвезли в лагерь. Что с ними произошло дальше, не знаю. Кто знает, может быть, они уже давно прошли через мои собственные руки как «мусульмане»[168], которых сюда привозят отовсюду — живыми или мертвыми.

Это вся моя семья — она осталась в моем прежнем мире, — а я должен жить здесь.

Сейчас я и сам стою у края могилы[169].

1. ЛУННАЯ НОЧЬ

Я любил ее и всегда с трепетом ожидал ее прихода. Как верный раб, часами стоял я и поражался ее власти, ее волшебству. Как прикованный, загипнотизированный, я не отводил взгляда от ее царства — глубокого синего ночного неба, разубранного сверкающими бриллиантовыми звездами, — и в напряжении ждал минуты ее величественного появления. А она, царица, появлялась в сиянии своей красоты и, в сопровождении свиты, спокойно, без-

заботно, счастливо и безмятежно отправлялась на свою загадочную ночную прогулку, чтобы осмотреть свое царство — ночной мир, и дарила человечеству лучи своего света.

Мир тосковал по ее таинственному свету. Священный трепет охватывал человека, и новый источник жизни, счастья и любви открывался над миром, наполняя людям сердца — и старым, и молодым.

Люди в полях и лесах, в горах и долинах были погружены в мечты, очарованы, пленены ее волшебством; из высоких дворцов и из глубоких подвалов люди выглядывали, чтобы с тоской посмотреть на нее, — а она, Луна[170], создавала для них новый романтический, фантастический мир и наполняла их слабые сердца любовью, счастьем и наслаждением. Для всех она была самой близкой подругой. Каждый доверял ей свои тайны и открывал ей душу. Каждый чувствовал себя под ее властью уверенно и спокойно. Счастливые и довольные, полные мужества и надежды, все пряли новые нити для этого идиллического, счастливого и волшебного мира.

С тихой, спокойной, озаренной светом земли возносились к высоким небесам сладкие, чувственные мелодии переполненных любовью сердец — это люди пели песни, песни радости и счастья, хвалебные гимны ее, царицы ночи, могуществу и благодарили ее за заново открывшийся им мир.

Все это было когда-то, когда я еще видел небо своей свободы, когда я был еще человеком, равным другим людям, — был ребенком у своих родителей, жил среди братьев и сестер, когда была у меня жена, которая меня любила, — тогда Луна была для меня источником жизни и счастья, наполняя мне сердце, и чаровала меня своим волшебством и красотой.

Но сегодня, сегодня, когда я остался здесь один-одинешенек, когда мой дом, мою семью, мой мир, мой народ безжалостно уничтожили бандиты, а я, единственный из миллионов, приговоренный к смерти, сижу в тюрьме, закованный в цепи, ослабевший от мук и страха перед смертью, сегодня, когда я ее вижу, — я бегу от нее, как от призрака.

Когда я выхожу из своего барака на проклятую, дьявольскую землю и вижу, как Луна дерзко разрушила мой мрачный мир, в который я уже глубоко погрузился и с которым уже сросся, — я бегу обратно, назад, в мой темный барак. Я больше не могу видеть ее сияния. Меня выводит из себя ее спокойствие, ее беззаботность, ее мечтательность. Когда она загорается, ее свет как будто отрывает мне куски кожи, которой было обросло мое кровоточащее сердце. Она терзает, разрывает мне душу, пробуждает во мне воспоминания, которые не дают мне покоя и рвут мне сердце. И

меня, словно бурной волной, уносит в море страданий. Она напоминает мне о волшебном прошлом и освещает страшное настоящее.

Я больше не хочу видеть ее сияния, потому что она только усиливает мою тоску, только заостряет мою боль, только умножает мои мучения. Я лучше чувствую себя в темноте, в царстве печальной мертвой ночи. Она, эта ночь, созвучна терзаниям моего сердца и мукам моей души. Мой друг — темная ночь, мои песни — плач и крик, мой свет — огонь, в котором сгорают жертвы, мой аромат — запах смерти, а мой дом — этот ад. К чему и зачем приходишь ты, жестокая и чуждая мне Луна, зачем мешаешь людям хоть немного насладиться счастьем в их забвении? Зачем ты пробуждаешь их от тревожного сна и освещаешь мир, который уже стал им чужим и куда они уже больше никогда, никогда в жизни не смогут попасть!

Зачем ты появляешься в своем волшебном великолепии и напоминаешь им о былом — о котором они уже навсегда забыли? Зачем ты озаряешь их своим царственным светом и рассказываешь им о жизни, о счастливой жизни, которой еще живут какие-то люди — там, на земле, куда еще не ступала нога этих извергов?

Зачем ты шлешь нам свои лучи, которые превращаются в копья и ранят наши кровоточащие сердца и измученные души? Зачем ты сияешь нам здесь, в этом проклятом адском мире, где ночь озаряется огромными кострами — кострами, в которых сгорают невинные жертвы?

Зачем ты сияешь здесь, над этим жутким куском земли, где каждый шаг, каждое дерево, каждая травинка — буквально все пропитано кровью миллионов, миллионов замученных людей?

Зачем ты появляешься здесь, где воздух насыщен смертью и уничтожением, где к небесам летят душераздирающие вопли женщин и детей, отцов и матерей, молодых и старых, — невинных, которых гонят сюда, чтобы зверски убить?

Не смей здесь светить! Здесь, в этом жутком углу, где людей дико, жестоко истязают и топят в пучине горя и крови — а они с ужасом ждут неизбежной смерти, — не смей [им] светить!!!

Зачем ты появляешься в своем могуществе и величии — ждешь тоскующего взгляда? Посмотри на эти бледные, исхудавшие тени, которые бродят как безумные от одного барака к другому, смотрят с содроганием не на твой блеск, а на то пламя, которое рвется к небесам из высоких печей, и их сердца наполняются ужасом: кто знает, не сожжет ли он сам завтра, как и сегодня, сердце каждого своего брата, а его тело, которое сегодня, на этом острове мертвых, еще живо, — не исчезнет ли и оно завтра в дыму? И не будет ли это финалом его жизни, концом его мира?..

Почему ты движешься так величественно, как прежде, так же беззаботно, счастливо и радостно, почему не сочувствуешь им, несчастным жертвам, жившим когда-то в какой-то европейской стране, все вместе, одной семьей, еще помнящим домашнее тепло? Глядя на твой свет, они мечтали о лучших временах, представляли себе мир счастья и радости. А сегодня жестоко и неумолимо несутся поезда, они везут жертв — детей моего народа, — быстро везут их, как будто в дар своему богу, который жаждет их плоти и крови. О, знаешь ли ты, сколько страдания, боли и мук несут поезда, когда летят через страны и города, где люди еще спокойно живут и беззаботно наслаждаются миром, твоим волшебством и великолепием?

Почему ты не сострадаешь им, несчастным жертвам, которые бежали из своих домов и прячутся в лесах и полях, в развалинах, в мрачных подвалах, чтобы их не обнаружил взгляд ни одного убийцы, — а ты своим светом только усугубляешь их несчастье, усиливаешь их горе, удваиваешь их ужас. Из-за твоих лучей они боятся показаться на свет, глотнуть хоть чуть-чуть свежего воздуха или достать кусок хлеба.

Почему ты так царственно сияешь на этом проклятом горизонте и досаждаешь жертвам — тем, кого в эти светлые ночи изверга вытаскивают из их деревянных барачков, тысячами загоняют в машины и везут в крематории, на верную смерть? Знаешь ли ты, сколько мук ты причиняешь им, когда в свете твоих лучей они снова видят этот прекрасный и влекущий к себе мир, от которого сейчас их так безжалостно оторвут? Не было ли им лучше, если бы мир был погружен во мрак и они не видели его в последние минуты своей жизни?

Почему, Луна, ты думаешь только о себе? Почему ты с таким садизмом стремишься досаждать им, когда они уже стоят на краю могилы, и не отступаешь, даже когда они уже сходят в землю? И тогда — стоя с распростертыми руками — они шлют тебе последний привет и смотрят на тебя в последний раз. Ты знаешь, с какими мучениями они сходят в могилу — и все из-за того, что они заметили твой свет и вспомнили твой прекрасный мир?

Почему ты не слышишь последнюю песнь влюбленных сердец, обращенную к тебе, когда земля их уже почти поглотила, а они все не могут с тобой расстаться — так сильна их любовь к тебе, — а ты остаешься такой же спокойной и все дальше удаляешься от них?

Почему ты даже не посмотришь на них в последний раз? Прольей свою лунную слезу, чтобы им было легче умирать, чувствуя, что и ты им сострадаешь.

Почему ты сегодня движешься так же задумчиво, влюбленно, замороженно, как и прежде, и не видишь этой катастрофы, этого бедствия, которое принесли с собой эти бандиты, эти убийцы?

Почему ты не чувствуешь этого? Разве ты не скорбишь по этим миллионам жизней? Эти люди жили спокойно во всех уголках Европы, пока не пришла буря и не затопила мир морем их крови.

Почему ты, милая Луна, не смотришь вниз, на обезлюдивший мир, и не замечаешь, как пустеют дома, как гаснут свечи, как у людей отнимают жизни? Почему не спрашиваешь себя, куда, куда исчезли миллионы беспокойных жизней, трепещущих миров, тоскующих взглядов, радостных сердец, поющих душ, — куда?

Почему ты не чувствуешь, Луна, пронзительного горя, которым охвачен весь мир? Разве ты не замечаешь, что в общем восхваляющем тебя хоре так не хватает юных голосов, полнокровных людей, которые могли бы воспевать тебя так искренне и радостно?

Почему ты и сегодня сияешь так же величественно и волшеб-но? Тебе бы облачиться в траурные тучи и никому на земле не дарить своих лучей. Тебе бы скорбеть вместе с жертвами, бежать со света, затеряться в небесной выси и не показываться больше никогда проклятому людскому роду. И пусть станет навеки темно. Пусть весь мир непрестанно скорбит — как и мой народ обречен теперь вечно скорбеть.

Этот мир недостойн тебя, недостойно и человечество наслаждаться твоим светом! Не освещай больше мир, где творится столько жестокости и варварства — без вины, без причины! Пусть больше не увидят твоих лучей эти люди, превратившиеся в диких убийц и зверей, — не свети им больше!

И тем, кто сидит спокойно, потому что эти изверги еще не смогли до них добраться, и видят еще чудесные сны в твоих сияющих лучах, мечтают о любви, пьяны от счастья — и им не свети! Пусть их радость навсегда исчезнет — раз они не захотели слышать наши стенания, наш плач, когда мы в смертельном ужасе пытались сопротивляться нашим убийцам, — а они спокойно и беззаботно сидели и упивались тобой, черпали в тебе счастье и радость.

Луна, собери воедино весь свой свет и явись в своем волшебном величии. И остановись так навсегда — в своей чарующей преле-сти. А потом оденься в черные одежды для прогулки по этому горизонту, полному горестей, и в скорбь, в траур облеку неба и звезды — пусть все твое царство исполнится горя. Пусть черные тучи затянут небо. И пусть только один луч упадет на землю — для них, для жертв, для жертв из моего народа — ведь они тебя любили до последнего вздоха и не могли с тобой расстаться даже на краю могилы, посылали тебе последний привет, уже сходя в

землю, погружаясь в пучину — и даже оттуда обращались к тебе — в последней песне, в последнем звуке жизни.

Явись, Луна, останься здесь, я тебе покажу могилу — могилу моего народа. Ее и освети — одним лучом. Видишь, чтобы посмотреть на тебя, я выглядываю из своего зарешеченного ада. Я нахожусь в сердце, в самой сердцевине этого ада, в котором гибнет мой народ.

Слушай, Луна, я открою тебе один секрет. Не о любви, не о счастье я тебе расскажу. Видишь, я здесь один — одинокий, несчастный, разбитый, но еще живой. Сейчас ты — моя единственная подруга, тебе, тебе одной я сейчас открою сердце и обо всем — обо всем тебе расскажу. И тогда ты поймешь мое огромное, мое безграничное горе.

Слушай, Луна: один народ — народ высокой культуры, народ сильный и могущественный — продался Дьяволу и принес мой народ ему в жертву — во имя и во славу своего нового божества. Они, его культурные рабы, ставшие дикими разбойниками, согнали сюда моих братьев и сестер со всего света, отовсюду — на закланье Дьяволу. Видишь это большое здание? Не один такой храм для своего божества построили они! Кровавые жертвы они ему приносят — чтобы утолить его голод, его жажду нашим мясом и нашей кровью.

Миллионы уже принесены ему в жертву: женщины, дети, отцы, матери, сестры, братья, стар и млад, мужчины и женщины, все скопом — всех он поглощает, не останавливается и всегда готов к новым жертвам — из моего народа. Отовсюду ему привозят их — тысячами, сотнями, иногда поодиночке. Видно, дорога ему еврейская кровь: даже одного человека издалека — и того специально привозят сюда, потому что он хочет, чтобы ни одного еврея не осталось на свете.

Луна, милая Луна, взгляни своим светлым взором на эту проклятую землю, посмотри, как они суетятся — эти дикие безумцы, рабы Дьявола, варвары — и рыщут, ищут в домах и на улицах: не удастся ли найти еще хоть одну жертву? Посмотри, как они бегут по полям и лесам, как назначают вознаграждение другим народам — чтобы те помогли им искать все новые и новые жертвы: ведь тех, что есть, им уже мало, слишком многих поглотило их божество, и теперь оно страждет от голода и безумства и с дрожью нетерпения ждет новой крови, новых жертв.

Посмотри, как бегут они в кабинеты правительств, как уговаривают дипломатов из других стран, чтобы и те последовали их «культурному» примеру и принесли в жертву беззащитных людей — в дар ему, их всемогущему божеству, которое жаждет новой крови.

Послушай, как стучат колеса, посмотри, как мчатся поезда — они привозят сюда жертв со всей Европы. Видишь, как их выгоняют из поездов, сажают в машины и везут — нет, не на работы, а в крематории?

Слышишь ты этот шум, этот стон, этот вопль? Это привезли сюда жертв, у которых уже не было выбора — и они дали себя поймать, хотя и знали наверняка, что пути назад уже не будет. Посмотри на них — на матерей с маленькими детьми, с младенцами, которых они прижимают к груди, — они с ужасом оглядываются, смотрят на то страшное здание, и глаза их становятся безумными, когда они видят этот огонь и чувствуют этот запах. Они чувствуют, что настал их последний час, приходят последние минуты их жизни — а они одиноки, они здесь одни, их разлучили с мужьями еще там, у поезда.

Ты видела, Луна, застывшие слезы, которые тогда показались в твоих лучах? И последний взгляд, которым они на тебя посмотрели? Ты слышала их последние приветы, последние песни, которые они еще пели тебе?

Слышишь, Луна, как тихо стало на площади? Дьявол уже схватил их, и они стоят все вместе, обнаженные — так хочет он, ему потребны именно нагие жертвы, — они идут, уже построенные в шеренги, целыми семьями, — сходят в общую могилу.

Луна, ты слышишь эти жалобные вопли, эти страшные крики? Это кричат жертвы в ожидании смерти. Подойди, Луна, взгляни, блесни лучами на эту мрачную землю — и ты увидишь: из четырех барачных — глаз земли — тысячи жертв смотрят в небо, на мерцающие звезды, в светлый мир — и с ужасом ждут своей последней минуты.

Взгляни, Луна: вот идут двое — это рабы Дьявола, они несут смерть миллионам. Они приближаются «невинными»[171] смертоносными шагами к этим людям, смотрящим на тебя, и сыплют кристаллы смертоносного газа — это последнее послание мира, последний подарок Дьявола. И вот люди уже лежат, застыв. А Дьявол уже поглотил их и — на какое-то время — насытился.

Видишь, Луна, это пламя, что вырывается из высоких труб к небесам? Это сторают они, дети моего народа, которые еще несколько часов назад были живы, а сейчас — через несколько минут — о них и памяти не останется. Видишь, Луна, этот большой барак? Это могила, могила моего народа.

Видишь, Луна, эти деревянные проемы, эти бараки, из которых дико выглядывают испуганные глаза? Это жертвы, которые стоят рядами и ждут. Вот уже пришел их последний час. Они смотрят на тебя — и на пламя: а вдруг их не сожгут завтра, как сожгли сегодня их сестер и братьев, матерей и отцов, и их жизнь в этом

бараке продлится еще хоть немного?

Подойди сюда, Луна, останься здесь навсегда. Отсиди траур по моему народу у его могилы[172], и хоть ты пролей по нему слезу: ибо не осталось уже никого, кто бы мог его оплакать. Ты одна свидетель истребления моего народа, гибели моего мира!

Пусть один твой луч, твой печальный свет вечно освещает его могилу. Он и будет гореть вместо свечи на его йорцайте[173] — и ты одна сможешь его зажечь!

2. ЧЕШСКИЙ ТРАНСПОРТ[174]

Вступление

СБП[175]

Дорогой читатель, я пишу эти слова в минуты глубочайшего отчаяния, я не знаю, смогу ли сам прочитать эти строки еще раз — после «бури»[176]. Может быть, мне представится еще счастливая возможность открыть миру секрет, который я ношу в сердце? Вдруг еще случится увидеть свободного человека и поговорить с ним? Возможно, именно эти строки, что я сейчас пишу, будут единственным свидетельством моего существования. Но я буду счастлив, если мои записи дойдут к тебе, о свободный гражданин мира. Может быть, искра моего внутреннего пламени вспыхнет в тебе — и ты исполнишь нашу волю и, хотя бы отчасти, отомстишь нашим убийцам!

Дорогой друг, нашедший эти записи!

Я прошу тебя — в этом и заключается смысл моих записок — прошу, чтобы моя жизнь — пусть сам я и обречен — обрела цель, а мои дни в аду, мое безнадежное завтра — смысл для будущего.

Я передаю тебе только часть, только самую малость того, что происходило в аду под названием Биркенау-Аушвиц. Ты сможешь представить себе, как выглядела наша действительность — я много уже написал об этом. Я верю, что вы найдете все следы и составите представление о том, что здесь происходило — как гибли дети нашего народа.

Обращаюсь к тебе, дорогой находчик и публикатор этих записок, с особой просьбой: по данным, которые я прилагаю, определи, кто я такой, и попроси у моих родственников снимки, на которых моя семья и я с женой, и опубликуй некоторые из них — но твоему усмотрению — в книге с моими записями. Мне хотелось бы сохранить их милые, дорогие имена, над которым я не могу сейчас даже проронить слезу: ведь я живу в аду, и вокруг меня смерть, — а я не могу даже как следует оплакать мою страшную потерю. Да и сам я уже приговорен к смерти — так разве может мертвец плакать по мертвецу? Но тебя, о незнакомый свободный гражданин мира, тебя прошу я: поплачь по моим близ-

ким, когда будешь смотреть на их фотографии. Им я посвящаю все мои рукописи — это мои слезы, мои тяжелые вздохи, моя скорбь по моей семье, по моему народу.

Хочу назвать имена моих близких, которых уже нет:

Моя мать — Сорэ

Моя сестра — Либ

Моя сестра — Эстер-Рохл.

Моя жена — Соня (Сорэ)

Мой тесть — Рефоэл

Мой шури́н — Волф

Они погибли 8 декабря 1942 года в газовой камере, их тела сожжены.

Мне передали весть о моем отце Шмуэле: они схватили его осенью 1942-го, на Йонкипер — а что было дальше, неизвестно. Двоих братьев — Эйвера и Мойшла — схватили в Литве, сестру Фейгеле — в Отвоцке. Это все о моих родных.

Вряд ли кто-нибудь из них еще жив. Прошу тебя — это мое последнее желание: подпиши под нашей фотографией день их смерти.

Что будет со мной дальше, уже подсказывают обстоятельства. Знаю, что все ближе тот день, в ожидании которого дрожит мое сердце и трепещет душа. Не из жажды жизни — хотя жить хочется, ведь жизнь дразнит и манит, — нет: мне в жизни осталось только одно дело, которое не дает мне покоя и заставляет меня действовать: я хочу жить, чтобы отомстить! И чтобы не забылись имена моих близких.

У меня есть друзья в Америке и в Палестине. Из их адресов я помню только один — его и даю тебе. По нему ты сможешь узнать, кто я и кто мои родные. Вот он — адрес одного из моих дядьев в Америке:

A. Joffe

27. East Broadway, N.Y.

America

Всему, что здесь описано, я сам, сам был свидетелем в течение шестнадцати месяцев работы в зондеркоммандо. Всю накопившуюся скорбь, всю свою боль, все душераздирающие страдания из-за этих «обстоятельств» я не мог выразить иначе, кроме как в этих записях.

З. Г.

Ночь

Глубокое синее небо, украшенное мерцающими бриллиантовыми звездами, раскинулось над миром. Луна, спокойная, беззаботная и довольная, отправилась совершить свой величествен-

ный променад, чтобы посмотреть, как поживает ее царство — ночной мир. Ее источники открылись, чтобы напитать людей любовью, счастьем и радостью.

Люди сидели спокойно, без оград и замков, — люди, которых еще не растоптали сапоги этих преступников, люди, не видевшие еще этих дикарей в лицо, — они спокойно сидели дома и смотрели из окон своих сумрачных комнат на ее величие, на ее чары, на волшебную ночь — и предавались сладким грезам о своем будущем счастье.

И вот они гуляют — на улицах, в садах, беззаботные, довольные, они смотрят мечтательным взглядом на небо — и ласково улыбаются Луне: она уже опьянила, околдовала их сердца и души.

Вот сидят юноши на скамейках в тени дальних аллей. [...] И поверяют ей, Луне-подруге, свою тайну: они влюбились! Ее свет ярко блестит в их глазах, слеза влюбленного сердца падает юноше на грудь: его сердце переполняется любовью, а слеза эта — слеза радости!

И вот плывут они по морю любви, погруженные в мечтания и грезы, и тихие волны несут их к новым волшебным мирам, а они поют песни о любви, играют сладостные мелодии. И эти песни, полные радости и гармонии, возносятся к небесам. Это люди поют гимн ее величеству — царице ночи, благодарят ее за любовь и счастье, которыми она наделила мир.

Вот так выглядела та ночь — ужасная, жестокая ночь накануне праздника Пурим[177] в 1944 году[178], когда убийцы привели на заклатие пять тысяч таких же юных и прекрасных, как и те влюбленные: они принесли в жертву своему богу чешских евреев.

Убийцы хорошо продумали это торжество, все приготовления были сделаны еще за несколько дней. И казалось, что и Луну со звездами на небесах заодно с Дьяволом они взяли себе в сообщники. И вот они вырядились, чтобы их «идеальный» праздник выглядел богато и импозантно.

И они превратили наш Пурим в Девятое ава!..[179]

Казалось, что на свете теперь двое небес — для всех народов одни, а для нас — другие. Для всех остальных звезды на небе мерцают, сияют любовью и красотой, а для нас, евреев, звезды на том же самом небе — синем, глубоком — гаснут и падают на землю.

И Луна тоже не одна — их две. Для всех народов Луна — милая, мягкая, она нежно улыбается миру и слушает напевы любви и счастья. А для нашего народа Луна — жестокая, неумолимая: она равнодушно застыла в небе, слыша плач и стенания наших сердец, сердец миллионов, которые из последних сил сопротивляются-

ся неизбежной уже смерти.

Настроение в лагере

В лагере всех евреев охватила безутешная тоска. Все подавлены и измучены. Все — в нетерпеливом ожидании.

Несколько дней назад мы узнали, что к нам собираются привезти их — и вот уже три дня подряд горят печи, готовые принять новые жертвы. Но казнь откладывалась со дня на день — очевидно, что-то не получалось. Кто знает, какие последствия это может иметь. Может быть, это сопротивление, взрывная сила, пороховая бочка, динамит, который уже давно ждет взрыва? На это мы надеялись, так мы предполагали. Ведь они из лагеря, чешские евреи. Они уже семь месяцев[180] живут здесь — в этом проклятом, ужаснейшем месте на свете. Они уже все здесь знают и все понимают. Они каждый день видят этот огромный столб черного дыма с пламенем, который все время вырывается из подземного ада — и уносит к небесам сотни жизней.

Они знают, им не надо рассказывать, что это место специально создано для того, чтобы истреблять наш народ — убивать газом, расстреливать, резать или мучить, выдавливать из жертв кровь и мозг тяжелой работой и побоями, пока они не свалятся без сил прямо в грязь, — и их изможденные тела так и останутся там лежать. Но чешские евреи верили и надеялись, что их минет эта судьба, потому что их пытаются защитить словацкие[181] власти.

И действительно, это был первый случай, когда целые транспорты с евреями не отправили в печь тут же, а поселили в лагере целыми семьями. Это было для них большим утешением, знаком, что «власть» их выделила, защитила от действия общего для всех евреев закона — и их не ждет теперь та же судьба, которая постигла евреев всего мира: их не принесут эти убийцы в жертву своему богу. И потому они, несчастные и наивные жертвы, ничего не знали, ничего не понимали, не старались разгадать замысел этих подлых садистов и преступников — сохранить им жизнь до поры до времени, отсрочить их казнь — и все ради какой-то великой дьявольской цели. Их обманули, позволив им еще пожить. А когда цель обмана была достигнута, их жизнь перестала быть кому бы то ни было здесь нужна, и теперь они — как и все остальные евреи, чье единственное предназначение здесь — быть убитыми.

Но вдруг их оповестили, что они «высылаются» из лагеря. Страх, испуг, дурные предчувствия овладели ими: интуиция подсказывала, что ничего хорошего их не ждет, — но верить в это они не хотели. Лишь в последний день своей жизни узнали они, что их не переводят на работу в другой лагерь, а ведут на смерть.

В лагере напряжение, хотя это уже далеко не первый случай, когда забирают сразу тысячи людей, которые наверняка уже знают, что их ведут на смерть. Но сегодня случай особый: эти люди приехали сюда целыми семьями, живут вместе и надеются, что их освободят, — ведь уже семь месяцев они здесь живут, — и что они смогут вернуться к своим братьям, которые остались в Словакии[182]. Все сострадают им сейчас, всем жаль эти юные жизни, этих людей, которые сидят взаперти в темных холодных бараках, как в клетках, а двери заколочены досками.

Семьи уже разделены: рыдающих женщин ведут в один барак, убитых горем мужчин — в другой, а подросших детей — в третий, они сидят там, тоскуют без родителей и плачут.

Все в отчаянии ходят по лагерю, невольно смотрят в ту сторону, в тот угол, где за проволокой, за забором переполненные бараки, в которых тысячи людей, тысячи миров, — и вот наступает их последняя ночь. Они сидят там, несчастные жертвы, оглушенные болью и муками, и с ужасом ждут, что произойдет. Они знают, они чувствуют, что близок их последний час. Сквозь щели в барачных стенах проникают лунные лучи — Луна освещает обреченных на смерть.

Сердца и души измучены, они болят и кровоточат. Ах, как бы эти люди хотели быть вместе — мужчины с женщинами, родители с детьми — хотя бы в последние часы! Как хотели бы они обнять и поцеловать друг друга, излить сердце в плаче и крике! Родители были бы счастливейшими людьми, если бы им позволили хотя бы прижать своих детей к сердцу, поцеловать их — сильно и нежно, оплакать это горе, оплакать своих детей, которые еще так молоды и полны жизненных сил, которые без вины, без причины — только за то, что они родились евреями, — должны сейчас умереть.

Как бы они хотели оплакать свое несчастье, свою ужасную судьбу! Как бы они хотели вместе, целыми семьями скорбеть о своей гибели! Но даже этого последнего утешения — вместе отправиться в ужасный путь, быть вместе до последнего шага, не разлучаться до последнего вдоха, — даже этого подлые изверги им не позволили. Они сидят по отдельности, оторванные друг от друга, разлученные. Каждый погружен в глубокое отчаяние, каждый тонет в море мук и боли и сводит последние счета с жизнью.

Они плачут, стенают, содрогаются от боли. Эти раздумья разрушают все их естество.

А мир так прекрасен, так совершенен и волшебен... Сквозь щели в бараке выглядывают они, смотрят на него — на этот величественный чарующий мир — и вспоминают о том, какой прекрасной и счастливой была некогда их жизнь. Перед глазами у

них проходят все минувшие годы, которые теперь навсегда уже исчезли, и возникает ужасная действительность, окружающая их. Все подавлены и разбиты страданием в ожидании прихода страшной кончины.

Каждый проплывает заново по волнам своей жизни — от начала до конца.

Даже дети, совсем маленькие, которых не оторвали от матерей, тоже предчувствуют близкую гибель. Детская интуиция подсказывает им, что их ждут ужасные события. Всеобщая скорбь, тяжелое отчаяние глубоко проникло и в их детские сердца. Их пугают даже материнские поцелуи и ласки — со страданием пополам. Они прижимаются к сердцу матери и тихо плачут — чтобы не мешать глубокому материнскому горю.

Вот сидит совсем молодая девушка — ей нет еще шестнадцати лет. Перед ней проплывают ее детские годы — беззаботные, добрые. Она ходит в школу, хорошо учится. Каждый день, возвращаясь домой, она с радостью говорит маме; что получила «отлично», и мама ее целует. А вечером папа возвращается домой, закончив дела. Дочка и ему сообщает свою радостную новость — и папа берет ее на колени, нежно прижимает к сердцу и по-отечески целует ее лицо и глаза, дарит ей конфеты, играет с ней, как ребенок.

Она плывет дальше по волнам своих юных лет и пристает к другому берегу. Это был волшебный, счастливый вечер. Она с отличием закончила школу, и это отпраздновали — пригласили друзей и подруг, близких и знакомых. Все желают ей и им, ее любимым родителям, больших успехов и в жизни, и в учении, все целуют ее, все радуются, поют и танцуют. Она сегодня главная, она — виновница торжества. Она сияет, она горда своими успехами.

И вот она сидит за пианино, играет для себя, для гостей, все сидят спокойно и чуть напряженно, очарованные звуками, и сама она словно парит в небесах. Каждый новый звук — будто новое крыло, которое несет ее тело ввысь. И только она поднялась на самую большую высоту — пришла нежданно-негаданно беда. Посреди радости и праздника вдруг резко распахнулась дверь, появились эти подлые бандиты — и всем сказали, что надо собираться в дорогу: транспорт уже завтра утром увезет их. И вот она вспоминает весь этот кошмар: их забрали из дома, отвезли сюда, в лагерь уничтожения. Она провела здесь уже почти семь месяцев — и вот она одна: ни мамы, ни папы рядом нет. Одинокая, покинутая, она с ужасом ждет страшной смерти и горько оплакивает судьбу. Если бы рядом с ней были отец и мать, они бы расцеловались, были вместе — ах, как бы счастлива она была...

Вот так прядлась золотая нить — и ее перерезали посередине.

Вот сидит и скорбит еще одна девушка. Ей уже двадцать. Молодая и красивая, она пользовалась большим успехом: многие любили ее, обожали, боготворили. Она познакомилась с юношей, который отдал ей свое сердце — и она сама его полюбила. И оба они были счастливы. Она вспоминает тот волшебный вечер: они вместе гуляли по тенистым аллеям, оба молчали — хотя оба могли многое сказать друг другу, но будто не осмеливались. Потом они сидели на скамейке, а луна и звезды проливали свой волшебный свет на тот уголок, где они сидели. Влюбленный взор затуманился слезами — и вот, наконец, это произошло: он страстно обнял ее и открыл ей секрет: он в нее влюблен! Долгий и сладкий поцелуй соединил их пламенные уста. Их влюбленные сердца забились созвучно — осуществилась давняя их мечта.

И вдруг — с небесных высот они низвергнуты в глубочайшее подземелье. Они были на пороге величайшего счастья, все приготовления к свадьбе были уже сделаны — и тут пришла беда.

Их разлучили, оторвали от дома: ее отправили с транспортом, его оставили одного. Она получала от него весточки и посылки, они поддерживали связь, оба надеялись и верили, что счастье, о котором оба они мечтали, настанет в ближайшем будущем.

И вот — все пропало. Все мечты, все фантазии рассыпались, больше нет ни надежд, ни шансов.

Она чувствует, что нить вот-вот оборвется, она уже видит перед собой ту ужасную бездну, в которую канет без следа. А ведь жить так хочется: мир манит, мир очаровывает, она еще молода, здорова и красива, Ее жизнь была так прекрасна, так беззаботна... Она еще чувствует эту жизнь, она дышит еще пьянящим ароматом вчерашнего дня — но сегодня!.. Ах, как страшно, как ужасно! Она сидит, одинокая, загнанная в ловушку, и ждет смерти вместе с остальными несчастными.

Где теперь ее возлюбленный? Ах, если бы он был здесь с ней в минуты боли! Как она была бы счастлива, если бы могла ему открыть все муки своего сердца! Он обнял бы ее, крепко прижал бы к сердцу, и оба они оплакали бы свою гибель, вместе сошли бы в могилу. Но где он — и где она? Воспоминания тревожат ее, чувства бурлят все больше с каждой минутой. Она одиноко идет на смерть, а он, ее возлюбленный, ее радость и ее счастье — он остается один на свете. Для кого же, если она вот-вот покинет этот мир? Воспоминания сводят ее с ума, она надломлена — и все от этого непереносимого варварства. И вдруг она заходится в крике:

— Нет! Я не пойду одна, без тебя! Иди со мной, любимый! — и раздражается нервным смехом. Она раскрывает ему объятия в воздухе, потом сжимает руки и говорит самой себе, безумно и

довольно:

— Ах! Ты вернулся ко мне!

Два сердца плели золотую нить — и изверг безжалостно разорвал ее.

Вот сидит другая женщина в глубоком отчаянии, прижимая к груди ребенка. Она еще молода. Это первый ее ребенок, полный жизни и прелести. А она сидит и тоже вспоминает всю свою жизнь. В памяти проносятся прошедшие счастливые годы. Как давно это было! Она погружена в воспоминания, картинка прошлого стоит перед глазами, как наяву, и вокруг картинки — все события ее жизни. Нет, от воспоминаний ей не уйти.

Вот тот великий день, когда она вышла замуж. Все ее мечты осуществились: отныне она навсегда связана с любимым. Как счастлива она тогда была! Как идилию вспоминает она те волшебные годы: она делала первые шаги в новой жизни. Кажется, ее путь был усыпан разноцветными розами, она была опьянена ими и, счастливая и беззаботная, она шла по этому пути.

Она вспоминает и тот день, когда узнала тайну: под сердцем у нее завязалась новая жизнь, новое будущее, плод их любви — только сейчас она его ощутила. Это были незабываемые минуты, удержать бы подольше их напряжение! Она помнит, как стояла тогда напротив мужа и, стыдливо опустив глаза, тихо сказала ему, что станет матерью. Она до сих пор чувствует его объятия: он прижал ее к сердцу, покрыл поцелуями, прослезился...

А когда пришел тот долгожданный день, и ребенок — несчастный ребенок, которого сейчас она держит на руках, — появился на свет и послышался его первый крик — сколько счастья, сколько радости он принес! Им открылся новый источник жизни, они услышали новые напевы, которые наполнили их дом блаженством. Их родители, друзья, знакомые — все пришли разделить их радость. Все радовались, всем было хорошо, все желали им добра. А они были горды: он стал отцом, а она — матерью, в их жизни появился новый смысл, новая цель. Как счастлива она была, когда прижимала ребенка к груди, а муж целовал их обоих!

И вот — ворвалась буря, выхватила их из дома и загнала сюда...

Она сидит в одиночестве, с мужем их вчера разлучили, а она, убитая отчаянием, пришла сюда с ребенком и сидит среди живых мертвецов. Она боится оставаться одна. Она чувствует, что тонет вместе с другими жертвами в море смерти. И где он, ее возлюбленный? Может быть, он протянул бы ей руку помощи, спас бы ее?

Она чувствует, что их жизни уже не спасти. Она страстно целует ребенка, льются горькие слезы... Она знает, она чувствует, что вскоре пойдет на смерть вместе с бедным младенцем. Ей не

сидится на месте. Она в отчаянии, она рыдает, она готова разорвать свое тело на куски! Как страшно, как горько ей сейчас! Если бы ее дорогой муж был рядом с ней, насколько легче сносила бы она все страдания! Они бы разделили ужасную судьбу. Они вместе — он, она и ребенок — пошли бы в одной колонне. Но сейчас она осталась здесь одна. Она слишком слаба, она не может одна терпеть столько страданий и боли. Как она принесет в жертву своего первенца — самое дорогое, что есть у нее в жизни?

Она плачет, она жалуется на свое горе. Ребенок прильнул к ней, из его сердечка вырвался тихий стон, в его глазках застыли слезы. Мама с ребенком уже чувствуют: конец их близок.

Она сделала только первые шаги — счастливая еврейская мама из Чехии, — и вот врываются палачи, хватают ее, вырывают из счастливой жизни.

А вот сидит старая мать, состарившаяся не от возраста (ей нет и пятидесяти), а от страданий. Она горько оплакивает судьбу и думает уже не о своей жизни, а о детях, которых разлучили вчера: сына оторвали от его жены и ребенка, дочь осталась без мужа. И они сидят где-то, как она здесь, запертые в тюрьме, и ждут смерти.

Ах, если бы эти изверги разрешили ей умереть вместо ее детей, молодых и полных сил, — как счастлива бы она была! С радостью побежала бы она на смерть, зная, что ценой своей жизни сможет спасти сына или дочь.

Но кто услышит ее плач? Кто прислушается к ее крику, кому есть дело до ее боли? Все тонет в море страданий и мук тысяч матерей, стонающих о тех же несчастьях. А она не видит других матерей, которых вместе с детьми дьявол хочет заполучить себе в жертву.

Из всех женских бараков вырывается стон — это рыдают жертвы на пороге смерти, не в силах расстаться с жизнью: они еще молоды — и вот в расцвете сил их убивают. А жить так хочется, они рождены для жизни! За чьи же грехи расплачиваются они все теперь? Почему разверзлись эти бездны, как волчьи пасти, готовые их поглотить?!

Вот стоят бандиты в зеленой форме[183], которые безжалостно отбирают у них жизнь, бросают их в могилы.

Почему Луна так дразнит этих несчастных? Ее лучи, словно дьявольское наваждение, льются на них и как нарочно делают ночь еще красивее, наделяют волшебством и красотой.

Вот жизнь — прекрасная, величественная, и среди ее красоты — острый меч в руке палача, уже давно с нетерпением ждущего своих жертв.

...Дальше, за заколоченными женскими бараками — другие узилища. Там сидят взаперти мужчины. Их, как и женщин, скоро

принесут в жертву. Они сидят в глубоком горе, и воспоминания кошмаром проносятся перед ними. Они тоже подводят итоги своего существования. И хоть они знают и чувствуют, что конец уже близок, им хочется верить, что это не так: почти все они еще молоды, сильны и здоровы, могут работать. Убийцы уверяли, что пошлют их на работу, и им так хочется верить в эту иллюзию — что их заперли для того, чтобы сохранить им жизнь, а не для того, чтобы послать в те большие здания с высокими трубами, которые каждый день извергают дым тысячи сгорающих тел. Нет, им не грозит попасть туда!

У тех, кто мыслит трезво, кто понимает эти дьявольские козни и не верит ни одному бандитскому слову, зреет другая мысль: нет, просто так они свою жизнь не отдадут. Им, жертвам, придется побороться с дьявольскими прислужниками, но об этом не с кем говорить, потому что окружающие в большинстве своем охвачены совсем другими мыслями.

Молодые и крепкие мужчины сидят и думают о родителях, с которыми их разлучили. Сердце подсказывает им, что ничего хорошего их не ожидает. И они, их дети, здоровые, полные сил и энергии, хотели бы быть с ними, помочь им, разделить их боль. Мыслями, сердцем и душой они там, с родителями. Единственное их желание — помочь им, узнать что-то о них.

Вот сидит молодой человек, он низко наклонил голову, грустит и скорбит о своей подруге, с которой еще вчера был вместе, и в ушах звенят ее последние слова.

И вдруг их разлучили, не дав сказать друг другу ни слова на прощание. Его сердце переполнено страхом за ее судьбу, за ее будущее. Кто знает, увидит ли он ее еще когда-нибудь?

Ах, если бы сейчас он мог посмотреть на нее еще раз, сказать ей что-нибудь в утешение, как счастлив бы он был! Ах! Если бы он мог быть с ней, пойти вместе с ней в последний путь... Он чувствует, он видит, как ей больно, как она страдает, тоскует и ждет его.

Вот сидит в отчаянии молодой отец. Его жена и ребенок в другом бараке. Он может только сострадать своей любимой жене, с которой он был счастлив. Они были как одно тело, одно сердце, одна душа. Он видит и чувствует ее, он смотрит через десяток тюремных стен — и видит жену, безутешную в своем отчаянии, она держит ребенка, прижимает его к сердцу, горько плачет над ним. Он слышит, как она зовет его:

— Приходи, мой любимый муж, побудь, посиди со мной! Я не могу больше оставаться здесь одна. Посмотри, у меня на руках наш ребенок, наше счастье. Я не могу идти одна, у меня больше нет на это сил. Приходи ко мне, чтобы мы оба вместе с ребенком

сошли в могилу!

Он видит, что она не выдерживает тяжелого груза страданий, он сходит с ума, он не находит себе места, раскрывает ей свои объятия. Ему хочется убежать, прорваться к ней. И хотя спасти ее он не может, но как счастлив бы он был, если бы мог обнять безутешную жену, прижать ее к сердцу и расцеловать, взять дрожащими руками сына и целовать ему глазки, мягкие щечки, головку с золотыми локонами — так нежно и страстно... Как бы он был счастлив, если бы мог убежать отсюда вместе с женой и ребенком! Он бы взял на себя все страдания жены, подхватил бы сильными руками обоих — и убежал бы куда глаза глядят.

Мать сидит с ребенком, погруженная в пучину страданий, а в другой тюрьме — муж и отец, сердце его горит, он стремится — но никак «не может помочь».

Подлые бандиты хорошо продумали игру. Они нарочно разделили семьи, чтобы перед смертью дать жертвам настрадаться от новой беды.

Изо всех барачных доносятся крики и плач. В воздухе сливаются мольбы всех тысяч жертв, в ужасе ожидающих смерти. Но вдруг им показалось, что повеяло надеждой: сегодня для нашего несчастного народа — день большого чуда. Сегодня праздник Пурим, и для нас, пусть и на краю могилы, может случиться чудо!..

Но небеса по-прежнему спокойны. Их не тронул ни плач детей, ни стон родителей, ни возгласы молодых, ни крики старых. Луна застыла в немоте и спокойствии и вместе с убийцами переживает святой праздник, — а после этого пять тысяч невинных жертв будут принесены в жертву их божеству.

Изверги и преступники празднуют тот день, когда им удалось превратить наш Пурим в день Девятого ава.

«Власти» провели приготовления

Три дня назад, в понедельник 6 марта 1944 года, пришли эти трое. Лагерфюрер, хладнокровный убийца и бандит, обершарфюрер Шварцхубер[184], оберрапортфюрер обершарфюрер[185] [...] и наш обершарфюрер Фост[186], начальник над всеми четырьмя крематориями. Они втроем обошли всю территорию, прилегающую к крематориям, и выработали «стратегический» план: в день величайшего торжества они прикажут поставить здесь усиленные отряды охраны в полной боевой готовности.

Мы все ошеломлены: вот уже шестнадцать месяцев мы заняты на этой ужасающей «зондер»-работе, но на нашей памяти такие меры безопасности власть принимает впервые.

У нас перед глазами прошли уже сотни тысяч жизней — юных, сильных, полнокровных; не раз приезжали сюда транспорты с

русскими, с поляками, с цыганами — все эти люди знали, что их привели на смерть, и никто из них даже не пытался оказать сопротивление, вступить в борьбу — все шли как овцы на убой.

Исключений за нашу 16-месячную службу было только два. Один раз бесстрашный юноша, прибывший транспортом из Белостока, бросился на солдат с ножом, нескольких из них ранил и, убегая, был застрелен[187].

Второй случай — перед памятью этих людей я склоняю голову в глубочайшем почтении — произошел в варшавском транспорте. Это были евреи из Варшавы, которые получили американское гражданство, среди них даже были люди, родившиеся уже там, в Америке[188]. Их должны были выслать из немецкого лагеря для интернированных лиц в Швейцарию, под патронат Красного Креста, но «высококультурная» немецкая власть отправила американских граждан вместо Швейцарии — сюда, в печь крематория. И здесь произошла поистине героическая драма: одна молодая женщина, танцовщица из Варшавы, выхватила у обершарфюрера из «политуправления» Освенцима[189] револьвер и застрелила рапортфюрера — известного бандита унтершарфюрера Шиллингера[190]. Ее поступок вдохновил других смелых женщин, и они заплодировали, а после бросились — с бутылками и другими подобными вещами вместо оружия — на этих бешеных диких зверей — людей в эсэсовской форме.

Только в этих двух транспортах нашлись люди, которые оказали врагу сопротивление: они уже знали, что им больше нечего терять. Но остальные сотни тысяч — те осознанно шли на смерть, как скот на бойню. Вот почему сегодняшние приготовления так нас изумили. Мы поняли: до них дошли слухи, что чешские евреи, которые уже семь месяцев живут в лагере целыми семьями и знают не понаслышке, что здесь происходит, так просто не сдадутся, — и поэтому они мобилизуют все свои средства, чтобы подавить сопротивление людей, которые могут иметь «наглость» не пожелать идти на смерть и могут поднять восстание против своих «невиновных» палачей.

В понедельник в полдень к нам в блок прислали сказать, что нам надо отдохнуть, чтобы потом со свежими силами приняться за работу, и чтобы 140 человек — почти целый блок (это после того как разделили нашу команду из двухсот человек) — приготовились идти к транспорту, потому что сегодня целых два крематория — I и II[191] — будут работать в полную силу.

План был разработан до мельчайших деталей. И мы, несчастнейшие из жертв, оказались вовлечены в борьбу против наших же братьев и сестер. Мы вынуждены быть первой линией обороны, на которую, наверное, набросятся жертвы, — а они, «герои и

борцы за великую власть», будут стоять за нашими спинами — с пулеметами, гранатами и винтовками — и из укрытия стрелять в обреченных.

Прошел день, прошли второй и третий. Наступила среда — окончательный срок, когда их должны были привезти. Их прибытие откладывалось по ряду причин. Во-первых, кроме «стратегической» подготовки, потребовались и моральные приготовления. Во вторых, эта «власть» стремится приурочить резню к еврейским праздникам — поэтому нынешние жертвы должны быть убиты в ночь со среды на четверг — в еврейский Пурим, Последние три дня «власть» — холодные убийцы и садисты, циничные и кроваважидные — делает все возможное, чтобы обмануть евреев, сбить их с толку, спрятать от них свое варварское лицо, — чтобы жертвы ничего не поняли, не разгадали черных мыслей этих «культурных людей» — представителей варварской власти с улыбкой на лице.

И вот обман начался.

Первая версия, которую они распространили, заключалась в том, что пять тысяч чешских евреев будут отправлены на работу во второй «рабочий» лагерь[192]. Кандидаты — мужчины и женщины моложе сорока лет — должны были заявить о себе лично, сообщить о своей профессии. А остальные — пожилые люди обоих полов и женщины с маленькими детьми — останутся вместе, разделять семьи никто не будет. Это были первые капли опиума, которые опьянили испуганную толпу, отвлекли внимание людей от страшной действительности.

Вторая ложь состояла в том, что людям велели взять с собой все имущество, которое у них было. «Власть» со своей стороны обещала всем, кто уезжает, двойную пайку.

И еще одну жестокую, сатанинскую ложь задумали они: распространили слух, что до 30 марта никакая корреспонденция в Чехословакию отправляться не будет[193], а те, кто хочет получить посылки, должны, как и раньше, за несколько недель написать своим друзьям письмо (с датой до 30 марта[194]) — и передать его лагерной администрации: письмо будет отправлено, адресаты получают посылки, как получали и раньше. Никто из евреев не забил тревогу, никто и представить себе не мог, что эта «власть» решилась и на такую подлость, на такую гнусность в борьбе... против кого? Против толпы беззащитных, безоружных людей, которые могут бороться разве что голыми руками и чья сила заключается разве что в их воле.

Вся эта хорошо продуманная ложь была лучшим средством усыпить, парализовать внимание реально мыслящих людей, которые прекрасно понимали, что происходит. Все — люди обоих

полов и всех возрастов — попались в эту ловушку, все жили иллюзией, что их действительно переводят на работу, и только когда преступники почувствовали, что их «хлороформ» подействовал, они приступили к осуществлению операции по уничтожению.

Они разорвали семьи, разделили женщин и мужчин, старых и молодых, загнали в ловушку — в еще пустовавший лагерь, находившийся рядом. Их обманули, несчастных и наивных, заперли в холодных деревянных бараках — каждую группу отдельно — и заколотили двери досками. Итак, первая акция удалась. Несчастные пришли в отчаяние, в ужас, но логически мыслить они уже не могли. Даже когда они поняли, для чего их заперли — для отправки на смерть, — даже тогда они вели себя так же покорно и безропотно. У них уже не было сил для того, чтобы думать о борьбе и сопротивлении, потому что у каждого, даже если его мозг был уже уничтожен этим опиумом, этой иллюзией, теперь появились новые заботы.

Молодые, полные сил юноши и девушки думали о своих родителях — кто знает, что с ними происходит? Молодые мужья, когда-то полные сил и мужества, сидели, окаменев от горя, и думали о своих женах и детях, с которыми их разлучили сегодня утром. Любая мысль о восстании меркла перед глубоким личным горем. Каждый был охвачен тревогой и болью за свою семью, это оглушало, парализовало мышление, не давало подумать об общей ситуации, в которой все мы находились. И теперь все эти люди — когда-то, на свободе[195], юные, энергичные и готовые к борьбе — сидели в оцепенении, в отчаянии, раздавленные и разбитые.

Пять тысяч жертв шагнули, не сопротивляясь, на первую ступеньку лестницы, ведущей в могилу.

Ложь, давно применяющаяся в их дьявольской практике, снова увенчалась успехом.

Выводят на смерть

В среду 8 марта 1944 года, в ночь накануне праздника Пурим, в тех странах, где еще могут жить евреи, все шло своим чередом: верующие шли в синагоги, все праздновали этот великий праздник, напоминающий о чуде, случившемся с нашим народом, и желали друг другу, чтобы как можно скорее закончилась война с новым Аманом[196].

А в это время в лагере Аушвиц-Биркенау 140 членов «зондеркоммандо» идут, — но не в синагогу, не праздновать Пурим и не вспоминать о великом чуде.

Они идут, опустив головы, как в глубоком трауре. Их горе передается и всем остальным евреям лагеря: ведь дорога, которой они

идут, ведет в крематорий, в этот еврейский ад. Вместо еврейского праздника, символизирующего победу жизни над смертью, они будут участвовать в торжестве варваров, которые приводят в исполнение приговор многовековой давности, недавно обновленный их божеством и теперь вновь вступивший в силу.

Скоро мы будем свидетелями этого страшного праздника. Мы должны будем своими глазами увидеть нашу гибель: мы увидим, как пять тысяч человек, пять тысяч евреев, пять тысяч полнокровных и полных жизненных сил людей — женщин, детей и мужчин, старых и молодых, — по принуждению этих проклятых извергов, вооруженных ружьями, гранатами и пулеметами, которые гонят, грозят натравить свирепых собак, бьют, — как пять тысяч человек, оглушенные, не осознавая, что делают, пойдут, побегут в объятия смерти. А мы — их братья — должны будем помочь варварам осуществить все это: вытащить несчастных из машин, конвоировать их в бункер, заставить раздеться догола и загнать их, уже полуживых, в смертоносную камеру.

Когда мы пришли к первому крематорию, они — представители власти — уже давно были там и ждали начала операции. Множество эсэсовцев в полной боеготовности, у каждого — винтовка, полный патронташ, гранаты. Эти до зубов вооруженные солдаты окружили крематорий, заняли стратегически важные позиции. Повсюду стояли машины с прожекторами — чтобы полностью освещать обширное поле боя. Еще одна машина — с боеприпасами — стояла поодаль, приготовленная на случай, если жертвы попытаются оказать сопротивление своему врагу — гораздо более сильному.

Ах! Если бы ты, свободный человек, мог видеть эту сцену, ты бы остановился в оцепенении. Ты бы мог подумать, что в этом большом здании с высокими печными трубами сидят вооруженные до зубов люди-великаны, которые могут сражаться, как черти, уничтожать могущественные армии и целые миры. Ты бы подумал, что эти великие герои, которые борются за мировое владычество, готовятся к схватке с противником, который хочет захватить их землю, поработить их народ и разграбить их добро.

Но если бы ты подождал немного и увидел, кто же этот страшный враг, против которого они собираются обратить свою мощь, то был бы разочарован. Знаешь, с кем они готовятся вступить в борьбу? С нами, с народом Израиля. Скоро здесь будут еврейские матери: прижимая младенцев к груди, ведя за руки старших детей, они будут испуганно смотреть на эти трубы. Юные девушки, прыгнув на землю из грузовиков, будут ждать — кто мать, кто сестру, — чтобы вместе пойти напрямиком в бункер. Мужчины — молодые и старые, отцы и сыновья, — будут ждать, когда их пого-

нят на смерть в другой подвал.

Вот он — их грозный враг, с которым эти изверги готовы бороться. Они боятся, что кто-нибудь из тысяч жертв не захочет безропотно пойти на смерть, а совершит подвиг в последние минуты своей жизни. Этого неизвестного героя они боятся так, что для защиты от него они взяли в руки оружие.

Все уже подготовлено. 70 человек из нашей команды тоже расставлены на территории крематория. А за оградой стоят они — и ждут своих жертв.

Машины, мотоциклы проносятся перед нами. То тут, то там освещаются, все ли готово. В лагере воцарилась полная тишина. Все живое должно исчезнуть, спрятаться в бараках. В тишине ночи слышится новый звук — это маршируют вооруженные солдаты в касках, как если бы они шли сражаться. Это первый случай, чтобы в лагере ночью, когда все спят или тихо лежат за колючей проволокой и заборами, появились войска. Итак, в лагере объявлено военное положение.

Все живое должно застыть и сидеть в своей клетке, не шелохнувшись, хотя все знают и уже не раз — постоянно в последнее время — видели, как гонят на смерть все новых и новых жертв. Но сегодня они сделали все для всеобщего устрашения. Только небу, звездам и луне Дьявол сегодня не может закрыть глаза. Они и будут свидетелями того, что он здесь творит нынешней ночью.

В таинственной тишине ночи раздается шум машин. Это палачи отправились в лагерь за своими жертвами. Воют свирепые псы — они готовы броситься на несчастных. Слышны крики пьяных солдат и офицеров, которые стоят наготове.

Прибыли «хефтлинги» — заключенные немцы и поляки, которые добровольно предложили свою помощь по случаю «праздника». И вот они все вместе, банда убийц, исчадия ада, отправились хватать несчастных, загонять их на грузовики и посылать на смерть.

Жертвы сидят взаперти, их сердца бешено колотятся от ужаса. Они сидят в напряжении, им слышно все, что происходит. Через щели в бараках они видят убийц, которые вот-вот лишат их жизни. Они уже знают, что им недолго осталось, что даже в мрачном бараке, откуда они теперь не вышли бы сами, им не дадут остаться. Их вытащат и погонят куда-то — на верную смерть.

Во мгновение ока толпу, пришедшую в отчаяние, охватил безумный страх. Все напряженно застыли и окаменели. Слышны приближающиеся шаги, сердце рвется из груди от страха. Вот отрывают доски, которыми были заколочены двери первого барака, — несчастным и эти доски казались какой-никакой защитой, ведь пока вход в барак забит, люди в нем еще отгорожены от

смерти, и где-то в глубине души они еще надеялись, что смогут остаться взаперти навсегда — пока их не освободят.

Двери распахнулись. Узники стоят в оцепенении и с ужасом смотрят на палачей. Потом они начинают инстинктивно пятиться в глубь барака — словно от призрака. Как бы они хотели убежать куда-нибудь, где бы убийцы не нашли их!

Они в ужасе смотрели на людей, которые пришли их убивать. Но молчание было нарушено: бешеные псы с воем бросились на жертв, изверги стали избивать несчастных палками. Обреченная толпа — масса, слившаяся воедино, — подалась и распалась на группы по несколько человек. Сломленные, пришедшие в отчаяние люди сами побежали к машинам, спасаясь от побоев и укусов собак. Матери с детьми на руках падали, на проклятую землю пролилась кровь невинных младенцев.

И вот жертвы стоят в кузовах грузовиков и оглядываются, ища чего-то, как будто они что-то потеряли. Молодой женщине кажется, что вот-вот придет к ней ее любимый муж, мать ищет своего молодого сына, влюбленная девушка разглядывает машины: вдруг на одной из них она увидит своего возлюбленного...

Они оглядываются — и видят прекрасный мир, звездное небо и Луну, величаво путешествующую во мгле. Они всматриваются в свой пустой барак. Ах! Если бы им позволили вернуться туда! Они знают, они чувствуют, что машина — как почва, которая уходит из-под ног: недолго им осталось ехать. Их взгляд устремлен туда, за проволоку, они смотрят на лагерь, в котором были еще вчера. Там стоят чешские семьи и смотрят через щели на своих братьев и сестер, которых куда-то увозят. Их взгляды встречаются, сердца бьются созвучно — в ужасе и страхе. В ночной тишине слышны слова прощания: братья и сестры, друзья и знакомые — те, кто еще остался в лагере и ждет своего часа, кричат их тем, кто уже стоит в кузове и скоро пойдет на смерть, — своим братьям и сестрам, отцам и матерям.

Вот и вторая акция удалась Дьяволу: он заставил несчастных спуститься по лестнице, ведущей в могилу, еще на одну ступеньку.

Они в пути

И вот они едут. Все по-прежнему в напряжении. Убийцы раздают последние распоряжения. Наш взгляд обращен туда, в ту сторону, откуда доносится шум приближающихся машин. Мы слышим уже хорошо знакомые нам звуки: это едут мотоциклы. Мчатся машины. Все уже ждут жертв. Издалека мы различаем свет фар: машины приближаются к нам.

Они едут. Мы издалека уже видим то, что осталось от живых людей, — одни тени. Мы слышим их тихий плач и стоны, которые вырываются из их груди.

Несчастные поняли, что их везут на смерть. Последняя надежда, последний луч, последняя искра — все меркнет. Они оглядываются, весь мир проносится теперь перед ними, как в кино. Их взгляд дико блуждает, как будто они хотят вобрать в себя все, что видят.

Где-то вдалеке их дом. Горы с белыми вершинами, на которые они смотрели из-за лагерного забора каждый день, напоминали им о родине. Ах! Любимые горы... Вы беззаботно спите, озаренные лунным светом, а мы, ваши дети, чья жизнь связана с вами неразрывно, должны сегодня умереть. Скольким нашим золотым дням, скольким радостям, скольким золотым страницам нашей жизни вы были свидетелями! Сколько любви, сколько нежности мы разделили с вами! Сколько ночей мы провели в ваших объятиях, припадая к вашим родникам, которые вечно будут бить из земли — но для кого теперь? Нас разлучают с вами навсегда. А там, вдали, за вами, — наш опустевший дом, в который хозяева не вернуться никогда.

Ах! Родной дом, даривший им свою любовь и тепло, зовет их, своих детей, к себе.

Куда их везут? Мир так прекрасен, он манит своей красотой, он влечет к себе, пробуждает к жизни — и так хочется жить! Тысячью нитей привязаны они к этому миру — огромному, великолепному. Мир простирает к ним свои объятия. В ночной тишине слышен его отеческий зов: дети мои, идите ко мне, любовь моя сильна! Места хватит всем, для вас мои недра хранят свои сокровища. Мои ключи бьют всегда, готовые напитать всех, — угодных и не угодных власти. Для вас и ради вас я был когда-то сотворен.

А они, дети, рвутся к нему — к своему любимому миру, не могут расстаться с ним: ведь все они молоды, здоровы и полны сил. Они жаждут жить, они рождены для жизни.

Они, пока еще полные сил, хватаются за этот мир — как ребенок не отпускает от себя мать, крепко держатся за него руками — а этот мир у них жестоко отнимают. Их хотят — без вины, без причины, со звериной злобой — отлучить, оторвать от этого мира.

Если бы они могли обнять весь этот мир, небеса, звезды и луну, снежные горы, холодную землю, деревья, травы, все, что только есть на земле, и крепко прижать к груди — как счастливы бы они были!

Если бы они могли сейчас, эти дети, эти несчастные жертвы, растянуться на этой остывшей земле, согреть ее жаром своего

сердца, тронуть ее затвердевший хребет своими слезами — такими горячими, расцеловать весь этот большой прекрасный мир!

Ах, если бы они могли сейчас напитать свои сердца этим миром, этой жизнью, чтобы навсегда утолить тоску, голод и жажду. Ах, если бы они, эти дети-тени, несчастнейшие из несчастнейших, которые сидят сейчас в бараках или стоят в очереди на казнь, могли сейчас обнять эту землю — как хорошо, как хорошо стало бы им! Сейчас, в эти последние минуты, пока они еще живы, они жаждут обнять, приласкать, расцеловать все сущее на земле.

Они чувствуют, они уже поняли, что машины, которые их быстро увозят куда-то, все эти таксомоторы[197] и мотоциклы, которые едут с двух сторон от них, — слуги дьявола, которые мчатся, рыча и гремя, чтобы привезти добычу своему божеству.

И вот их провозят мимо мира, мимо жизни — ведь дорога к смерти проходит через жизнь. Они чувствуют, что настают их последние мгновения, что киноплёнка скоро закончится, они оглядываются в беспокойстве, смотрят во все углы. Они ищут на этом свете что-то, что можно бы было забрать с собой по пути на смерть.

Может быть, кто-нибудь из них сейчас думает, — мысль молнией сверкнула в голове, — куда бы убежать от смерти, смотрит по сторонам, ищет спасительную лазейку...

Шум усиливается, прожекторы освещают огромное здание, в подвале которого ад.

Они здесь

И вот они прибыли, несчастные жертвы. Машины остановились — и сердца застыли. Жертвы, испуганные, беспомощные, покорные, доведенные до отчаяния, оглядываются по сторонам, рассматривают площадь, здание, в котором их жизни, их юные тела, пока еще полные сил, скоро исчезнут навсегда.

Они не могут понять, чего хотят эти десятки офицеров с золотыми и серебряными погонами, блестящими револьверами и гранатами.

И почему здесь стоят, как воры, приговоренные к казни, солдаты в шлемах, почему из-за деревьев и проволоки нацелены на них черные дула, — почему, за что? Почему светят так много прожекторов? Неужели ночь так черна сегодня? Неужели сегодня будет недостаточно лунного сияния?

Они стоят, потерянные, беспомощные и покорные. Они уже увидели ужасающую действительность, и перед их глазами уже разверзлась бездна, готовая поглотить их. Они чувствуют, что все на свете — жизнь, природа, деревья, поля, все, что еще существует, — все исчезает, утонет в глубокой пучине вместе с ними. Звез-

ды погаснут, небеса помрачнеют, потемнеет Луна, — мир уйдет вместе с ними. А они, несчастные жертвы, хотят уже только одного — как можно быстрее исчезнуть в этой пропасти.

Они бросают свою поклажу — все то, что взяли с собой в «путешествие», — им уже не понадобятся никакие вещи.

Их заставляют вылезти из кузова и спуститься на землю — они не сопротивляются. Они падают без сил, как подрезанные колося, прямо к нам в руки. «На, возьми меня за руку, проведи меня, любимый брат мой, хотя бы по части пути, который еще отделяет меня от смерти». И мы ведем их, наших милых сестер, дорогих нам, нежных, мы поддерживаем их под руки, идем в молчании шаг за шагом, наши сердца бьются созвучно. Мы страдаем не меньше их, мы чувствуем, что каждый шаг отдаляет нас от жизни и ведет к смерти. И когда уже надо будет спускаться в бункер, глубоко под землю, встать на первую ступеньку лестницы, которая ведет в могилу, они бросают прощальный взгляд на небо, на луну — и из самого сердца вырывается глубокий вздох — и у них, и у нас. В лунном свете блестят слезы на лицах наших несчастных сестер. А в глазах братьев, которые привели их к могиле, слезы невыразимой печали дрожат и застывают.

В раздевалке

Большой подвальный зал, посередине которого — двенадцать столбов, поддерживающих все здание, сейчас залит ярким электрическим светом. По периметру зала уже расставлены скамейки, а над ними прибиты крючки для одежды несчастных. На одном из столбов — вывеска. Надпись на разных языках сообщает несчастным, что они пришли в баню, что вещи надо снять и сдать для дезинфекции.

Мы стоим неподвижно и смотрим на них. Они уже все знают, они понимают, что это не баня, а коридор, ведущий к смерти.

Зал все больше заполняется людьми. Приезжают машины со все новыми и новыми жертвами, и зал поглощает их всех. Мы стоим в смущении и не можем сказать женщинам ни слова, хотя мы переживаем это уже не в первый раз. Уже много транспортов с несчастными проходило перед нами, много подобных зрелищ мы видели. И все же сегодня мы чувствуем себя не так, как раньше: мы слабы, мы бы и сами упали без сил.

Мы все оглушены. Тела женщин, молодые, полные сил и юных чар, скрыты одеждой — старой и рваной. Перед нами головы с черными, каштановыми, светлыми кудрями, юные и поседевшие, — и глаза, от которых не отвести взгляда: черные, глубокие, волшебные. Перед нами сотни юных, полнокровных жизней, цветущих, свежих, как еще не сорванные розы в саду, которые

питает дождь и освежает утренняя роса, которые блестят в солнечных лучах, как жемчужины. Так и глаза этих женщин сверкают сейчас...

У нас не было мужества, не было смелости сказать им, нашим милым сестрам, чтобы они разделись догола: ведь вещи, которые на них надеты, — это теперь их последняя оболочка, последняя защита в жизни. Когда они снимут одежду и останутся в чем мать родила, они потеряют последнее, что привязывает их к жизни. Поэтому мы не требуем, чтобы они разделись. Пусть они останутся в своей «бронне» еще мгновение: ведь это их последнее жизненное укрытие!

Первый вопрос, который задают женщины, — про их мужчин: придут ли они? Все хотят знать, живы ли еще их мужья, отцы, братья, любимые или где-нибудь уже валяются их мертвые тела? Может быть, они догорают в пламени крематория — и скоро от них не останется и следа, и тогда женщины останутся уже одни — с осиротевшими детьми? Может быть, отец, брат или любимый уже исчезли навеки? Тогда почему, зачем ей самой жить на свете? — вопрошает одна. Другая, уже смирившаяся с неминуемой гибелью, смело и спокойно спрашивает: «Брат мой, ответь, сколько длится смерть? Тяжела ли она? Легка ли?».

Но долго им не дают так стоять. В подвале появляются бандиты. Воздух рвется от криков пьяных садистов, алчущих как можно скорее утолить свою звериную жажду — насмотреться на голые тела моих прекрасных возлюбленных сестер. Удары палок сыплются им на плечи и головы... И одежда спадает с тел. Кто-то стесняется, хочет скрыться куда-нибудь, чтобы не показывать своей наготы. Но нет никакого угла, где можно было бы укрыться. Нет здесь и стыда. Мораль, этика — все это, как и сама жизнь, сходит здесь в могилу.

Некоторые женщины, как будто пьяные, бросаются к нам в объятия и просят смущенными взглядами, чтобы мы раздели их догола. Они хотят забыть обо всем, ни о чем не думать. С миром прошлого, с моралью и принципами, с этическими соображениями они уже порвали, ступив на первую ступеньку лестницы, ведущей сюда. Сейчас, на пороге смерти, пока они еще держатся на поверхности, их тела еще живы, они чувствуют, они стремятся получить удовлетворение... Они хотят ему дать все: последнее удовольствие, последнюю радость — все, что можно взять от жизни. Они хотят напитать, насытить его перед кончиной. И поэтому они хотят, чтобы их юное тело, полное жизненных сил, трогала и ласкала рука чужого мужчины, который им теперь ближе самого любимого человека. Они хотят при этом чувствовать, будто их истрадавшееся тело гладит рука возлюбленного. Они хотят ощу-

тить опьянение — о, мои любимые, нежные сестры! Они вытягивают губы, они страстно жаждут поцелуя — пока они еще живы.

Приезжают все новые машины, все больше и больше людей загоняют в большой подвал. По рядам обнаженных проносятся крики и стоны: это голые дети увидели своих голых матерей. Они целуются, обнимаются, радуются встрече. Ребенок радуется, что пойдет на смерть вместе с матерью, прижавшись к ее сердцу.

Все раздеваются догола и встают в очередь. Кто-то плачет, кто-то стоит в оцепенении. Одна девушка рвет на себе волосы и что-то дико говорит сама себе. Я приближаюсь к ней и слышу, что это просто слова: «Где ты, любимый мой? Почему ты не придешь ко мне? Я так молода и красива!». Стоявшие рядом сказали мне, что она сошла с ума еще вчера, в бараке.

Кто-то обращается к нам с тихими и спокойными словами: «Ах! Мы так молоды! Хочется жить, мы еще так мало прожили!». Они не просят нас ни о чем, потому что знают и понимают, что мы и сами здесь обречены. Они просто говорят, потому что сердце переполнено, они хотят перед смертью высказать свою боль человеку, который их переживет.

Вот сидят несколько женщин, обнимаются и целуются: это встретились сестры. Они уже как будто слились в один организм, в одно целое.

А вот мать — голая женщина, которая сидит на скамейке с дочерью на коленях — девочкой, которой нет еще пятнадцати. Она прижимает голову дочки к груди, покрывает ее поцелуями. И слезы, горячие слезы падают на юный цветок. Это мать оплакивает своего ребенка, которого она вот-вот сама поведет на смерть.

В зале — в этой большой могиле — загораются все новые лампы. На одном краю этого ада стоят алебастрово-белые женские тела: женщины ждут, когда двери ада откроются и пропустят их навстречу смерти. Мы, одетые мужчины, стоим напротив и смотрим на них в оцепенении. Мы не можем понять, на самом ли деле происходит то, что мы видим, или это только сон. Может быть, мы попали в какой-то мир голых женщин? С ними будет происходить какая-то дьявольская игра? Или мы в музее, в мастерской художника, где женщины всех возрастов, с отпечатком боли и страдания на лице, собрались, чтобы позировать?

Мы изумлены: по сравнению с другими транспортами сегодня женщины так спокойны! Многие мужественны и храбры, как будто ничего страшного с ними произойти не может. С таким достоинством, с таким спокойствием смотрят они смерти в лицо — вот что поражает нас больше всего. Неужели они не знают, что их ожидает? Мы смотрим на них с жалостью, потому что пред-

ставляем себе, как вскоре оборвется их жизнь, как застынут их тела, как покинут их силы, как навеки онемеют уста, как глаза — блестящие, чарующие — остановятся, словно ища чего-то в мертвенной вечности.

Эти прекрасные тела, полные жизненных сил, будут валяться на земле, словно бревна, в грязи, прекрасный алебастр этой плоти будет запачкан пылью и нечистотами.

Из их прекрасных ртов вырвут с корнем зубы — и кровь будет литься рекой. Из носа потечет какая-то жидкость — красная, желтая или белая.

А лицо, розово-белое лицо, покраснеет, посинеет или почернеет от газа. Глаза нальются кровью, и их будет уже не узнать: неужели это та самая женщина, которая сейчас стоит здесь? С головы две холодных руки срежут прекрасные локоны, с рук снимут кольца, из ушей вырвут серьги.

А потом двое мужчин, надев рукавицы, возьмут нехотя эти тела — такие прекрасные, молочно-белые, они станут уродливы и страшны — и потащат их по холодному цементному полу. И тело покроется грязью, по которой его будут волоочь. А потом, словно тушу околевшей скотины, его бросят в лифт и отправят в печь, где в считанные минуты пышные тела превращаются в пепел.

Мы уже видим, мы уже предчувствуем их неотвратимую кончину. Я смотрю на них, на живых и сильных, заполнивших собой огромный подвальный зал, — и тут же моему взору предстает другая картина: вот мой товарищ везет тачку с пеплом, чтобы ссыпать его в яму.

Около меня сейчас группа из десяти — пятнадцати женщин — в одной тачке уместится весь пепел, в который превратятся они все. И ни знака, ни воспоминания не останется ни от одной из тех, что стоят сейчас здесь, тех, кто мог бы наполнить своим потомством целые города. Их скоро сотрут из жизни, вырвут с корнем — как будто они никогда и не рождались. Наши сердца разрываются от боли. Мы и сами ощущаем эту муку — муку перехода от жизни к смерти.

Наши сердца наполняются состраданием. Ах, если бы мы могли отдать свою жизнь за них, наших милых сестер, — как были бы мы счастливы! Как хочется прижать их к страдающему сердцу, расцеловать, напиться жизнью, которую у них скоро отнимут. Запечатлеть навсегда в сердце их облик, след этих цветущих жизней и вечно носить его с собой. Нас всех одолевают ужасные размышления... Любимые наши сестры смотрят на нас с удивлением: они недоумевают, почему мы себе не находим места, когда они сами так спокойны. Они бы хотели о многом поговорить с

нами: что с ними сделают после этого, когда они будут уже мертвы... Но они не находят смелости спросить об этом, и эта тайна до самого конца останется для них тайной.

И вот они стоят всей толпой, голые, окаменевшие, и смотрят в одном направлении, подавленные мрачными раздумьями.

В стороне от толпы лежат их вещи, сброшенные в кучу, — вещи, которые они только что сбросили с себя. Эти вещи не дают им покоя: хоть они и знают, что одежда им больше не понадобится, — и все равно чувствуют, что к этим вещам, еще хранящим тепло их тел, они привязаны множеством нитей. Вот лежат они: платья, свитера, которые согревали их и скрывали их тела от посторонних взглядов. Если бы они могли еще раз их надеть, как бы они были счастливы! Неужели уже слишком поздно?

И никто никогда из них не будет уже носить эти вещи? Неужели они не достанутся теперь никому? Никто больше не вернется, чтобы надеть?

Эти вещи лежат так сиротливо! Они словно напоминание о смерти, которая вот-вот придет.

Ах, кто теперь будет носить эти вещи? Вот одна женщина отделяется от толпы, подходит к куче вещей и поднимает шелковую косынку из-под ног моего товарища, который наступил на нее. Она берет косынку себе — и тотчас же смешивается с толпой. Я спрашиваю ее: «Зачем вам этот платочек?» — «С ним связаны мои воспоминания, — тихим голосом отвечает она, — и с ним я хочу сойти в могилу».

Путь к смерти

И вот двери распахнулись. Ад широко раскрыл свои ворота перед жертвами. В маленькой комнате, через которую лежит путь к смерти, выстроились, как на параде, приспешники власти. Политуправление лагеря пришло сегодня на свое торжество в полном составе. Здесь высшие офицерские чины, которых мы за 16 месяцев службы еще не видели. Среди них «эсэсовка» — начальница женского лагеря[198]. Она тоже пришла посмотреть на этот большой «национальный праздник» — гибель стольких детей нашего многострадального народа.

Я стою в стороне и смотрю: вот бандиты и убийцы — а напротив мои несчастные сестры.

Марш смерти начался. Женщины идут гордо, твердой поступью, смело и мужественно, как будто на праздник. Они не сломались и тогда, когда увидели то последнее место, последний угол, где скоро разыграется последняя сцена их жизни. Они не потеряли почвы под ногами, когда осознали, что попали в самое сердце ада. Они уже давно свели все счета с жизнью и с этим миром, еще

там, наверху, до того, как пришли сюда. Все нити, связывавшие их с жизнью, оборвались еще в бараке. Поэтому сейчас они идут спокойно и хладнокровно, приближение к смерти их уже не страшит. Вот они проходят — голые женщины, полные жизненных сил. Кажется, что этот марш длится целую вечность.

Кажется, что это целый мир — что все женщины на свете разделены и идут на этот дьявольский парад.

Вот проходят матери с младенцами на руках, кто-то ведет ребенка за ручку. Детей целуют все время: терпение чуждо материнскому сердцу. Вот идут, обнявшись, сестры, не отрываясь друг от друга, словно слившись воедино. На смерть они хотят пойти вместе.

Все смотрят на выстроившихся офицеров, — а те избегают смотреть в глаза своим жертвам. Женщины не просят, не умоляют о милости. Они знают, что этих людей просить бессмысленно, что в их сердце нет ни капли жалости или человечности. Они не хотят доставить им этой радости — слышать, как несчастные молят в отчаянии, чтобы кому-нибудь из них даровали жизнь.

Вдруг марш голых женщин остановился. Вот красивая девочка лет девяти, две светлые косы падают на плечи, как золотые полосы. За ней шла ее мать — вдруг она остановилась и смело сказала офицерам:

— Убийцы, бандиты, проклятые преступники! Вы убиваете нас, безвинных женщин и детей! Нас, безвинных и безоружных, вы обвиняете в той войне, что вы сами развязали. Как будто мы с ребенком воюем против вас. Нашей кровью вы собираетесь искупить свои поражения на фронте. Уже ясно, что вы проиграете войну. Каждый день вы терпите поражения на Восточном фронте. Сейчас вы можете творить все что угодно, — но настанет и для вас день расплаты. Русские отомстят за нас! Они живьем разорвут вас на части. Наши братья по всему миру не простят вам ваших преступлений: они отомстят за нашу безвинно пролитую кровь!

После этого она обратилась к женщине, стоявшей среди эсэсовцев:

— Бестия! И ты тоже пришла любоваться нашим несчастьем? Помни! У тебя тоже есть семья, дети — но недолго осталось тебе наслаждаться таким счастьем. Тебя, живую, будут раздирать на части — и твоему ребенку, как и моему, недолго осталось жить! Помните, изверги! Вы заплатите за все — весь мир отомстит вам!

И она плюнула бандитам в лицо и вбежала в бункер вместе с ребенком.

В оцепенении молчали эсэсовцы, не имея мужества посмотреть в глаза друг другу: они слышали правду — великую, страшную правду, которая разрывала, резала, жгла их звериные души. Они

дали ей высказаться, хотя и догадывались, что она будет говорить: они хотели услышать то, о чем думают еврейские женщины, идя на смерть. И вот бандиты стоят, подавленные, глубоко задумавшиеся. Женщина, стоящая на краю могилы, сорвала с них маску, и они представили себе свое и уже не слишком далекое будущее. Они не раз уже думали о нем, не раз мрачные мысли одолевали их, — и вот еврейская женщина бесстрашно высказала правду им в лицо!

Долгое время они боялись и подумать об этом: им страшно было, что этот мучительный вопрос — «Зачем и для чего мы живем?» — проникнет слишком глубоко в душу. Фюрер, их боже-ство, учил их совсем не тому! Пропаганда заставляла их поверить, что победа куется не на Восточном и не на Западном фронте, а здесь, в бункере, где уничтожается враги-исполины, ради борьбы с которыми льется немецкая кровь на всех полях Европы.

И вот они идут перед ними. Из-за этих врагов английские самолеты день и ночь бомбят немецкие города, убивая людей от мала до велика. Это из-за них, голых евреек, все эсэсовцы должны быть сейчас далеко от дома, а их сыновья обречены сложить голову где-то на востоке. Конечно же, великий фюрер прав: этих врагов надо уничтожать, вырывать с корнем! Когда все эти женщины и дети будут мертвы — только тогда немцы одержат победу!

Ах, если бы это можно было сделать еще быстрее: собрать их со всего мира, раздеть догола, как этих — уже голых — женщин, и загнать их всех в адскую печь! Как славно бы это было! Вот тогда прекратились бы канонады и бомбардировки — война бы закончилась, и мир успокоился бы. Дети, тоскующие по дому, вернулись бы к себе, для всех началась бы счастливая жизнь...

Но пока что не преодолено последнее препятствие: пока еще есть женщины — дочери моего народа, которые прячутся где-то, которых не удалось еще привести сюда и раздеть, как этих — уже поверженных — врагов, которые идут теперь на смерть, — и какой-то изверг хлещет их нагайкой по голому телу.

«Эй, твари, бегите скорее в бункер, в могилу! Каждый ваш шаг по лестнице, ведущей к смерти, приближает нас к победе, которая должна прийти как можно скорее. Слишком дорого мы платим за вас, погибая на фронте, — так бегите же быстрее, чертовы дети, не мешкайте по дороге! Это из-за вас мы все никак не можем победить».

Тянутся ряды нагих женщин — и снова останавливаются. Одна юная светловолосая девушка говорит бандитам:

— Проклятые негодяи! Вы смотрите на меня жадным звериным взглядом. Вы тешите себя, смотря на мою наготу. Да, пришла для вас счастливая пора: в мирное время вы о таком и мечтать не

могли. Нелюди, исчадия ада, вы нашли, наконец, место, где можете утолить свою неизменную жажду. Но недолго вам осталось наслаждаться. Вашей игре скоро конец, всех евреев вы не сможете убить! Вы заплатите за все!

И вдруг она подскочила к ним и три раза ударила обершарфюрера Фоста, начальника крематория.

На нее набросились, стали избивать палками. В бункер она вошла с пробитой головой. Горячая кровь заливала ее тело, а лицо светилось радостью. Она была счастлива сознанием своего подвига: она дала пощечину знаменитому своими злодеяниями убийце и бандиту. Она осуществила свое последнее желание — и пошла на смерть спокойно.

Пение из могилы

В большом бункере уже тысячи жертв стоят в ожидании смерти. Вдруг оттуда донеслось пение. Офицеры-бандиты снова застыдив изумлении. Они не верят своим ушам: неужели возможно, чтобы люди, стоя посреди преисподней, на пороге смерти, — в свои последние минуты не жаловались, не оплакивали свои юные жизни, которые вот-вот оборвутся, — а пели?! Фюрер, несомненно, прав: это определенно дьявольские создания! Разве человек может так спокойно и бесстрашно идти на смерть?

Мелодия, которая доносится из подвала, всем хорошо знакома. Мучители тоже узнали ее, она для них как острый нож. Как острые копья, эти звуки проникают им в самое сердце: полумертвые люди поют Интернационал[199] — гимн великого русского народа, песнь героической армии — вот что поют они сейчас.

Палачи слушают. Песня напоминает им о фронтовых победах — но одержанных не ими, а их противниками. Против воли они заслушиваются мелодией. Как штормовая волна, песня захлестывает их пьяные головы и заставляет протрезветь, забыть о своем фанатизме и вспомнить о том, что происходит.

Песня заставляет их заглянуть в недавнее прошлое и увидеть страшную, трагическую действительность. Песня напоминает им, что в начале войны фюрер, их божество, обещал, что через шесть недель огромная Россия уже будет покорена, что над стенами Кремля будет развеваться флаг с черной свастикой, — и они были уверены, что конец войны — событие столь же определенное, как и ее начало.

А что же случилось на самом деле?

Победоносные европейские армии, быстро поработившие целые народы, вооруженные лучше всех, ведомые опытными полководцами, полностью уверенные в своей неизбежной победе, гордо повторяющие старый девиз — «Deutschland, Deutschland

uber alles», — теперь разбиты и обращены в бегство. Они падают с вершины — в глубокую пропасть, вся земля покрыта трупами их солдат. Где же их сила, их искусство, техника, стратегия?

Почему они сумели победить всех, кроме русских, — этот отсталый азиатский народ? Вот она — мощь интернационализма, который наделил русский народ необычайной силой. Мускулы русских словно выкованы из стали, их воля — словно буря, сметающая все на своем пути.

Мелодия тревожит мучителей: где теперь та уверенность, в которой они пребывали до сих пор? В звуках песни им слышатся шаги армий, гордо марширующих по могилам их братьев, пушечные выстрелы, взрывы снарядов на полях сражений. Мелодия усиливается, пение все громче и громче. Все захвачены песней, она вырывается из подвала, как кипящая волна, и разливается, расплескивается повсюду, заполняя собой все вокруг. Офицеры-бандиты, представители могучей власти, чувствуют, как ничтожны и мелки они сейчас. Им кажется, что звуки песни — это живые существа, антагонисты, противоборствующие армии, одна из которых сражается гордо и мужественно, а другая, которую они представляют здесь, стоит в немом оцепенении и трясется от страха.

Звуки пения все ближе. Мучители чувствуют, что песня проникает повсюду, что от ее звуков трясутся пол и стены. Они чувствуют, что им самим уже не осталось места, что почва уходит у них из-под ног, и вот-вот все будет затоплено этой волной. Мелодия говорит о победе и о великом будущем, и бандиты уже видят, как красноармейцы, опьяненные победой, бегут по немецким улицам и топчут, рвут, режут, жгут все на своем пути. Черная дума охватывает мучителей: песня пророчит, что скоро уже свершится месть, о которой говорила та еврейская женщина. Скоро они заплатят за гибель тех, кто сейчас поет и кто так скоро погибнет от их руки...

А-тиква

Офицерская банда вздохнула свободнее, когда отзвучало эхо последней ноты. Но недолго радовались изверги: всем сердцем, всей душой, гордо и радостно, мужественно и уверенно женщины запели новую песню — А-тиква, гимн еврейского народа[200]. Эта песня им тоже хорошо знакома, они слышали ее уже не раз. И вот они снова застыли в оцепенении. Эта песня тоже рассказывает о чем-то, будит воспоминания. Они чувствуют, как к ним взывают толпы мертвых, которые с этой песней оживают и обретают мужество:

— Бандиты и убийцы! Вы думали, что сможете погубить весь еврейский народ, что с его гибелью придет ваша победа. Но ваш «фюрер», ваш «бог» вас обманул!

Песня говорит, что и победы над еврейским народом им никогда не достичь.

Евреи живут во всем мире — и в тех странах, куда еще не ступала их нога, и даже в тех, где они еще до сих пор хозяйничают, — их враги все равно ничего не могут добиться, потому что остальные народы прозрели и не хотят приносить в жертву невинных людей, потакая их варварству и звериной жестокости. Песня говорит им, что древний еврейский народ выживет и сам создаст свое будущее — там, в своей далекой стране. Песня предупреждает, что догмат, в который они поверили, — что «от евреев на свете останутся только музейные экспонаты»[201] и что не будет никого, кто мог бы призвать к мести и сам отомстить, — это ложь: после бури евреи придут сюда со всех концов земли и будут искать своих отцов, братьев и сестер, будут спрашивать нас: где погибли они — дети нашего народа? Они спросят, где их сестры и братья — те самые, которые вот-вот погибнут, а пока — в свои последние минуты — они поют! Они соберут огромные армии для того, чтобы отомстить убийцам. Они заставят преступников заплатить за кровь невинных, — и за ту, что они собираются пролить сейчас, и за ту, что уже давно пролита.

А-тиква не дает убийцам покоя, она тревожит их, бередит, зовет и тянет в глубокую пучину отчаяния.

Чешский гимн[202]

О, этот транспорт длится для них уже целую вечность! Часы превратились в годы. Бандиты стоят сломленные и подавленные. Они надеялись, они были уверены, что им удастся испытать сегодня большое удовольствие — увидеть, как страдают, как содрогаются в муках тысячи юных евреек. Но вместо этого перед ними толпа, которая поет, которая смеется смерти в лицо! Где же та месть, которая должна была свершиться? Где наказание? Они надеялись, что смогут утолить жажду еврейской крови этой бездной страданий, а перед ними — мужественные, спокойные люди, которые поют, и эти песни из могилы для них как бич, они проникают в их звериные сердца и не дают им покоя. Им кажется, что это их — всемогущих извергов — казнят сегодня, что эта толпа голых женщин мстит им.

Они поют гимн поработенного чехословацкого народа. Они жили бок о бок с чехами, жили спокойно и благополучно, как и другие граждане этой страны, — пока не пришли варвары и не поработили всех жителей. Евреи не упрекают чехов: они знают,

что те не виновны в их гибели. Чехи сочувствуют им, сострадают, — а евреи вместе с ними надеются на скорое освобождение, хоть и знают, что им самим не дожить до этого часа. Они могут лишь представить себе ближайшее будущее, представить, как чешский народ воспрянет, потянется к жизни, — оттого и поют они чешский гимн, который вскоре вновь зазвучит у них на родине. Высоко в горах, глубоко в долинах всюду будет слышна радостная песнь — песнь новой, пробуждающейся жизни. И сейчас, из глубокой могилы еврейские женщины шлют привет чешскому народу, своим друзьям, чтобы ободрить их, поднять их боевой дух, воодушевить перед битвой.

Песня напоминает убийцам, что скоро все народы будут освобождены, и чехи в том числе. Повсюду, для всех народов будут развеяться знамена свободы. А что будет с ними, с узурпаторами и тиранами, залившими невинной кровью всю Европу? Когда все маленькие поработанные народы воспрянут и оживут, великий могущественный Рейх будет сломлен и разбит. Когда весь мир будет праздновать день всеобщего освобождения, для них наступит эпоха рабства. В день победы и мира, когда на улицах всей Европы люди будут обниматься и целоваться от счастья, они, преступники и убийцы, будут сидеть под стражей и страшиться великого Судного дня — дня расплаты за преступления перед всем миром. Когда все народы будут возводить на руинах новые города, они только сильнее ощутят свое ничтожество.

День освобождения превратится для них в день траура. Все пострадавшие народы потребуют, чтобы они заплатили за все несчастье, которое они — а не кто-то другой — принесли миру.

Ах! Эти песни приносят им истинное страдание, не дают ни торжествовать, ни радоваться.

Песня партизан

Мчатся последние машины. Женский транспорт прошел почти весь. Но вот еще один случай неповиновения: молодая женщина из Словакии не дает себя раздеть, не хочет идти в бункер, она кричит, шумит, призывает женщин бороться, «Расстреляйте меня!» — просит она. И эта милость была ей оказана. Ее вывели наверх, и там при свете луны два человека с желтыми повязками на плечах заломили ей руки. Юная девушка забилась в конвульсиях. Послышался хлопок — это пуля «высококультурного» изверга оборвала ей жизнь. Как тонкое деревце, она упала на землю, ее тело осталось лежать, кровь разлилась вокруг, а взгляд остановился, устремленный на Луну, которая продолжала свою ночную прогулку. В этом теле совсем недавно билась жизнь. Девушка кричала, плакала, призывала к борьбе, к восстанию — а теперь

она лежит, вытянувшись, раскинув руки, как если бы она хотела в последнюю минуту обнять весь мир.

А снизу, из бункера, опять доносится пение. Оно заглушает страх и беспокойство, которые уже было охватили души и сердца несчастных. Женщины поют песню партизан, и она вновь, как копье, бьет извергов прямо в сердце. Партизаны — героические борцы за свободу, в партизанские отряды ушли многие дети нашего народа-мученика. И когда армии извергов будут разгромлены, когда солдаты в страхе побегут в леса, в поля, чтобы спрятаться где-нибудь в яме, в лощине, среди густых деревьев и кустов, — тогда партизаны их настигнут, чтобы обрушить на них карающий удар. Они заставят их выбраться из укрытия и заплатить за все. Они отомстят мучителям за наши страдания. Жестокой, страшной будет их месть за отцов и матерей, за братьев и сестер, которые были убиты без вины. Везде и всюду будут они мстить своим палачам. Выбравшись из-под земли, они будут свидетельствовать всему миру о той жестокости, с которой эти варвары истребили миллионы людей по всему миру. Они приведут победоносные армии в поля и в леса, чтобы показать, где лежат сотни тысяч трупов — останки людей, заживо закопанных в землю или заживо сожженных.

За все, за все отмстится мучителям!

Как только в бункер вошла последняя жертва — дверь герметично закрыли и заперли, чтобы воздух уже не проникал туда. Несчастные стоят там, в ужасной тесноте, многие начинают задыхаться от жары и жажды. Они предчувствуют, они знают, что осталось недолго: еще минута, еще мгновение — и их мукам придет конец. И все равно они продолжают петь, чтобы отрешиться от действительности. Они хотят удержаться на волнах этих звуков, проплыть на них это небольшое расстояние — между жизнью и смертью.

А офицеры стоят и ждут, ждут их последнего вздоха. Они хотят увидеть самую последнюю, самую возвышенную сцену — когда тысячи жертв задрожат, словно колосья во время бури, и наступит их последний миг. Тогда взору мучителей предстанет самая «прекрасная» картина: 2500 жертв, как срубленные деревья, упадут друг на друга — и на этом их жизнь оборвется!

Засыпают газ

В ночной тишине слышатся шаги. Два силуэта движутся в лунном свете. Эти люди надевают маски, чтобы засыпать смертоносный газовый порошок. У них в руках две банки — их содержимое скоро убьет тысячи людей. Они идут к бункеру, к этому адскому месту. Идут спокойно, уверенно и хладнокровно, как будто испол-

няют свой священный долг. Их сердце твердо, как лед, их руки не дрожат, твердой походкой подходят они к отверстию в крыше бункера, засыпают туда газ и закрывают отверстие втулкой, чтобы ни одна частица не попала наружу. До них доносится тяжелый стон людей, уже борющихся со смертью, — стон боли и страдания, — но он не может смягчить их сердца. Глухие, онемевшие, они идут ко второму отверстию и засыпают газ туда. Вот они добрались до последнего отверстия... Теперь маску можно снять. Гордые и довольные собой, они мужественно уходят оттуда, где только что совершили дело огромной важности для своего народа, для своей страны — еще один шаг на пути к победе.

Первая победа

Офицеры поднимаются из бункера, выходят на поверхность. Они счастливы, что пение, наконец, прекратилось, — а с ним и жизнь поющих. Мучители могут вздохнуть свободнее. Они бегут оттуда, от призраков, от фатума, который преследовал их. Впервые за время службы они испытали такое смятение: до этого им не приходилось часами стоять в напряжении и чувствовать, как будто их, как преступников, хлещут раскаленными прутьями, и долго ощущать боль от воображаемых ударов. Для них невыносимой была сама мысль о том, что их наказывают евреи — раса рабов, порождение дьявола. Наконец-то этому пришел конец, и можно вздохнуть с облегчением. Звуки голосов, угрожавшие им, пророчившие кару, умолкли. Людей, которым принадлежали эти голоса, уже нет в живых. И теперь они могут потихоньку освободиться от ощущения кошмара, могут испытать счастье одержанной победы. Они идут с поля боя гордые и довольные. 2500 врагов, которые мешали им в борьбе за благо немецкого народа и Рейха, уже мертвы. Теперь армиям на Восточном и Западном фронтах будет легче сражаться за победу.

Второй фронт

Теперь все переходят к другому крематорию: офицеры, часовые и мы. И снова все выстраиваются как на поле боя. Все стоят в напряжении, в полной боеготовности. Сейчас приняты еще большие меры предосторожности, потому что если первая встреча с жертвами прошла спокойно и никто не оказал сопротивления, то сейчас можно ожидать всего: жертвы, с которыми предстоит теперь сразиться, которых вот-вот сюда привезут, — это молодые сильные мужчины. Ожидание длится недолго. Послышался шум машин, уже хорошо знакомый нам. «Едут!» — кричит «комендант»[203]. Это значит, что все должны приготовиться. В тишине ночи слышно, как люди — в последний раз перед «боем» — прове-

ряют винтовки и другое оружие, чтобы удостовериться в том, что если понадобится его применить, то оно сработает как надо.

Прожекторы освещают большую площадку перед крематорием. В их лучах и в лунном свете блестят стволы винтовок, которые держат пособники «великой власти», борющейся с беззащитным, несчастным народом Израиля. Среди деревьев и колючей проволоки спрятались солдаты. Лунный свет отражается от «черепов» на шлемах этих «героев», которые с гордостью носят свою униформу. Как черти, как дьяволы, стоят эти убийцы и преступники в ночной тишине и ждут — с жадностью и страхом — новой добычи.

Разочарование

И мы, и *они* — все в напряжении. Представители власти явно боятся, что доведенные до отчаяния мужчины захотят умереть смертью храбрых. И тогда, кто знает, не погибнут ли *они* сами в этом бою?

Мы тоже на взводе. Сердце колотится. Вот мы помогаем мужчинам выбраться из машин. Мы надеялись, верили, что сегодня это произойдет — настанет тот решительный день, которого мы долго и с нетерпением ждали, день, когда обреченные люди, поняв, что им некуда отступать, станут сопротивляться своим палачам, а мы в этой неравной схватке будем сражаться вместе с ними — плечом к плечу. Нас не остановит и то, что борьба безнадежна, что ни свободы, ни жизни мы не добьемся. Великим утешением станет для нас возможность героически покинуть эту мрачную жизнь. Этому страшному существованию должен же быть положен конец!

Но каково было наше разочарование, когда мы увидели, что эти люди, вместо того чтобы броситься, как дикие звери, на нас и на них, выбравшись из машин, стали безропотно и испуганно оглядываться. Пристально рассмотрев здание крематория, опустив руки и пригнув голову, подавленные и покорные, они двинулись на смерть. Все спрашивали о женщинах: здесь ли они? Их сердца все еще бьются только ради них, они привязаны к ним тысячью нитей. Их плоть, их кровь, их сердце и душа еще слиты в единое целое — только для них. Но эти отцы, мужья, братья, женихи, знакомые не знают, что их женщины и дети, сестры, невесты и подруги, о которых только и думают они сейчас, которые только и держат их в жизни, — уже давно мертвы и лежат в этом большом здании, в глубокой могиле, неподвижные, застывшие навсегда. Они не поверят, даже если мы им расскажем правду: нить, связывавшая их с женщинами, уже давно перерезана.

Некоторые в ожесточении бросают свою поклажу на землю. Им уже хорошо знакомо это здание с трубами, в котором каждый день погибают все новые и новые жертвы. Другие стоят в оцепенении, насвистывают что-то себе под нос, смотрят в тоске на луну и звезды — и со стоном спускаются в глубокий подвал. Это длится недолго: они разделись и дали себя убить, не сопротивляясь.

Он и она

Душераздирающая сцена разыгралась только тогда, когда к мужчинам привели женщин, которым не хватило места в первом крематории[204]. К ним, как безумные, бегут голые мужчины, каждый ищет среди них свою жену, мать, дочь, сестру, подругу... «Счастливые» пары, которым «повезло» встретиться здесь, обнимаются и страстно целуются. Страшно выглядит эта картина: посреди большого зала голые мужчины держат в объятиях своих жен, братья и сестры в смущении целуются и плачут — и, «радостные», они идут в бункер.

Многие женщины остались сидеть в одиночестве. Их мужья, братья, отцы вошли в бункер одними из первых. Они думают о своих женах, дочерях, матерях, сестрах и не знают, несчастные, что в том же бункере, среди чужих мужчин, стоят и они — и тоже смотрят повсюду, выискивают в толпе родное лицо. Дико блуждает их взор, исполненный тоски и страдания.

Вот посреди толпы мужчин лежит одна женщина, растянувшись на полу, лицом к толпе: до последнего вздоха она еще искала среди незнакомых мужчин своего мужа.

А он, ее муж, стоял где-то там, далеко от нее, прижатый к стене бункера. Он в тревоге приподнимался на цыпочки, искал взглядом свою нагую жену, затерявшуюся в толпе. Но как только он ее заметил, его сердце бешено заколотилось, он протянул к ней свои объятия, попытался пробраться к ней или хотя бы позвать ее — в камеру подали газ, и он упал замертво: протянув руки к жене, с открытым ртом, с глазами навывкате. Он умер с ее именем на устах.

Два сердца бились созвучно — и в один миг, полные тоски и горя, оба остановились.

«Heil Hitler!»

Через окно в двери бункера власть предержащие увидели, как множество людей, огромная толпа упали, убитые ядовитым газом.

Счастливые и довольные, в сознании неоспоримой победы, выходят они из подвала. Теперь они могут спокойно ехать по домам. Злейший враг их народа, их страны уничтожен, истреб-

лен. Теперь открываются новые возможности! Великий фюрер говорил, что каждый убитый еврей — это шаг к победе. Сегодня же им удалось уничтожить пять тысяч евреев. Это блестящая победа — без жертв, без потерь со стороны палачей. Кто еще может похвастаться таким деянием?

Они прощаются, поднимая руку, поздравляют друг друга и, довольные, рассаживаются по машинам. И машины увозят великих героев, гордых своим подвигом. Скоро они будут рапортовать о свершившемся по телефону. Весть о великой победе, одержанной сегодня, дойдет и до самого фюрера. *Neil Hitler!*

Мертвая площадь

На площади перед крематорием снова тихо. Больше нет здесь ни часовых, ни машин с гранатами, ни прожекторов. Все вдруг исчезло. Мертвая тишина снова воцарилась на божьем свете, как если бы смерть разлилась из этого ада волной по всей земле и погрузила весь мир в вечный сон. Луна в царственном спокойствии продолжила свой путь. Звезды все так же мерцают в глубоких синих небесах. Ночь спокойно тянется, как если бы на земле ничего не произошло. Ночь, луна, небеса и звезды остались единственными свидетелями того, что дьявол совершил в эту ночь, — того, следов чего теперь не найти.

В лунном сиянии можно заметить на площади только небольшие узлы с вещами — единственное напоминание о жизни, которой теперь нет. Вот движутся несколько силуэтов: люди-тени поднимают с земли тяжелую ношу — человеческое тело — и тащат к открытой двери. Потом медленно возвращаются, берут другое тело и исчезают с ним в дверном проеме. В ночной тишине слышно, как закрывают дверь: это запирают несчастных, которым скоро снова идти на эту жуткую работу. Вот раздался звук шагов: это сторож обходит местное «кладбище» и — предупреждает тех несчастных, кто работает в аду и носит тела своих мертвых братьев и сестер, что от встречи со смертью не уйти и им.

В бункере

Дрожащими руками мы отвинчиваем болты и выдвигаем засовы. Вот открыты двери обеих камер, и прямо на нас хлынула волна ужасной смерти. Вот стоят окаменевшие люди, их взгляд неподвижен. Как долго? Как долго длились эти мучения? У нас перед глазами еще стоит совсем другое зрелище: те же самые люди в последние часы их жизни — полнокровные, молодые мужчины и женщины; мы еще слышим отзвук их голосов, нас преследует взгляд их глубоких глаз, наполненных слезами.

Во что превратились они сейчас? Тысячи, тысячи людей, еще недавно полных жизни, поющих и шумных, — лежат теперь как камни. От них не услышать ни звука, ни слова: их уста онемели навеки. Их взгляд остановился навсегда, их тела лежат без движения. В мертвом молчании слышен только очень тихий, едва уловимый звук: это из мертвых тел выливается жидкость. Больше ничего не происходит в этом мертвом мире.

Мы застыли, оцепенели от зрелища, которое открылось нашему взору: перед нами огромное множество нагих мертвых тел. Они лежат, слившись друг с другом, переплетясь: как будто сам дьявол уложил их в таких причудливых позах. Один человек лежит, вытянувшись, на телах других. Двое обнялись и сидят у стены. Иногда видно только часть спины человека — а голова и ноги под телами других людей. Кто-то умер, вытянув руку или ногу, а все тело погрузилось в море других нагих тел. Целый мир мертвецов — и твой взгляд выхватывает лишь куски человеческой плоти.

В этот раз на поверхности оказалось много голов. Кажется, что люди плавали в глубоком море нагих тел, — и только головы возвышались над волнами.

Головы — черные, светлые, каштановые волосы — только их еще можно различить на фоне общей массы из голой плоти.

На пороге ада

Нужно, чтобы сердце окаменело. Нужно заглушить в нем болезненные чувства, не замечать той ужасной муки, которая, переполняет тебя, как потоп.

Надо превратиться в машину, которая не видит, не чувствует и не понимает.

Мы приступили к работе. Нас несколько человек, и каждый занят своим делом. Мы отрываем тела от мертвой груды, тащим — за руку, за ногу, как удобнее. Кажется, они сейчас разорвутся от этого на части: их волокут по холодному и грязному цементному полу, чистое мраморное тело, как веник, собирает всю грязь, все нечистоты, по которым его тащат. После этого грязные тела поднимают и кладут лицом вверх: на тебя смотрят застывшие глаза, как будто спрашивая: «Брат, что ты собираешься со мной сделать?!».

Нередко узнаешь тела знакомых людей — тех, рядом с кем ты и сам стоял до того, как их загнали в камеру.

Один труп обрабатывают три человека. Один вырывает щипцами золотые зубы, другой срезает волосы, третий вырывает женщинам серьги, иногда из мочек ушей льется кровь. Кольца, которые не удается снять, выдирают щипцами.

После этого тело грузят в лифт. Два человека бросают туда тела, как дрова, и когда набирается семь или восемь трупов, подается знак, и лифт уезжает наверх.

В сердцевине ада

Наверху лифт встречают другие четыре человека. Двое стоят с одной стороны — они относят тела в «резервную» комнату. Другие двое тащат трупы прямо к печам. Тела складывают по два у жерла каждой печи. Трупы маленьких детей бросают в сторону — потом их добавляют к трупам двух взрослых. Тела выкладывают на железную доску, потом открывают дверцу — и доску задвигают в печь.

Языки пламени лижут мертвую плоть, огонь обнимает тела, как сокровище. Сначала загораются волосы. Потом трескается кожа. Руки и ноги начинают дергаться: жилы натягиваются и приводят их в движение. Скоро все тело уже объято пламенем, кожа лопается, из организма выливаются все жидкости, и слышно, как шипит огонь. Человека уже не видно: только силуэт пламени, в котором что-то есть. Разрывается живот, кишки выпадают — и тут же сгорают целиком. Дольше всего горит голова. Из глазниц вырываются языки пламени: это сгорают глаза и мозг, а во рту горит язык. Вся процедура длится двадцать минут — после этого от человеческого тела остается только пепел.

Ты же стоишь в оцепенении и смотришь на это.

Вот кладут на доску два тела — это были два человека, два мира, они жили, существовали, что-то делали, творили, трудились для мира и для себя, вносили свою лепту в большую жизнь, пряли свою ниточку для мира, для будущего — и вот пройдет двадцать минут, и от них не останется и следа.

Вот кладут на доску двух женщин, обмывают[205] их. Это были молодые красивые женщины, еще недавно они жили, приносили другим счастье, утешали своей улыбкой, радовали каждым своим взглядом, каждое их слово звучало как волшебная небесная музыка, всех они одаривали счастьем и радостью. Многие сердца горели любовью к ним. И вот они лежат на железной доске, и как только откроется жерло печи, они исчезнут в нем навсегда.

Теперь на доске лежат три тела. Младенец на груди у матери — сколько счастья, сколько радости испытали родители при его рождении! Радость царила в их доме, они думали о будущем, весь мир представлялся им идиллией — и вот через двадцать минут от них ничего не останется.

Лифт поднимается и опускается, он привозит все новые и новые трупы. Как на бойне, лежат груды тел — в ожидании, пока их кто-нибудь возьмет.

Тридцать печей, тридцать адских костров[206] горят в двух крематориях. В них исчезают бесчисленные жертвы. Это продлится недолго: скоро все пять тысяч человек будут превращены в пепел.

Огонь в печах бурлит, как штормовая волна. Его зажгли варвары, убийцы — в надежде, что его светом им удастся разогнать мрак их страшного мира.

Огонь горит ровно, в полную силу, никто не пытается его потушить. Постоянно ему предают все новых и новых жертв, как будто наш древний народ-мученик был рожден специально для этого.

О великий свободный мир, увидишь ли ты когда-нибудь это пламя? Люди, остановитесь, поднимите глаза к небесам: их глубокую синеву у нас застит огонь. Знай, свободный человек: это адское пламя, в котором сторают люди!

Может быть, твое сердце не останется черствым, может, ты придешь сюда и потушишь этот пожар? И, может быть, ты осмелишься поменять местами жертв и палачей и предать пламени тех, кто его разжег?

3. РАССТАВАНИЕ

Вступление

Дорогой читатель!

Я посвящаю это сочинение друзьям по несчастью, дорогим моим братьям, с которыми нас внезапно разлучили. Кто знает, куда их отправили. Предчувствия на этот счет у нас самые худшие: слишком хорошо мы знаем обычай лагерного начальства.

Им, друзьям, я посвящаю эти строки в знак любви и привязанности. Если ты, дорогой читатель, захочешь когда-нибудь понять, как мы жили, вдумайся в эти строки — и тогда ты сможешь нас хорошо себе представить и поймешь, почему все было так, а не иначе.

Из моих записок ты сможешь узнать, как погибли дети нашего народа. Прошу тебя, отомсти за них и за нас: ведь неизвестно, доживем ли мы — обладатели фактических доказательств всех этих зверств — до освобождения. Поэтому я хочу своим письменным обращением пробудить в тебе жажду мести, чтобы этой жадой наполнилось множество сердец, — и пусть в море крови будут утоплены те, кто превратил мой народ в море крови.

У меня есть и личная просьба. Я не указываю своего имени — но ты узнай его от моих друзей и подпиши им мою работу. Пусть друг или родственник произнесет его с тяжелым вздохом.

И еще одна просьба. Вместе с записями напечатай и фотографию моей семьи и снимок, на котором мы с женой. Пусть и о

моих близких кто-то вздохнет и проронит слезу, ведь я, их несчастнейший сын, проклятый муж, — не могу, не в состоянии этого сделать. За шестнадцать месяцев жизни в этом аду у меня не было ни дня, когда я мог бы уединиться, побыть наедине с собой и увидеть, ощутить, осмыслить мое несчастье. Непрерывный процесс систематического уничтожения, в который я вовлечен, заглушает личное горе, притупляет все чувства. Моя собственная жизнь проходит под сенью смерти. Кто знает, смогу ли я когда-нибудь оплакать и ощутить сполна мои ужасные страдания...

Моя семья была сожжена 8 декабря 1942 года:

Моя мать — Сорэ

Моя сестра — Либэ

Моя сестра — Эстер-Рохл

Моя жена — Соня (Сорэ)

Мой тесть — Рефоэл

Мой шури́н — Волф

Моего отца схватили в Йонкипер 1942 года в Вильне: за два дня до начала советско-немецкой войны он поехал в Литву, чтобы повидаться с сыновьями. Их, моих братьев, схватили в Шавеле[207] и отправили в лагерь, что с ними произошло дальше — неизвестно. Сестру Фейгеле и невестку схватили в Отвоцке и отправили в Трешлинку вместе со всеми евреями. Вот и все о моей семье.

(7) (30) (40) (50) _ (3) (200) (1) (4) (1) (6,6) (60) (100) (10)[208].

Смирно!

Мы вернулись в барак после построения. И вдруг в шуме голов — пронзительный звук свистка.

Уже не раз свисток выгонял нас из барака, не дав отдохнуть, на новое построение — и всегда на то были свои причины. Но сегодня этот звук ворвался в барак, словно буря.

Защемило сердце, в мозгу молнией сверкнула мысль: не против нас ли обращен этот звук? Не за нами ли пришли? Вдруг и нас собираются разделить, разлучить друг с другом — и послать на смерть? Вероятно, слух, который распространился среди нас вчера, — что в пятницу специальным транспортом куда-то отправят тех из наших братьев, кого не приписали к работе в крематории, — оказался правдой. Так заставляет думать и то, что нам вчера объявили за работой: информация о транспорте не актуальна. Раз говорят «нет» — значит «да».

Мы стоим, выстроившись, в страшном напряжении. Что-то будет? Может быть, нас всех собираются «ликвидировать»? Но даже если сейчас они пришли только за некоторыми из нас, то и для

всех остальных это начало конца. Если сейчас так или иначе избавляются от моего брата — то и я, пожалуй, уже не нужен. Мы тревожно переговариваемся: о чем ты думаешь? Как ты оцениваешь ситуацию? Вдруг раздается громкий крик блокэльтесте: «Achtung!». Прибыл лагерфюрер и вся его свита. Их лица нам хорошо знакомы, но на построении они не появлялись еще ни разу: последний раз мы их видели здесь пятнадцать месяцев назад, когда нас определили на эту страшную работу. Что будет? Тревожная мысль мучает нас: что будет сейчас — когда они собрались нас ликвидировать? Все переглядываются — нервно и испуганно. «Желтые повязки»[209] тоже стоят с бледными лицами: нет сомнений, готовится что-то серьезное.

Сейчас нас всех объединяет одна мысль, одна проблема. Все печальны и подавлены. Всеми овладели ужас и дрожь. Все напряженно ждут того, что произойдет в ближайшие минуты. Мы вдруг ощутили, что пятнадцать месяцев жизни бок о бок и кошмарной совместной работы сплотили нас, группа товарищей стала особым братством, что братьями мы и останемся до последних минут своей жизни, один за всех и все за одного. Каждый почувствовал общую боль, общее горе, грядущие муки и страдания. И хотя никто еще не представлял себе этих мук, все понимали: «что-то» должно произойти. Каждое «преобразование», как нам хорошо известно, сулит только одно — переход от жизни к смерти.

Ожидание длится недолго, вскоре выясняются некоторые подробности: рапортшрайбер[210] начинает вызывать по номерам тех товарищей, которые не останутся работать в крематории.

И вот постепенно общее напряжение начало спадать, общий страх, страх за всех, сменился личным, страхом только за себя: ужас покинул тех, кто был абсолютно уверен, что его номер назван не будет. Для нашей семьи эта минута стала роковой: между нами — пусть медленно и незаметно — стала расти пропасть. Соединявшие нас нити ослабли. Наш братский, наш семейный союз дал трещину. Вот она — слабость, нагота того существа, которое называется человек. Инстинкт выживания, теплившийся где-то в глубине каждого из нас, превратился в опиум — и незаметно, незримо отравил в каждом из нас человека, друга и брата, вытеснил сочувствие: «Это тебя не касается, ты можешь быть спокоен, пока «вызывают» кого-то другого», — и заставил забыть, что «кто-то другой» — это твой брат, это тот, кто остался у тебя вместо жены, детей, родителей, всей семьи...

Недавних братьев опьянило незнакомое дотоле чувство, и они забыли, что если жертвуют одним из них, то и в жизни другого скоро уже не будет необходимости. Для каждого надежда на лучшее и уверенность в том, что «пока» лично ему ничего не грозит,

стали утешением, источником мужества и сил, — и на месте прежней любви между нами пролегло отчуждение. Каждый новый номер, который выкрикивал рапортшрайбер, как динамит, разрушал соединявший нас мостик.

Ужас охватил только тех, чья судьба сейчас решалась, чьи мнимые гарантии могли исчезнуть: спасет ли их то, что они приписаны к работе здесь? Мы заметили, что те, чьи номера еще не прозвучали, стараются отодвинуться подальше, вжаться в стену. Как бы они сейчас хотели убежать, спрятаться где-нибудь, где бы их не настиг взгляд лагерфюрера[211] и его свиты: кто знает, на кого еще они обратят внимание? Одно их слово выделяет тебя из толпы, из группы, в которой, как тебе кажется, ты чувствовал бы себя лучше или, по крайней мере, более уверенно.

Все хотят, чтобы чтение списка закончилось как можно скорее. Каждый хочет избавиться от гнетущего чувства беспокойства и неуверенности.

Тяжелее всего тем, кого несправедливо отделили от группы приписанных к крематорию и заставляют встать в ряд отъезжающих, чтобы занять место кого-нибудь из привилегированных, кто в последний момент «раздумал» ехать или до последнего не верил, что до этого дойдет, обнадеженный своими «покровителями» — штурмфюрером или лагерфюрером... Их горе было вдвое больше нашего: их ведь уже оставили здесь — но вдруг приказывают встать в другую колонну, занять чье-то пустующее место. Им кажется, что они ложатся в пустую могилу, которую выкопал кто-то из тех, привилегированных заключенных.

Все разделились на две группы: приписанные к крематорию и не приписанные. Черные тучи, висевшие на нашем горизонте, застыли между двумя этими группами, и казалось, что над нами небо стало немного светлее, а над ними нависла черная мгла. Те, кто был полностью уверен, что его оставляют, успокоились. А те, кого точно высылали, были охвачены болью и ужасом. Немой вопрос — куда? чего ждать? — казалось, наполнял все пространство, где они находились, висел в воздухе. Перед их глазами как будто появилось огромными буквами написанное слово: КУДА? Все существо их, душа и сердце, были охвачены ужасным размышлением, разрушавшим, сжигавшим их личность: куда нас повезут? Что нам предстоит?

Вера

Все мы были уверены, что им не удастся осуществить задуманное так легко. Мы, работники зондеркоммандо, братья, при первой попытке разорвать нашу семью — мы покажем себя. Нас-то не удастся убедить, что нас повезут на работу, на которую надо

послать именно нас и никого другого. Мы были свидетелями того, как тысячи самых нужных людей, самых ценных для Рейха кадров, скажем, работники фабрик по производству обмундирования, были привезены сюда и сожжены в крематории.

Нет, эти рафинированные бандиты-обманщики не смогут убедить нас в необходимости перебросить нас на другой объект. Нет, нас они так не обманут! Как только они притронутся к нам — к единой семье, к единому организму, — мы очнемся и, как раненый зверь, бросимся на врага — на этих извергов и преступников, истребивших наш безвинный народ. Наступит решающее мгновение, и мы скажем свое последнее слово. Как лава из вулкана, вырвется давно кипевшая в нас жажда мести. Мы положим конец кошмару, в котором мы вынуждены были жить пятнадцать месяцев.

Мы надеялись, мы верили, мы были глубоко убеждены в том, что, когда мы столкнемся лицом к лицу с опасностью потерять свою жизнь, — мы сумеем очнуться и увидеть страшную действительность без прикрас, поймем, что все наши мечты и чаяния были лишь пустыми фантазиями, иллюзиями, которыми мы сами были рады обманываться, чтобы не замечать той смертельной опасности, которая постоянно нам угрожала. Мы надеялись, что когда мы почувствуем, что у нас нет больше шансов остаться в живых, чтобы дать достойный отпор врагу, отомстить этому варварскому народу за преступления, которым в человеческой истории еще не было равных, — тогда уже мы не будем больше ждать! Когда мы поймем, что для нас уже копают могилу, что под нами уже разверзается пропасть, — тогда и наступит великая минута. Выплеснутся весь гнев и вся ненависть, вся мука и вся боль, долго — в течение пятнадцати месяцев ужасной работы — зревшие в нас и питавшие желание отомстить. Когда придет пора защитить свою жизнь и отомстить — тогда вулкан проснется. Все без исключения, вне зависимости от физического состояния и характера, будут охвачены жаждой мести и героическим порывом.

Мы все, стоя на краю могилы, на последнем издыхании, вместе дадим ответ на страшный вопрос: почему же мы жили в самом сердце преисподней, почему мы могли здесь существовать, почему могли дышать воздухом смерти и уничтожения нашего народа?

В это мы все верили...

Хотя бы один

Мы все были в страшном напряжении, наши чувства бурлили, воздух как будто раскален, а люди — как порох: хватило бы даже искры, чтобы занялось пламя. Эта искра тлела в наших сердцах,

ожидая дуновения ветра, который бы ее раздул, — но суровая холодная волна потушила ее.

Проклятые преступники, эти негодяи, чье единственное желание — выследить нас, поставить нам капкан, поймать нас, — поняли наши намерения и почувствовали наш настрой. Они прочли самые сокровенные наши мысли и увидели в них нашу духовную наготу. И, чтобы избежать нежелательных последствий, чтобы беспрепятственно осуществить задуманное и избавиться от нас, они обратились к старому известному принципу, ставшему девизом британской политики: «Разделяй и властвуй».

Они разделили нашу семью, уничтожили всеобщее чувство опасности — отныне боялись только «неприписанные». В ту минуту, когда братья, оставленные на работе в крематории, смогли забыть об этой опасности — опасности лишиться своего места, которое казалось им надежным, — у нас больше не осталось общих чувств и стремлений. Те, кто продолжал еще питать иллюзии в отношении своей судьбы, кто надеялся выжить, пережить этот кошмар, — оказались безоружны. У них пропало желание бороться. Инстинкт самосохранения не позволял им и помыслить о борьбе и мести.

Мы разделились на две группы — каждая думает о своем и каждая боится своего. Одна — над которой уже нависла страшная угроза, — и другая, которая еще не осознает опасности.

Бывшие братья стали друг другу чужими. Те, кого увозят от нас навсегда, сейчас стоят, бессильно опустив руки. Уверенность в завтрашнем дне, казавшаяся незыблемой, исчезла, и от братских чувств, от ощущения общей ответственности — один за всех и все за одного — не осталось и следа. Однако связующая нить между теми, кто уезжает, и теми, кто остается, порвана еще не полностью, ведь «приписанные» все-таки помнят, что им угрожает не меньшая опасность, и каждый из нас чувствует себя так, как будто от его тела живьем отрывают куски.

И все же разница между нами есть: привилегия, полученная теми, кто остался приписанным к крематорию, дала им право думать, что первыми, кто ввяжется в бой, должны быть «они» — люди, над которыми уже занесен меч. Человеческая слабость — страх рисковать собой, страх потерять свою все равно обреченную жизнь — нашла себе хорошее оправдание.

Все смотрели на братьев, выстроившихся в колонны на плацу. Казалось: одно их движение — и мы бы тоже, не раздумывая, ринулись в бой. Все с радостью поддержат их порыв, все напряженно ждут того, что должно произойти в ближайшие минуты.

Но и тут стрелы наших врагов поп&аи в цель: разделение сбило с толку и тех, кому, казалось, уже нечего терять. Они видели, что

между нами и ними выросла железная стена, что они остались в одиночестве и что нас с ними уже ничего не связывает. В это же заблуждение впали и мы. Если бы нашелся хоть один человек, который сохранил бы способность трезво мыслить, не поддался бы оглушающему действию разделения, этому опиуму, который бандиты влили в наши окаменевшие сердца, если бы он бросился в бой — тогда бы произошло чудо. Его воля окрылила бы всех нас, его движения вызвали бы бурю, из искр, тлеющих где-то в глубине, вспыхнуло бы пламя — и мир впервые услышал бы предсмертный вопль изверга и ликующую песнь победителей, детей истребленного народа.

Это был наш шанс, мы уже чувствовали муки, в которых должно было родиться что-то новое и небывалое, муки мести и героизма, — но в этих муках появилось на свет совсем другое дитя — трусость.

В бараке

Нас загнали в барак, в нашу прижизненную могилу. А там, снаружи, под надзором лагерных бандитов остались стоять они, наши братья.

Мы вбежали в барак и остановились как вкопанные, как если бы мы были здесь в первый раз. Все как будто онемели, не находят себе места. Никто не осмеливается подойти к своим нарам и сесть или лечь, а тем более сказать что-нибудь, нарушить мертвую тишину.

Все чувствуют трагизм ситуации, каждый осознает, что сейчас разыгрывается ужасная сцена, в которой он соучастник, но вдуматься в происходящее он не в силах. Мы собираемся в маленькие группы, чтобы объединить свое горе с горем друга. Все чувствуют, что в воздухе нависло тяжелое ощущение беды, и оно исходит от толпы, стоящей снаружи, заполняет барак целиком и проникает повсюду, ложится тяжким грузом на сердце и душу, — но что это за чувство, в чем оно состоит, мы не можем понять.

Одно мы чувствовали — что там, за стеной, стоят они, самые дорогие и близкие нам люди, с которыми вместе, одной семьей мы еще час назад вышли из барака и вместе же должны были вернуться — когда бы не пришла беда. Их удерживают на плацу, и вместе нам теперь никогда не быть.

В одночасье между нами и ими выросла стена: мы здесь, в бараке, а им больше не попасть сюда. Мир разделился надвое. Эти негодяи, чей радостный победный клич мы вынуждены слышать, разорвали наш единый организм на две половины. Они кромсают скальпелем нашу плоть. Мы чувствуем, что еще связаны с нашими несчастными братьями тысячью нитей. Мы в бараке, а они —

там, за стеной, но мы уже чувствуем мучительную боль этого разрыва. Мы слышим споры и разговоры товарищей — и знаем, что это их последние слова. Но полностью осознать горе, оглушившее нас, — о нет, этого сделать мы не в силах.

Расставание

В печальной атмосфере барака раздался пронзительный свирепый голос: он отдал приказ и этим поднял на ноги людей, погруженных в свое глубокое горе. Голос потребовал: «Все на выход!».

Никому из нас нельзя больше оставаться в бараке, потому что наши братья, стоящие на плацу, должны прийти сюда, взять свои вещи, свой паек — и навсегда расстаться с бараком, ставшим им домом, с лагерной жизнью, а нам, самым дорогим для них людям, друзьям, ближе которых у них никого на свете не осталось, больше нельзя быть с ними. Мы, их немногие оставшиеся в жизни братья, на кого варварская рука еще не опустилась, тоже тяжело переживаем эту минуту, когда брат, который для нас сейчас больше, чем брат (ведь он заменяет и родителей, и жену, и детей), лишен этого последнего утешения — пожать нам руки, расцеловать нас и попрощаться. Они хотят выразить свои братские чувства в момент расставания.

Нас выгоняют на улицу. Никто не может устоять на месте. Нервные, перепуганные люди сбиваются в группки и ходят туда-сюда, одни разговаривают, другие молчат, все подавлены, все переживают минуты мучительной боли. Все чувствуют, что должны быть сейчас не здесь, а там, за стеной, в бараке, откуда уже скоро выйдут наши братья: ведь нам хочется быть рядом с ними. Каждый из нас чувствует, что привязан тысячью нитей к тем людям, которые бегают по барачу, чтобы взять свои вещи. Каждому кажется, что, стоя на улице, на самом деле он находится там, внутри. Он и тот, кто в бараке, — сейчас едины душой и телом, они не могут расстаться, разделиться, — но варварская рука режет по живому их единое сердце, отрывает их души одну от другой. Они ощущают это горе, боль хирургической операции, которая сейчас происходит.

Каждый хотел бы утешить несчастных, дать им надежду, воодушевить их, чтобы они мужественно держались до последней минуты. Каждый разделяет страдания, которые переживают сейчас наши братья, навсегда уходя из барака, в котором они прожили пятнадцать месяцев. Каждый из нас чувствует, как те смотрят на нас из-за стены и хотят встретиться взглядом с нами, их братьями, преисполненными скорби и тоски. Некоторые из нас прислоняются к холодным стенам, чтобы попытаться расслышать, о чем говорят они в последние минуты перед тем, как уйти наве-

гда. Как будто стена — единственная преграда между ними и нами — разорвала наши сердца и души.

Вдруг наступила тишина. Братья, отправляющиеся в путь, бросили последний взгляд на барак и под конвоем вышли на улицу.

Мы говорим друг другу: «Они уже выходят!». В сердце защемило: все чувствуют, что что-то должно произойти. Нам предстоит последняя сцена расставания. Каждого пронзает дрожь в ожидании ближайших минут: все мы знаем, что мы тоже соучастники происходящего и с нами, вероятно, тоже собираются сейчас что-то сделать.

Мы собрались в одну толпу, встали напротив них. Каждому из них хотелось выговориться перед нами — ведь мы казались им счастливыми, — подбежать к нам, обменяться парой слов, обнять нас. Братские чувства переполняют их, они хотят излить эти чувства на нас. Каждый, даже тот, с кем ты час назад чувствовал себя чужим, стал теперь любимым и дорогим. Хочется броситься им — хоть кому-нибудь — на шею, обнять, расцеловать, проронить слезу им на грудь, чтобы она достигла их изболевшегося сердца и смягчила боль. Всем теперь хочется многое им сказать, доверить какую-нибудь тайну. Все хотят поделиться с ними своей обманчиво счастливой участью, чтобы утешить их, ободрить и обнадежить, — но они так и застывают, раскрыв нам свои объятия: лагерная охрана уже нас разделила.

Но мы встретились с ними взглядом. Они смотрят на нас глазами, полными зависти. И хотя они понимают, что в конце концов нас ожидает то же, что и их, — все равно очевидно, что они завидуют нам: ведь мы пока что остаемся здесь, мы войдем в освещенный барак, сядем к теплой печке или ляжем на нары и забудемся во сне, отрешимся от ужасного вчерашнего дня, от ужасного сегодня и от еще более страшного завтра, — а их, как пятнадцать месяцев назад, отведут в баню, заставят снять теплые вещи, скинуть сапоги, дадут им деревянные колодки, которые оттягивают ноги, как кандалы; они будут дрожать от холода и ветра, как тысячи других людей, которых мы видим каждый день. А куда их поведут потом? Что их ожидает — не то же самое ли, что постигло миллионы наших братьев и сестер, которых выгнали из дома и увели якобы на работу? Их путь был прост: их привезли в крематорий — и вскоре от них не осталось и следа. [...] Мы сочувствуем им, нам хочется сказать слова утешения, взять на себя часть груза их страданий, который терзает их сердце. Но нам приходится безмолвно стоять, подавляя в себе бурлящие чувства.

И вот пробил последний час, наступила последняя минута.

Толпа, выстроенная в колонны, уже готова. Людей пересчитывают. Да, все верно.

Двести братьев оторвали от нас, чтобы увезти неизвестно куда, в пугающий таинственный путь. Мы провожаем их взглядами, полными жалости, мы готовы помочь им, дать им все, что у нас есть, все, что им нужно. Но приходится неподвижно стоять на месте.

Послышалась команда: «Шагом марш!».

Все тяжело вздыхают. Мы чувствуем, как обрывается последняя нить, связывавшая нас. Наша семья разделена, наш дом разорен. Они идут. Сердца тех, кто уходит, и тех, кто остается, бьются созвучно. Мы смотрим им вслед. Каждый из оставшихся шепчет свои последние пожелания и благословения.

Вдалеке еще видна огромная движущаяся тень: это люди идут по вымершей улице. Двести братьев отправляются в последний путь, задуманный дьяволом. Они идут, испуганно пригнув головы. Мы не можем оторвать от них взгляда, и это единственное, что еще нас связывает.

Вдруг все исчезло. Плац безлюден, их места пусты, мы стоим, осиротевшие и одинокие. Наши глаза еще смотрят туда, где исчезли наши братья.

Снова в бараке

Как семья в трауре, что проводила в последний путь своих близких и возвращается домой с кладбища, — вот как мы себя чувствовали.

Как безутешные родственники, которые снова и снова возвращаются взглядом и мыслями к кладбищу — месту, где они только что оставили своих родных, часть своей жизни, — и не могут перестать думать о нем, — так и мы чувствовали себя в ту минуту, когда нам велели идти обратно в барак.

Траурная процессия, тяжелой вереницей тянущаяся с погоста, все идут, низко опустив голову, погруженные в свое горе, — так и мы возвращались в наше жилище.

Как близкие люди, потерявшие любимого родственника, ощущающие боль свежей раны, нанесенной жестокой смертью, — так и мы горевали тогда.

Как люди в трауре, все существо которых пронизано страшным переживанием перехода от жизни к смерти, — такими были и мы в тот момент.

Потеряв близкого, чувствуешь, что лишился части себя самого, без которой не можешь жить, что ты сам разорван на куски, — с таким камнем на сердце мы возвращались к открытым дверям барака.

Как семья, возвращающаяся в дом, откуда несколько часов назад вынесли безжизненное тело близкого человека, — так и мы

чувствовали себя. Духом печали и смерти был наполнен весь барак.

Как овдовевшие и осиротевшие, ходили мы на подгибающихся ногах по окаменевшему земляному полу и полными слез глазами смотрели на лежащие в беспорядке вещи, которые в отчаянии разбросали по всему бараку наши братья.

Как скорбящие, входя в комнату, где лежало тело покойного, чувствуют, как отовсюду веет смерть, так и нам казалось, когда мы вошли в наш общий барак, где еще недавно жили наши братья: воздух насыщен горем, отовсюду — от стен, от нар — веет несчастьем. Еще недавно здесь билась жизнь, в каждом уголке теплилось ее дыхание, — и вдруг она исчезла, а вместо нее — что-то мертвое, пустое, застывшее, неподвижное, оно пугает, как призрак, преследует тебя, как злой рок, и пронизывает тебя насквозь, проникает в сердце, в душу — и ты сам как будто уже не жилец.

Как убитые горем родственники смотрят на вещи покойных — так мы смотрели на пол около нар наших ушедших братьев: там были разбросаны вещи, еще недавно необходимые, а теперь — словно рецепты, оставшиеся после человека, умершего от тяжелой болезни. Эти вещи уже ничьи, никому больше они не принесут пользы — только вызовут мучительные воспоминания о том, с кем ты был связан множеством нитей — и который исчез навсегда. Ты наступаешь на какую-нибудь вещь — и останавливаешься, пораженный внезапной болью: эта вещь еще недавно принадлежала твоему брату, она хранит тепло его рук и взгляд, который он бросил на нее, прежде чем в отчаянии швырнуть ее на землю.

Явственно ощутили мы свое сиротство, когда подняли глаза и увидели эту ужасную пустоту, от которой исходил дух смерти. Казалось, из этой смертельной пустоты протягиваются невидимые руки, чтобы схватить оставшихся в живых и наполнить ими бездну.

У скорбящих по ушедшим близким глаза полны смертью. Они не могут освободиться от нее, потому что ощущение смерти уже стало неотъемлемой частью их жизни. Мы испытывали то же самое: смерть рядом, мы не можем избавиться от ее присутствия. Жизнь и смерть — две противоположности, всегда отделенные одна от другой полосой боли, — здесь слились воедино.

Как тот, кто потерял близких, старается сохранить память об ушедших, запечатлеть в сердце их облик, — так и мы жили воспоминанием о тех, кого мы потеряли. Мы поняли, что братья, которых оторвали от нас, были частью нашего организма. Каждой клеточкой тела мы ощущали эту потерю.

Как теперь жить? Как думать и чувствовать? Теперь мы и шагу не можем ступить без братьев, которые покинули нас.

Свой угол

В бараке у каждого из нас есть свой бокс. Это личное пространство каждого, это угол, который только и остается тебе на этом проклятом куске земли, несчастнейшем на свете. Он становится тебе близким и преданным другом, братом, чутким к твоим страданиям. Он заменяет тебе дом, семью, жену, ребенка. Это то немногое, что отпущено тебе в этом дьявольском месте, в этом мире жестокости, зверства и варварства, где человеческие чувства давно потеряли цену.

Теперь боксы ушедших как будто облеклись в траур. Они стоят, как мать, скорбящая о детях, которых внезапно забрали у нее. Подойди — и ты услышишь ее плачущий голос. Вот фотографии детей, что были тебе братьями, а теперь навсегда исчезли.

Вид этих боксов напоминает тебе, что с каждым, кто в них жил, ты был знаком уже пятнадцать месяцев. Всех их ты видел каждое утро, каждый день и каждый вечер. С ними вместе ты пережил множество событий. И вот ты видишь их — еще живых, полных сил, ты чувствуешь их взгляд, смотришь им в глаза [...]

Это какая-то дьявольская игра: ты видишь их еще при жизни, слышишь их голоса — и вдруг все исчезает, как будто мгновенно уходит под землю.

Сколько разных людей, сколько лиц и характеров было здесь! Каждый вечер внизу садились вместе глубоко верующие и при свете свечей изучали проким[212] из Мишны[213] и углублялись в споры мудрецов Талмуда; недавно обратившиеся к вере читали псалмы и маймодэс[214] или вслушивались в спор знатоков о законах Шулхн-Орэха[215]. Были и те, кто старался отвлечься, занявшись игрой или какой-нибудь чепухой: свое горе они пытались замаскировать внешней беспечностью.

Эти вечера вносили разнообразие и яркие краски в серо-черную лагерную жизнь, в наше трагическое бытие.

Это был островок гармонии в этом адском мире, из каждого бокса будто бы доносился свой тон — и все они складывались в общую мелодию.

В каждом боксе шла своя жизнь, которая незримо поддерживала нас, вселяла в нас уверенность, мужество и надежду, которые были нам так необходимы, делала наше существование осмысленным, пряла невидимые нити, которые связывали нас в неразлучную семью.

И вот теперь мы стоим у края могилы, откуда смотрит на нас страшная смерть. Когда ты оказываешься рядом с боксами ушедших, ты чувствуешь, как неживые предметы грустят о людях, которые еще вчера были здесь. Эти боксы могут рассказать о страданиях и муках, которые выпали на долю их бывших хозяев,

о тех днях и ночах, когда только они и слышали тихие рыдания, что вырывались из измученной груди этих несчастнейших из людей.

В те ужасные дни, когда наши братья искали друга, с которым они могли бы разделить свои страдания, сердце, которое могло бы понять их муки, — рядом не было никого, кто был бы готов выслушать их, потому что все вокруг тонули в том же море мук и боли, и каждый желал обрести друга, которому он мог бы все рассказать. И все мы душили в себе эту боль, загоняли глубже свои страдания, старались заглушить наше несчастье, — и тяжелая цепь наших мучений все прирастала, давила на нас огромным грузом, сжимала нас, придавливала к земле, ломала. И тогда каждый из нас шел в свой бокс, всегда готовый принять страдающего: в боксе было место для обессиленного тела, можно было лечь и укрыться одеялом, как в детстве, телу и душе становилось тепло, спадало страшное оцепенение, в котором мы проводили весь день, из глаз лились потоки жарких слез... [...] И от всего этого — и от тепла, и от слез — становилось легче на сердце.

В боксе, в атмосфере тепла и уюта — насколько только возможен уют в этом страшном месте, — каждый переносился мыслями в детство, вспоминал о родителях, а потом о жене, о собственных детях. Перед глазами вставали картины прежней жизни: все вместе — дети и родители, муж и жена — жили в счастье и спокойствии. А что сейчас? Сейчас он, одинокий, без жены и ребенка, потерявший родителей, лежит здесь. Он вспоминает этот кошмар: ведь он своими глазами видел, как всю его семью сожгли. Но тогда он стоял в тупом оцепенении и не мог осознать произошедшего, и только сейчас, в момент воспоминания, на его глазах показались слезы. Уже давно ждал он того часа, когда сможет оплакать своих родных: родителей, жену, ребенка, братьев и сестер, — но сделать это он долго не мог, потому что живых чувств в нем, казалось, уже не было. И только сегодня он пережил, наконец, момент пробуждения: тепло растопило лед его сердца, и слезы омыли его неизлечимые раны. Какое счастье это принесло его измученной душе!

Наши боксы, казалось, переживали те же события, что и мы. Когда мы уходили на работу, они как будто бы с нетерпением ожидали нашего возвращения, чтобы узнать, что мы видели за день, сколько тысяч жизней оборвалось на наших глазах, откуда привезли этих несчастных людей и как их умертвили... Сколько страшных тайн, сколько душераздирающих рассказов хранят эти холодные доски!

В бессонные ночи, когда мы металась в муках и не могли успокоиться, потому что бурные волны нашего горя швыряли нас из

стороны в сторону, — только от этих досок и могли мы ожидать сочувствия.

Мы возвращались к своим нарам, измученные страшными переживаниями и физическим истощением, разбитые, сломленные, в отчаянии — и в изнеможении падали, как подрезанные колосья, в объятия сна, и всю ночь без перерыва слышались тяжелые, полные страдания и муки вздохи, вырывавшиеся из наших сердец, изошедших кровью и болью. Один отчетливо вскрикивал: «Ой... ой... мама... мама...». Другой, изнемогая от тяжелого кошмара, произносил одно слово: «Папа...». Третий метался во сне, кричал, заходил в истерических рыданиях и бормотал имена жены и ребенка. Ночью все снова и снова переживали несчастье, уже давно постигшее их семью. Каждый снова видел, как его самых дорогих и близких безжалостно вырывают у него из рук. Его окружили какие-то люди-изверги, у всех жестокий, пронзительный взгляд. В руках у них были револьверы и винтовки. Он просит их, плачет, кричит, но никто не слышит его — и он убегает. [...] Через несколько минут он видит своих близких уже раздетыми догола: вот мать, отец, сестры, братья, жена с младенцем на руках. Их всех выгнали из барака и заставляют идти босиком по холодной, как лед, земле. Ветер хлещет их обнаженные тела. Несчастные дрожат от страха и холода, плачут, жалобно вскрикивают, в ужасе оглядываются по сторонам. Им не дают остановиться. На них бросаются дико воющие собаки, кусают, отрывают куски тела... У одной женщины собака вырвала из рук ребенка и треплет его, тащит по земле. Небо дрожит от криков. Матери бьются в истерике. Кажется, что на этой проклятой земле разыгрывается какой-то невообразимый дьявольский спектакль: голые женщины, мужчины, дети убегают от собак, которых на травливают на них люди в военной форме с палками и нагайками в руках.

Вдруг в этом хаосе, среди жутких криков он расслышал знакомый голос: его старая мама упала на землю, а сестры пытаются ее поднять, но не могут. К ним уже несется какой-то негодяй с палкой, бьет их — мать и сестер — по голове. Видеть это невыносимо, он бросается к маме, хочет подбежать и всех спасти — но не может.

Тут же слышит он крик жены: треснул лед, и она упала в воду вместе с ребенком. Она зовет на помощь, двое каких-то людей тащат ее, как труп, за руки, младенец захлебывается и тонет в ледяной воде, — а вокруг стоят люди с собаками и цинично смеются, как будто перед ними разыгрывают комедию. Он срывается с места, бежит к тонущим, хочет подхватить их, вытащить из воды, дать им теплую одежду и убежать с ними куда-нибудь — но

он в ловушке, связан по рукам и ногам и не может сдвинуться с места.

Вот он снова видит родителей, братьев и сестер. Мама лежит на холодном цементном полу, сестры придерживают ее голову, покрывают ее поцелуями, отец и братья плачут... Где же его жена с ребенком? Он ищет их — наконец увидел: жена лежит, вытянувшись на земле, ребенок около нее, — а рядом стоит убийца с револьвером в руке и прицеливается. Он кричит во сне, воет, как раненый зверь. Его товарищ, спящий на соседних нарах, проснувшись от криков, разбудил его. И вот он лежит, оглушенный, ничего не понимает, как будто только что побывал на поле боя. Как только брат ни просил его рассказать, что же ему снилось, — он отказывался. Тихо плача, в ощущении кошмара от только что пережитых событий, он так и лежал, не проронив ни слова, до утра.

Бывали и радостные ночи они как биение живого источника в этой окаменевшей мертвой пустыне. В эти ночи мы прижимались к унылым доскам, как к телу любимой. В эти ночи сон принимал нас, несчастнейших детей этого мира, в свои объятия, и возвращал к прежней жизни, в счастливую атмосферу прежних дней, от которой при свете дня мы безнадежно оторваны. Ночь щедро возвращала несчастному его дом, родителей, братьев и сестер, жену и детей.

Этот человек, днем похожий на тень — несчастный, изможденный, — теперь доволен и беззаботен, на его лице появилась улыбка: он снова в кругу семьи. Отец, мать, сестры и братья (даже те, кто обычно в отъезде), он сам с женой и ребенком — все собрались и вместе сидят за празднично накрытыми столами, едят, поют, смеются, рассказывают анекдоты. Он, молодой отец, играет с ребенком, тот весел, прыгает и танцует. Все счастливы и довольны: в доме праздник, у всех приподнятое настроение, все наслаждаются покоем и беззаботной радостью. Его жена поет — и все очарованы сладостными звуками ее голоса. Пение проникает в сердце, наполняет душу и тело — и все подхватывают приятную мелодию, подпевают. Эти сладкие звуки окрыляют, возносят... И он так счастлив, перед ним открывается новый фантастический мир...

Вдруг пение прервалось. Раздался какой-то резкий звук, от которого он проснулся. Это лагерный гонг: пора вставать. А он остался лежать, оглушенный, как будто без сознания. Где он? Неужели это только сон? Он еще видит их лица, слышит их беззаботный смех, руками он еще чувствует тепло ребенка, которого только что прижимал к сердцу. Казалось, только что он говорил с женой, он даже помнит о чем! Неужели все это было только

сном? И всех их — мамы, папы, сестер, братьев, жены и сына — уже давно нет на свете? Да, их всех давно сожгли, а он остался один в этом дьявольском мире, одинокий и несчастный. О, зачем гонг разбудил его? Как счастлив он был бы, если бы мог погрузиться в такой сладостный сон навечно — и больше не просыпаться! О, это была бы поистине счастливая смерть!

А сейчас он, бессильный, полный досады и отчаяния, поднимает усталую голову, встает, натягивает свою робу и неверной походкой идет на плац, чтобы оттуда, после построения, снова отправиться на свою адскую работу.

А его бокс опустел, и кажется, что он по-отечески грустит и ждет своего дорогого сына.

Построение или траур?

Нас снова вызвали на плац, где совсем недавно разыгралась ужасная сцена расставания. Сейчас будет наше первое построение после акции. Сейчас нам объявят официальные данные: число оставшихся и статус, утвердив произведенный над нами чудовищный эксперимент.

Мы, как обычно, строимся в ряды по десять — и половина плаца остается пустой. Смертью веет от этой половины. Ты чувствуешь ее, ощущение близко стоящей смерти охватывает тебя и не отпускает: еще сегодня, на обычном утреннем построении, все они, наши братья, были здесь — а теперь на их месте какая-то зияющая пустота.

Ощущение такое, будто тебя разрезали пополам и у тебя осталась половина тела, ты с трудом держишься на ногах. Рана еще свежа, кровь на ней еще не запеклась.

Все стоят, опустив головы, сгорбившись. Не слышно разговоров: никто не осмеливается нарушить хоть словом эту печальную, мертвую, неподвижную тишину. Все охвачены горем, которое разлито везде и проникает повсюду — как будто плаваешь в море печали.

Нас считают — все сходится. Нас осталось 191 — меньше половины. Мы строимся по номерам и ждем. Рапортшрайбер вызывает нас по картотеке, выкрикивая номер карточки и имя. Карточки, обладателей которых уже нет с нами, остаются лежать в стороне — теперь они ничьи. Их хозяева где-то далеко и ждут в ужасе своей участи.

И нам начинает казаться, что эти карточки — живые существа, связанные и скрепленные друг с другом. Они составляют свое особое семейство, неразрывную цепь. А мы против своей воли присутствуем при последнем акте расставания, как будто сейчас от нас отрывают кого-то еще: на наших глазах уничтожается

единственная память об их жизни, последнее свидетельство их родства с нами — нам начинает казаться, что мы действительно кровные родственники, что когда-то мы прибыли в лагерь одной семьей.

Сцена расставания подходит к концу.

Вот стоят два ящичка с карточками. Кажется, что карточки двигаются, как живые, что они чувствуют и мыслят — и сейчас прощаются друг с другом. Такое впечатление, что если подойти поближе и прислушаться, то услышишь тихие слова прощания и запоздалые пожелания, с которыми карточки оставшихся братьев обращаются к карточкам 250 ушедших: они хотят быть с ними вместе, проводить в страшный путь, который приготовил для них дьявол. Кто знает, куда ведет несчастных этот путь?

Первая ночь

Мы расходимся по боксам — и кажется, что мы садимся не на нары, а на траурные скамейки. Все охвачены скорбью, и каждому хочется высказаться. Трагедия, только что разыгравшаяся на наших глазах, всех привела в смятение.

Люди, оглушенные недавней смертью близких, забывают, что у них есть тело — живое тело, которое требует своего. Так и мы: каждый напоминает товарищу, что надо встать и поесть. Мы ищем друг у друга утешения и ободрения.

Братья, делившие нары с теми, кого уже нет, подходят к своим боксам, дрожащими руками берут свои одеяла и ходят по барaku в поисках нового места для сна, потому что оставаться на старом они не в силах: еще вчера здесь был брат — а теперь его постель пуста, холодна и мертва.

Медленно тянутся печальные часы, ложатся тяжелой массой в своем монотонном течении. Даже самые твердые, самые храбрые и нестигаемые из нас охвачены горем. Потихоньку все уходят к себе в боксы и ложатся, накрываясь одеялом: мы все хотим хоть ненадолго освободиться от гнета нашего горя, забыться во сне.

Уже поздняя ночь. Все тихо, мертвое оцепенение охватило барак. Слышны только стоны и тяжелое дыхание несчастных: и во сне не найти им покоя. Из опустевшего конца барака веет печалью, горе наполняет все пространство, и нет от него спасения, как нет преграды между жизнью и смертью: оцепеневший мертвый мир неотделим от жизни — печальной и обреченной.

Осиротело горит лампочка, освещает пустые нары, которые, казалось, тоже скорбят по ушедшим. Кто знает, где они и что они? Наверное, сидят где-нибудь, дрожа от ужаса, изнемогая от бессонницы, — и негде им преклонить голову. В ночной тишине будто бы слышен горестный вопрос: почему, почему их забрали? Куда

лежит их путь?

Лампочка горит, ее светом залит мертвый мир... Смотришь на нее издалека — и кажется, что это поминальная свеча, зажженная в память о двухстах жертвах.

Траурное утро

Прозвенел лагерный гонг: довольно, довольно вам отдыхать, враги и преступники! За работу, проклятые, ваш адский труд ждет вас!

Сегодня мы все встали раньше времени: бессонная, полная кошмаров ночь измучила нас, мы с трудом дождались утра. Обычно мы стараемся пролежать лишнюю минуту под одеялом, продлить ночь, — но не сегодня. Уже с первым звуком гонга мы все вскочили и оделись.

В бараке слишком тихо, не хватает того шума, который раньше поднимала при пробуждении наша семья — пятьсот человек[216]. А теперь — грустным серым утром — нас снова охватило ощущение близкой смерти. Вот мертвенно пустые боксы... Раньше в них билась жизнь, а теперь — ни слова, ни звука.

Пустая половина барака замерла в неестественном оцепенении. А ведь каждое утро именно оттуда доносились первые за день слова, первый утренний шум — и мы знали, что начинается новый день. Мы еще лежали под одеялом, слабые утренние лучи пробивались в окна — а оттуда уже были слышны звуки молитв. Эти звуки разносились повсюду, наполняли сердце и душу и напоминали каждому о доме, о детстве, о тех молитвах, которые читал по утрам отец или дед, — или о молитве, которую читал он сам, прося о жизни и счастье для себя и своей семьи. Сейчас остается только тяжело вздохнуть: очень не хватает этих слов, этого призыва, этой гармонии. Оказывается, каждое движение, каждое слово всех этих людей были незаменимыми деталями нашей машины: теперь их нет — и машина стоит неподвижно.

Исчезла часть нашей жизни. Каждое утро они будили нас, звали пить кофе, — а теперь никто не будит и не зовет, как будто [...] стало не нужным ни для кого.

Все движется так спокойно, так медленно... Вокруг полная апатия. Кажется, что биение жизни они унесли с собой, что с их гибелью жизнь ушла отсюда навсегда. Расчленив наш единый организм, убийцы уничтожили все живое: оставшиеся потеряли волю к существованию. Куда бы ты ни пошел, куда бы ни ступил — всюду понимаешь, как тебе не хватает тех, кто уже не вернется. Везде, за любым занятием ясно чувствуешь, что в твоём теле не хватает какого-то важного органа.

Вот так выглядело первое утро после нашего расставания...

«Приступить к работе!»

«Всем приступить к работе!» — скомандовал капо. Сегодня каждый из нас занимает особое, важное место в нашей команде — как отец, у которого смерть забрала половину детей и который бережет оставшихся в живых. Никто из нас по собственной воле не задерживается в бараке: все хотят убежать от этой пустоты, от скорби, которой насыщен воздух в нем.

Мы выходим на плац — но и здесь остро чувствуем, как нам не хватает ушедших. Еще вчера в это время мы шли вместе с ними, говорили — и обрывки этих разговоров еще живы в нашей памяти. А сегодня — кто знает, что с ними сейчас, куда их увели... Нам хотелось как можно быстрее выйти за ворота: может быть, мы сможем увидеть наших братьев, посмотреть на них в последний раз, обменяться прощальными взглядами... Но даже этого нам не позволили. Их погнали к поезду раньше, чем выпустили нас, и когда мы подошли к воротам, они были уже далеко. Как удалось узнать, наши братья были одеты в арестантские робы, на ногах — деревянные колодки, теплые вещи и сапоги у них отобрали, чтобы сразу унижить, измучить морально и физически.

За воротами нам не стало легче, каждый шаг приносил лишь страдания: ведь по этой земле совсем недавно, каких-нибудь полчаса назад, прошли они, миновали ворота, десятки постов лагерной охраны... Нас мучает все тот же вопрос: куда, куда лежит их путь? Нам больно за братьев, — но становится страшно и за собственную судьбу. Сколько еще нас продержат здесь? Не станет ли разделение команды сигналом к ее полной ликвидации? Ничего неизвестно...

Мы идем, опустив глаза, и чувствуем, что на нас устремлены циничные взгляды, что эта насмешка ранит нас в сердце, тревожит, берedit нашу свежую рану. Люди, смотрящие на нас, выставляют нам счет за вчерашний вечер: они были уверены, что произойдет что-то важное, что их «операция» отразится не только на нашем организме, но и на них — на тех, кто ее провел!

Пожалуй, они правы: мы должны были дать достойный ответ, и в своем бездействии виноваты мы сами. Инстинктивно мы оглядываемся по сторонам, ищем того, кто бросает нам этот вызов, смотрим, что это за сила — которую уничтожил бы наш огонь, — если бы мы его только разожгли. Я поднял глаза — и увидел, как заключенный-поляк бьет еврея и кричит: «Жид паршивый!». Вот эта сила: те, кто помогает потушить наше пламя, — вместе с теми, кто держит их самих за колючей проволокой. И я понял, как мы одиноки: и в борьбе за свою жизнь, и даже в отчаянном тайном замысле, который спрятан глубоко в наших сердцах.

На посту

Капо вызывает все группы по очереди — все они стали вдвое меньше, а одна полностью ликвидирована. Это Reinkommando — группа, куда направляли физически слабых людей и заставляли заниматься только одним: мыть волосы, которые мы срезали с голов женщин, убитых газом. Это единственная группа, уничтоженная целиком.

За работой чувствуется нехватка людей. Даже в тех группах, которые стали ненамного меньше, это заметно: все помнят, что вот тут вчера стоял еще один брат — а где он сегодня? Все заставляет вспомнить о тех, кого сегодня с нами уже нет.

Я поднимаюсь наверх посмотреть, что там делается: там, около печной трубы, обычно сидели несколько десятков человек — и старых, и молодых. Их работа, в сущности, заключалась в том, чтобы сидеть там, укрывшись от взгляда наших надсмотрщиков, и читать псалмы, изучать Мишну или молиться. Работали они ровно столько, сколько нужно, чтобы показать, что они тоже что-то успели сделать. Работать мы можем и очень быстро, и очень медленно — в зависимости от ситуации, и сделать вид, что мы напряженно трудимся, несложно. Этим и пользовались несколько десятков наших товарищей — религиозные люди, ослабевшие и больные.

Поднимаюсь наверх. Все здесь, на первый взгляд, осталось по-прежнему.

Царит мертвая тишина. Повсюду на полу лежат и стоят металлические ящики, чемоданы и другие вещи, которые использовались как Сиденья (на скамейках сидеть трудно: тогда надо было бы все время слишком низко нагибать голову), — точно на тех местах, где оставили их наши братья. Такое впечатление, что эти ящики замерли и ждут, когда ушедшие вернуться. Все помещение наполнено печалью и горем. Подходишь к одному из сидений — и находишь спрятанный там молитвенник, тфилн или талес[217]. Эти вещи еще вчера были в ходу, — а теперь они никому не нужны: нет больше тех рук, которые взяли бы тфилн, нет губ, которые стали бы шептать священные слова, и нет тела, которое накрыл бы талес во время молитвы.

Перед моими глазами стоит эта сцена: вчерашнее утро, один стоит на страже, следит, чтобы не вошел посторонний, пока верующие обманывают своих притеснителей и возносят молитву своему Богу, перед которым они честны. Как они боялись! Не раз им приходилось срывать тфилн, прерывать молитву на полуслове и приниматься за работу, как будто они только ею и были заняты.

Им казалось, что они слышат крик этого чудовища — жестокого и циничного обершарфюрера[218], начальника над крематори-

ями. Он будто бы негодовал, что они «устроили здесь ViBelkommando», но внутренне был доволен, что даже посреди преисподней, у печи, в которой сгорают тела сотен тысяч евреев, находятся и те, что сидят, прислонясь к кирпичам, раскаленным огнем, в котором сгорают их собственные родители, жены и дети, — и молятся. Ведь если они тем самым признают, что все происходит по воле Божьей, то надо позволить им свободно исповедовать свою религию, молиться, укрепляться в вере: так будет спокойнее и для нас, и для них. Поэтому наши надзиратели терпимо относились к нашим молитвам и только шутили по этому поводу. [...] Вот еда, которую они приготовили на сегодня, — они и представить не могли, что через сутки их загонят в поезд, запрут и забьют в нем двери — и отправят в дальнюю дорогу.

На стене висит список: имена пяти наших братьев, которые должны были сегодня дежурить у ворот. Эти пять имен словно живые существа. Каждое из них вызывает в памяти друга, ты как будто видишь всех этих несчастных братьев и слышишь их голос: посмотри, как мы ошиблись в наших расчетах! Вчера я думал, рассчитывал, что сегодня буду стоять у ворот, — а вместо этого уже стал добычей дьявола. Помни, брат, помни: завтра не в твоих руках!

Этот список — живое свидетельство нашего ничтожества. Смотреть на него больно и страшно: ведь в нем напоминание о тех, кого с нами уже нет, кто где-то стигнул — но где? Размышления об этом, как невидимые руки, хватают тебя и тянут в омут печали и отчаяния. Кажется, те пять человек, которые носили эти имена, взывают к тебе из бездны, хотят до тебя достучаться, предостерегают тебя. Их угрожающие голоса звучат все громче, они кричат тебе в ухо, уже давно утратившее чуткость, проникают прямо в сердце. В этом хаосе я слышу только отзвук слов: помни! Помни про завтра!

Я ухожу оттуда, подавленный, сокрушенный, обессиленный. Этот голос преследует меня, как неумолимый рок: он тревожит меня, зовет, повергает в тяжелые раздумья...

День, казалось, тянется, как вечность. Я едва дождался вечернего сигнала — и вздохнул с облегчением. Это символично: все наше существование здесь — как один такой день.

Вечер пятницы

Некоторые из братьев насмехались, когда другие — десятка два человек — собирались для встречи субботы или для вечерней молитвы. Были среди нас и те, кто смотрел на молитвенные собрания с горьким упреком: наша страшная действительность, трагедии, которым мы становились свидетелями каждый день,

не могут вызвать чувства благодарности, желания прославлять Создателя, раз Он позволил народу варваров уничтожить миллионы невинных людей — мужчин, женщин и детей, чья вина состоит только лишь в том, что они родились евреями и поклонялись тому же всемогущему Богу, что и этот варварский народ, и подарили человечеству великое благо — монотеизм. Разве можно теперь славить Творца? Есть ли в этом смысл? Мыслимо ли это — произносить субботние благословения, когда вокруг море крови? Возносить мольбы Тому, Кто не хочет услышать криков и плача невинных младенцев, — нет! — и, горько вздохнув, противники молитв покидали собрания, злясь и на тех, кто не разделяет их возмущения.

Даже те, кто прежде был религиозен, начинают сомневаться. Они не могут понять своего Бога и примириться с тем, что Он позволяет совершаться всему этому: как Отец может отдать своих детей в руки кровавых убийц, в руки тех, кто насмехается над Ним?! Но задумываться об этом они боятся: страшно потерять последнюю опору, последнее утешение. Они молятся спокойно, не требуя у Бога никаких залогов, не отдавая ему отчета. Они бы хотели разве что выплакаться, излить Ему свое сердце, — но не могут, потому что не хотят лгать ни Ему, ни себе.

Однако вопреки общему настроению нашлись среди нас и те, кто упрямо продолжал верить, кто не давал воли своему недоумению, заглушал в себе все упреки, подавлял чувство протеста, которое терзает душу и сердце, требует разговора начистоту, хочет дознаться, почему же так происходит... Упрямые наши братья сами были рады обманываться, запутываться в тенетах наивной веры — лишь бы только не задумываться. Они верят, они свято убеждены — и демонстрируют это ежедневно — в том, что все происходящее продиктовано высшей властью, веления которой мы своим примитивным умом постичь не в силах. Они тонут, захлебываются в море своей собственной веры — но вера их от этого не становится слабее. Может быть, где-то в глубине сердца у них мелькает сомнение, но внешне они по-прежнему тверды.

В нашей семье, среди пятисот человек — верующих, атеистов, впавших в отчаяние и равнодушных — с самого начала выделилась группа молящихся, сначала маленькая, потом все больше и больше. Эти люди читали все молитвы, даже ежедневные, в миньене[219].

Молитва увлекала и тех, кто не был религиозен и сам не участвовал в миньене: едва раздавались звуки традиционной молитвы, читавшейся в пятницу вечером[220], — они забывали о страшной действительности. Мощные волны воспоминаний переносили их в давно покинутый и уже уничтоженный мир прошлых

лет. Каждый представлял себя сидящим в теплом домашнем кругу.

...Вечер пятницы. В большой синагоге тепло и светло — как если бы ее освещали сразу несколько солнц. Все одеты празднично, по-субботному. Сняв будничную одежду и закрыв свои лавки, евреи освободились от бремени повседневной суеты, вырвались из того мира, где душа находится в рабстве у тела. Все беды и хлопоты — и свои для каждого, и общие для всех — забыты. Люди беззаботны, счастливы тем, что им удалось скинуть груз будничных забот.

В синагоге все готово к этому торжеству. И вот звучный голос объявил, что настало время выйти встречать ее величество царицу Субботу.

Кантор поет величественную и в то же время сердечную песнь во славу Субботы. Воздух наполнен этой гармонией, у всех радостное, приподнятое настроение. Каждый шаг навстречу дню святости окрыляет всех присутствующих: душой они устремляются ввысь. Каждое слово, каждый звук молитвенного напева вселяет в них надежду и силы.

Время от времени то здесь, то там раздается тихий вздох, который, казалось, умаляет, оскверняет святость наступающего дня — это кто-то вспоминает о своих будничных заботах и бедах. Кто мог тогда подумать, что эти горести окажутся знаком грядущих несчастий, что за повседневными горестями придет настоящая, огромная беда! Человек, который задумался посреди субботней литургии о своих бедах, вдруг почувствовал себя сбитым с ног, раздавленным — насколько же пророческим оказалось это ощущение! Ощувив свое ничтожество и беспомощность, он уже падает с высот, куда вознес его дух субботней святости, и погружается в глубокую пучину отчаяния. Еще несколько минут назад он был уверен, что нашел спасение в бурном море своих бед, — но вдруг оказывается, что спасение это иллюзорно, надежды тщетны, — и вновь он хватается за последнюю соломинку, чтобы не утонуть в бушующем море.

Но вот новая волна приносит ему, наконец, облегчение, он слышит голос, который будит его и вселяет в него силу и мужество: «Вегаю ли-мшисо шойсаих!»[221] — не бойся, твои враги и притеснители сами будут раздавлены и уничтожены. Не отчаивайся, не примеряй на себя роль жертвы! — и вот человек снова чувствует душевный подъем, прилив мужества, он окрылен, он верит, что завтра будет лучше, чем сегодня. Он забывает печальную действительность и готов жить мечтами о лучезарном будущем. Его манит сияние прекрасного завтрашнего дня, надежда наполняет его и придает ему сил. И его голос уже вливается в хор

собравшихся, а душа вновь возносится в горние просторы.

Молитва закончилась. Вместе с отцом и братьями он выходит из синагоги и идет домой, преисполненный покоем и благодати. Лавки закрыты, на улице ни души, все тихо, повсюду в окнах отблески субботних свечей. Царица Суббота наполнила своим величием все местечко, весь быт всех его жителей. Каждый чувствовал себя окрыленным ею и с радостью приветствовал ее приход.

Дом тоже наполнен теплом, покоем и благодатью. Кажется, что каждая вещь поет — и голоса всех вещей сливаются в общий хор, славословящий Субботу. Прозвучало субботнее приветствие — братья с отцом вошли в дом. Повсюду счастье, радостью блестят глаза матери, жены, братьев и сестер.

Как сердечно и искренне звучит субботняя песнь — Шолом-алей-хем![222] Благодать сошла с небес и почил в стенах нашего дома, на всей нашей семье.

Он в кругу семьи, в атмосфере счастья и благополучия. Все сидят за общим столом, едят, пьют и поют. Всем хорошо, все радостны, беззаботны, полны надежд на лучшее. Перед ними — идиллический мир, в котором они — полноправные хозяева. Ничто не угрожает им, они спокойно и уверенно могут вступить в этот мир, только что вновь открывшийся им.

Но вдруг налетела штормовая волна — и вырвала их из этого мира, лишила дома, счастья, субботнего покоя. Отец, мать, сестры, братья, жена — никого из них уже не осталось в живых.

«Хорошей субботы!» — говорим мы друг другу... Внезапно что-то внутри меня как будто оборвалось. Кому теперь можно пожелать хорошей субботы? Разве остались на свете счастливые лица? Разве живы еще дорогие родители, сестры и братья, любимая жена? «Хорошей субботы!» К чему это теперь? Я видел пропасть на месте моего разрушенного мира. Оттуда доносились голоса — это моя сожженная семья. И я бегу от этих воспоминаний, как от призрака. Быстрее, быстрее, как можно дальше от этого кошмара! Надо потушить пожар, сжигающий все мое существо!

Но бывают минуты, когда я и сам рад беречь свои раны, чтобы снова пережить страшное потрясение — только бы преодолеть мертвенную душевную неподвижность. Хочется вспоминать о пережитом еще и еще, чтобы снова страдать, чтобы опять было больно, потому что наша невыносимая работа заставляет забыть о своей трагедии: мы каждый день видим смерть миллионов людей, и в этом огромном море крови моя личная трагедия кажется ничтожной каплей.

Хочется замкнуться в своем собственном мире, снова пережить и далекие события, и недавние, переплыть реку прошлого — и

снова вернуться в настоящее, как можно дольше удерживаться на поверхности воспоминаний о безвозвратно потерянной счастливой жизни — и снова опуститься на дно, в мой нынешний ад. Насладиться лучами солнца, освещавшего минувшие дни, — и опять погрузиться в мрачную пучину, чтобы осознать глубину нашего непоправимого горя.

В такие минуты я рвался туда, к тому берегу, туда, где молились в миньене набожные евреи, — там черпал я силы — и бежал к своим нарам. И только тогда мое застывшее от внутреннего холода сердце таяло — и я мог почувствовать приход Субботы. Бурные волны отрывали меня от прошлого и прибивали к берегу настоящего — и сердце болело, из глаз текли слезы. Я был счастлив, что встречаю Субботу, рыдая. Давно уже мечтал я увидеть моих близких такими, какими они были в давние счастливые времена: мать — милой и любимой, отца — в праздничном настроении, сестер и братьев — счастливыми, жену — радостной, поющей... Я хотел снова окунуться в мир беззаботного субботнего счастья и оплакать тех, кто уже не встретит со мной ни одну субботу — моих дорогих и близких, которых уже нет на свете, — и скорбеть, скорбеть о моем несчастье, которое я только сейчас смог почувствовать и осознать...

Я тоскую по моим братьям, по недавно ушедшим товарищам по несчастью — не только потому, что это мои братья, но и потому, что моя жизнь в преисподней неразрывно связана с ними. Я смотрю в тот угол барака, где они молились, — мертвенным запустением веет оттуда. Никого из них больше нет в живых — и вместе со смертью сюда пришла страшная тишина. Только тоска и скорбь остаются мне.

Мы скорбим об ушедших братьях, потому что это наши братья — и потому, что теперь нам не хватает света, тепла, веры и надежды, которыми они наделяли нас.

Их смерть лишила нас последнего утешения.

Перевод Александры Полян

ЧАСТЬ III

ПИСЬМО ИЗ АДА

Я написал это, находясь в зондеркоммандо. Я прибыл из Келбасинского лагеря, около Гродно.

Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вести раскопки, чтобы найти следы миллионов

погибших. Но в последнее время они начали заметать следы — и где только был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размолотили, вывезли к Висле и пустили по течению.

Много ям мы выкопали. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории крематориев I–II.

Несколько ям еще полны пеплом. Они это забыли или сами затаили перед высшим начальством, так как распоряжение было — все следы замести как можно скорее, и, не выполнив приказа, они это скрыли.

Таким образом, есть еще две большие ямы пепла у крематориев I–II. А много пепла сотен тысяч евреев, русских, поляков засыпано и запахано на территории крематориев.

В крематориях III–IV тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята «местами для сжигания»[223]. Эта записная книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью иногда не полностью сгоревших костей и кусков мяса[224]. Запах можно сразу узнать.

Дорогой находчик, ищите везде! На каждом клочке площади. Там лежат десятки моих и других документов, которые прольют свет на все, что здесь происходило и случилось.

Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Сами мы не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошие известия, которые прорываются к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность широкой рукой уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа.

Складывается впечатление, что союзные государства, победители мира, косвенно довольны нашей страшной участью. Перед нашими глазами погибают теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы дождаться свободы. Где только приближается опасность для варваров, что они должны будут уйти, там они забирают остатки еще оставшихся и привозят их в Биркенау-Аушвиц или Штутхоф[225] около Данцига — по сведениям от людей, которые так же оттуда прибывают к нам.

Мы, зондеркоммандо, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, вынужденной ужасом смерти. Мы хотели сделать большое дело. Но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и принудили отложить срок восстания. День близок — может быть, сегодня или завтра.

Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее вынесет нам приговор на основании моих записок и пусть мир увидит в них хотя бы каплю того страшного трагического света смерти, в котором мы жили.

Биркенау-Аушвиц
6 сентября 1944 года,
Залман Градовский
Перевод Меера Карна

Приложение

II. Полян Чернорабочие смерти

I. Жизнь и смерть в аду: «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау

**Были мы люди, а стали
людье...**
О.Мандельштам

Умри ты сегодня, а я завтра...
Гулаговская поговорка

**Я тогда вообще не был
человеком.
Если бы я им был, то не
уцелел бы и секунды.
Мы только потому выстояли,
что в нас не оставалось
ничего человеческого.
*Высказывание члена
«зондеркоммандо»***

1

В Аушвице убивали всегда. Убивали жестоко, беспощадно, садистски. Но поначалу — в рутинные времена старого концлагеря — как-то нетехнологично. Забить плеткой, расстрелять во дворе тюремного бункера и даже вколоть в больнице фенол в сердце подходящей жертве эксперимента — все это как-то слишком индивидуально, как-то неуместно по-любительски и как-то чересчур нерационально.

Тогда еще не было селекций, каждый узник был зарегистрирован и именовался не иначе как *Schutzhaftling* — «заключенный под защитой» [226]. Он ли находился под защитой или защита — от него? Историческая ирония этого оксюморонного словосочетания не ускользала от внимания тех, кого это напрямую касалось: «Быть «подзащитным заключенным» в величайшем лагере уни-

чтожения парадоксально, это ирония судьбы, сознательной судьбы. Убийцы, садисты защищают нас! Мы пребываем под защитой, что означает предание нас произволу таких людей, таких воспитателей, которые и сами прошли соответствующее обучение — окончили аспирантуру высшего садистского знания, и все ради того чтобы иметь возможность нас соответствующим образом «защищать»!»[227]

Несостоятельность и неуместный романтизм персонифицированной смерти стали очевидны перед лицом поставленной однажды лагерю задачи — посылить помочь в решении еврейского вопроса в Европе и перейти на принципиально новый вид убийства — массовый, безымянный и, в пересчете на один труп, недорогой.

Чуть ли не здесь же, в Аушвице, и догадались о самом оружии такого убийства — химическом: дешевый инсектицид Циклон А, уже применявшийся в сельском хозяйстве, для дезинфекции одежды и помещений и для борьбы со вшивостью, подходил для этого идеально.

После серии «успешных» экспериментов в бункере 11-го блока и в мертвецкой крематория I в сентябре 1941 года в качестве оптимального орудия убийства была признана разновидность газа Циклон А — газ Циклон Б.

Это была особая разновидность, перенацеленная на людей. Для удушения 1000 человек парами содержащейся в Циклоне Б синильной кислоты было достаточно всего четырех килограммов вещества (то есть четырех килограммовых банок). Эффективное испарение начиналось при температуре около 12 градусов по Цельсию. Для этого помещения газовых камер — даже летом — немного протапливали, чтобы газ в них лучше расходился и быстрее вершил бы свою работу.

Одним из синонимов «зондеркоммандо», бывшим в ходу у самих узников Аушвица, было «газкоммандо». Именно под этим псевдонимом фигурировали члены «зондеркоммандо» и на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками[228].

Чрезвычайно желательным было и спокойное состояние и поведение жертв. Так что к «технологии» относились и успокоительные мероприятия, или, как сказали бы сейчас, «операции прикрытия», — для чего привлекались и члены «зондеркоммандо» как «свои».

«Операцией прикрытия» было и бесовское употребление символики Красного Креста. Именно красный крест красовался на так называемых санкарах — легковых санитарных машинах, на которых на каждую операцию приезжали и уезжали дежур-

ный врач и эсэсовцы-палачи. Красные кресты были нашиты или намалеваны краской и на синих шапках у членов «зондеркомандо» — их спецодеждой были не казенные полосатые робы, а обыкновенная гражданская одежда[229], вызывавшая у жертв минимум подозрений.

Непосредственно палаческую работу выполняли эсэсовцы среднего звена. Когда они выезжали к газовням, их обязательно сопровождал врач[230], наблюдавший за всем из машины: не дай бог что-нибудь случится с камарадами, рискующими своей жизнью во имя великой цели![231] У последних, конечно же, были противогазы, которые они, бахвалясь своей «храбростью», не всегда надевали, а также специальные приспособления для открывания больших банок с гранулами. Вбрасывая гранулы в газовые камеры сквозь специальные отверстия-окошечки[232] сверху или сбоку, они посмеивались и переговаривались друг с другом о пустяках. После чего закрывали окошки цементными или деревянными ставнями-втулками. Но иногда, вопреки инструкции, они даже не закрывали их, а смотрели сквозь стекла противогазов с любопытством и торжеством на то, что там внизу происходит: как люди, карабкаясь друг по другу, кидались к этим окошкам, и первыми умирали те, кто оказывался внизу, может быть, и не от удушья еще (сама агония отнимала не менее 6–7 минут), а от того, что их раздавили, — то были в основном инвалиды и дети. Перед смертью люди цеплялись, вгрызались ногтями в ищарапанную уже и до них стену...

Налюбовавшись и закрыв ставни, они садились в свои машины с флажками и красными крестами, нарисованными на боках, и, продолжая болтать, уезжали.

Кстати, место циническому веселью и палаческому юмору находилось везде. Шутники-немцы говорили раздевшимся детишкам, чтобы они не забыли взять с собой мыло и чтобы обязательно связали сандайки или туфельки шнурками. «Готово!» — говорил врач, поглядывая то на часы, то в глазок двери газовой камеры. «Камин» — вот ласковая кличка, данная эсэсовцами крематориям. «Himmelskommando» («Небесная команда») — пошучивали эсэсовцы по адресу не то уничтоженных евреев, не то живых еще «зондеркомандовцев». «Угощайтесь» или «Жрите», — говорили они, вбрасывая в душевые камеры газ. «Рыбам на корм», — шутили о пепле, загружаемом в грузовики для сбрасывания в Вислу или Солу.

Если жертв было немного (по разным свидетельствам, верхней границей этого «немного» было 100 или 500 чел.[233], то Циклон Б на них не тратили, а убивали пистолетными выстрелами в затылок. Происходило это во дворе крематория, а иногда и в его

внутренних помещениях. В таких случаях степень соучастия членов «зондеркоммандо» в процедуре убийства становилась на порядок нагляднее и очевиднее: нередко двоим из них приходилось держать жертву за руки и за уши, пока палач не спускал курок[234]. И хотя непосредственным убийцей оставался немец-эсэсовец, еврей-«зондеркоммандовец» в этом случае уже никак не мог не осознавать своей чудовищной роли в происходящем[235].

Огненной ямы или крематория из жертв не избегал никто, и в конечном счете от 70—75-килограммового человека оставалось около килограмма темно-серого пепла; правда, берцовые кости почти никогда не прогорали до конца, и их приходилось потом дробить в специальных устройствах.

Иными словами, узким местом конвейера смертоубийства была не сама смерть, а заметание ее следов — как можно более скорое и полное сторание трупов и уничтожение пепла.

Впрочем, и тут можно было не сомневаться в том, что применяемые технологии — самые совершенные, благо в области кремации и соответствующего печестроения Германия была мировым лидером.

2

Свою первую в Аушвице кремационную печь эрфуртская фирма «Topf und Sohne» установила в августе 1941 года. В середине августа она уже была введена в строй, получив со временем обозначение крематорий I.

Этот крематорий постоянно развивался и, начиная с 15 декабря 1941 года, имел уже четыре действующие муфельные печи, работавшие на коксе, а вскоре их стало шесть. Изначально пропускная способность этого мини-крематория, по словам Ф. Мюллера, была скромной — всего 54 трупа за час[236].

Когда в Берлине или Ванзее было принято решение о превращении концлагеря Аушвиц в ультрасовременный комбинат по уничтожению евреев, стало ясно, что крематорию I такие задачи не по плечам, а точнее, не по печам. Уж больно скромной и неэффективной была самодельная газовая камера при нем. Но окончательно он был остановлен только в июле 1943 года, после чего его зажигали лишь изредка, по особым случаям.

Заказы на второй и третий крематории последовали в ноябре 1941 и осенью 1942 годов: соответственно, в марте — июне 1943 года крематории один за другим становились в строй (первым крематорий IV, за ним крематории II и V). Последним, в конце июня, был запущен крематорий III. Теперь именно им, крематориям фирмы «Топф и сыновья», предстояла большая работа и

предназначалась центральная роль, но не в утилизации отходов и не в профилактике эпидемий, а в окончательном решении еврейского вопроса, в уничтожении раз и навсегда всей этой вражеской еврейской плоти.

Карл Прюфер и Фриц Зандер, ведущие инженеры фирмы, ощутив громадьё задач, соревновались друг с другом в поиске новых решений и технологий, могущих обеспечить прорыв в печном деле по утилизации трупной массы. В своих усилиях они далеко превзошли аппетиты даже своего кровожадного заказчика. Так, Прюфер разрабатывал идею круговых печей, а Зандер — своего рода огненного конвейера, способного работать практически безостановочно. В письме Зандера руководству своей фирмы от 14 сентября 1942 года прямо говорится, что речь идет об эффективной массовой кремации, в условиях войны не оставляющей места какому бы то ни было пиетету, чувствительности или сентиментальности по отношению к трупам[237], зато в условиях конкуренции возникает острая необходимость оформления на его изобретение патента[238].

Между тем первая пробная топка принесла «неутешительные» результаты: сгорание трупов (по три в каждой из пяти пущенных печей) протекало чрезвычайно медленно (целых 40 минут!), после чего технические эксперты фирмы-производителя рекомендовали поддерживать пламя непрерывно в течение нескольких дней. Уже в марте 1943 года в газовой крематории II был впервые умерщвлен целый еврейский эшелон — партия из Краковского гетто.

Крематории II и III были настоящими печными монстрами: они имели по 15 топков (5 печей, каждая на 3 муфеля), тогда как крематории IV и V — всего по 8. Их суточная пропускная способность составляла, согласно немецким расчетным данным, по 1440 и 768 трупов соответственно. В горячие дни работа на них была круглосуточной, двухсменной, и пропускная способность скорее всего реально перекрывалась.

И для природной эсэсовской наблюдательности, сноровки и рационализаторства тоже находилось достойное место: так, ущерб от того, что трупы кидались в печи немного сырыми (поскольку перед этим их волокли по цементному полу, периодически обдаваемому водой из шланга, — тогда трупы скользили, и их легче было подтаскивать к печам), с лихвой перекрывался тем, что мужские трупы клались посередке, детские сверху, а женские (в них, как правило, больше жира) — по бокам[239].

А куда крематории в Биркенау еще только строились, их подменяли два других временных цеха аушвицкой фабрики смерти, расположенные поблизости. Два крестьянских подворья

(до этого и для этого их польских хозяев принудительно выселили) были переоборудованы в центры по умерщвлению людей с помощью газа — в так называемый бункер № 1, или «Красный домик», с двумя бараками-раздевалками, и бункер № 2, или «Белый домик», — с четырьмя. Поблизости располагались склады для одежды, а также так называемые Effektenkammer — хранилища для «отходов производства» — золотых коронок, драгоценностей, одежды, личных вещей и даже волос убитых людей[240]. Сами трупы первоначально закапывались в глубокие рвы, что позднее было признано не слишком удачной идеей — из-за опасности отравления грунтовых вод[241] трупными ядами[242].

В конце сентября 1942 года массовые захоронения[243] были вскрыты, все трупы эксгумированы, а их останки сожжены на кострах в огромных ямах. Во время венгерской запарки вновь обратились к практике сжигания трупов на кострах, но тогда ямы были приготовлены просто гигантские — 50 м в длину, 8 м в ширину и 2 м в глубину, к тому же еще и специально оборудованные (например, желобками для стекания жира — чтобы лучше горело[244]. Вплоть до пуска в строй в Биркенау в 1943 году четырех новеньких, с иглочки, крематориев трупы из газовен подвозили к этим ямам-костровицам на тележках, передвигавшихся по импровизированным рельсам. В помещениях, прилегающих к газошням, были устроены сушилки для волос и даже золотая плавьильня.

Поистине — образцовая фабрика смерти и ее цеха!

Гитлер с Гиммлером — как рачительные хозяева, а евреи — как дешевые чернорабочие и одновременно как недорогое сырье. Местное или импортное — неважно: на транспорте тут не экономили.

3

Все это, однако, требовало организации постоянных рабочих команд, обслуживавших эти чудовищные комплексы.

Уже августом 1941 года датируется и первое обозначение «Kommando Krematorium» в таблице рабочих команд концлагеря. Устно она называлась еще и «Коммандо-Фишл», по имени Голиафа Фишла, ее капо[245]. Эта команда была очень небольшой и состояла из 12, а позднее из 20 человек[246] — трех, а позднее шести поляков (в том числе капо Митек Морава) и девяти, а позднее 15 евреев. Контакт с другими узниками более не допускался: для надежности евреев-«зондеркоммандо» поселили в подвале 11-го блока, в камере 13 (польские же члены «зондеркоммандо» жили в обыкновенном 15-м блоке, то есть в контакте с остальными узниками).

Всех поляков расстреляли в самом конце в Маутхаузене, а вот двое из евреев каким-то чудом уцелели во всех чистках «зондеркоммандо» и дождались освобождения[247]. Настоящие «бесмертные»!

Один из этих двоих — Станислав Янковский. Его настоящее имя — Альтер Файнзильбер[248]. Воевал в Испании, выдавая себя за поляка-католика, а имя «Станислав Янковский» взял себе во Франции, чтобы скрыть свое еврейство, но хитрость не помогла. Он был арестован французской полицией и идентифицирован ею как еврей: это предопределило его маршрут — сначала в сборный еврейский лагерь в Дранси, оттуда в транзитный лагерь в Компьен, и уже из Компьена — 27 марта 1942 года, в составе транспорта из 1118 человек (сплошь взрослые мужчины, без женщин и детей) — он прибыл в Аушвиц 30 марта.

Из 11-го блока основного лагеря — пешим маршем по хлюпающей болотистой дорожке — весь транспорт целиком попал в Биркенау, где Файнзильбера-Янковского, собственно, впервые зарегистрировали и поместили в 13-й блок. Начальником блока был эсэсовец, старостами немцы-заключенные, по любому случаю избивавшие рядовых узников и докладывавшие на утро начальнику блока о том, сколько их за ночь сдохло. Тот бывал доволен или недоволен в зависимости от цифры: 15 — это как-то мало и не солидно, а вот 35 — хорошо.

Вскоре Файнзильбера-Янковского как плотника вернули из Биркенау в Аушвиц, где выживать было несравненно легче. Но в ноябре 1942 года профессию пришлось круто поменять: его включили в первый состав новой «зондеркоммандо» и направили истопником на крематорий I — загружать в печи трупы умерших или убитых.

Работа на крематории I начиналась в 5 утра и кончалась в 7 вечера, с 15-минутным перерывом на обед, но, по сравнению с тем, что вскоре его ожидало в Биркенау, работы было сравнительно немного. Кроме трупов, не прошедших селекцию, евреев, умерших и убитых, сжигали в самом Аушвице I, а также в Аушвице III (Buna-Werke в Моновице). Расстреливали здесь, как правило, «чужих», не из самого концлагеря, — специально сюда для экзекуции привезенных (чаще всего ими были советские военнопленные), но иногда все же и «своих», в том числе — и чуть ли не еженедельно — по 10–15 все тех же советских военнопленных из подвалов 11-го блока[249], вечно что-нибудь священное нарушавших. Трупы, в том числе женщин и детей и часто расчлененные, привозили и от «медиков» — из 10-го блока («экспериментальной лаборатории» Менгеле), из 19-го, где тоже велись эксперименты, но с бактериями, а также из 13-го блока — из еврейской больнич-

ки. По пятницам принимались трупы из окрестных поселений [250].

Несколькими неделями позже — в мае 1942 года — в Аушвиц попал и второй из «бессмертных»: Филипп Мюллер — словацкий еврей из городка Серед, по профессии скрипач [251].

Ко времени его прибытия в лагере находилось всего лишь 10 629 заключенных, главным образом поляков и немцев. Были среди них и 365 советских военнопленных — жалкие остатки тех 11,5 тысячи, что попали сюда между июлем 1941 и мартом 1942 года: 2 тысячи обошлись безо всякой регистрации — они пали жертвами первых экспериментов по удушению газами, а остальные 9,5 тысячи, хотя и были зарегистрированы, но умерли или были убиты почти все.

С них, с советских военнопленных, начался и «послужной список» Ф. Мюллера. При этом он описывает и свое первое «грехопадение», когда он жадно поедал хлеб, найденный им в одежде убитых. После убийства на его глазах трех его товарищей, которых, еще дышащих, ему же пришлось и раздевать, и готовить к кремации, он дошел до самого дна отчаяния. Дошел — и остановился: броситься сам в печь он тоже не мог. Все что угодно, но только не смерть: «Я желал лишь одного: жить!». И только с таким настроением да еще с надеждой когда-нибудь и как-нибудь вырваться отсюда, собственно говоря, и можно было пробовать уцелеть в этом аду. К страстной жажде уцелеть примешивалась еще и робкая надежда на то, чтобы, если выживешь, рассказать обо всем, что тут было [252].

Когда Мюллера перевели в Биркенау, в группу из 200 человек, работавшую на крематориях II и III (позднее его перевели на крематорий V), с ужасом слушал он зажигальщика Юкла (Вробеля?), показывавшего ему устройство крематория-монстра с его газовыми камерами, сушилкой для волос и 15 печами с пропускной способностью в целый эшелон (а ведь рядом еще такой же!).

Дважды через этот крематорий пропускали «своих» — уже мертвых членов «зондеркоммандо»: 80 человек — ее первый состав — еще в 1941 году расстрелял лично Отто Моль, в то время начальник бункера в основном лагере.

Первый состав «зондеркоммандо», весьма небольшой, был закреплен за крематорием I.

Второй состав «зондеркоммандо» — 70–80 человек (в основном словацкие евреи) — уже с начала 1942 года работал в Биркенау, на бункере I: поначалу он состоял из собственно «зондеркоммандо», работавшей с трупами и газовой камерой, и «похоронной команды», обеспечивавшей предание трупов земле в огромных рвах [253].

Очень быстро с ними произошла отчасти штучная (убийства эсэсовцами на рабочем месте), отчасти массовая «ротация»: уже в январе или феврале 1942 года второй состав «зондеркоммандо» был доставлен из Биркенау уже в другой бункер — в политическую тюрьму в Аушвице I. Здесь их, по некоторым сведениям, также расстрелял лично Отто Моль, едва ли не главный садист всего Аушвица.

Третий же состав «зондеркоммандо» — под командованием обер-штурмфюрера Франца Хесслера — насчитывал уже около 200 человек. Поначалу работа оставалась неизменной — разделение, газовые камеры, рвы-могильники, но в июле, после визита Гимmlера и по его приказу, произошла резкая перепрофилизация: трупы отныне не закапывали в землю, а сжигали в огромных ямах с решетками.

Уже к сентябрю число членов «зондеркоммандо» достигло 300 человек[254]; их численность неуклонно росла и дальше. Эти 300 человек занимались тем, что раскапывали уже заполненные братские могилы и сжигали, вместе со свежими, еще и полуразложившиеся трупы. Конечно же, опасались заражения грунтовых вод и эпидемий, но главное было в другом: в свете предстоящей грандиозной «задачи» (крематории в это время вовсю строились!) для предания земле просто-напросто не хватило бы самой земли.

Когда, наконец, к декабрю эксгумировали и сожгли всех (а это, по некоторым прикидкам, порядка 110 тысяч трупов), наступил черед и самой «зондеркоммандо». На этот раз была уже не ротация (то есть полное уничтожение), а селекция (частичное).

9 декабря 1942 года в газовой крематории I было удушено около 200 человек — якобы за подготовку побега[255]. В основном это были словацкие и французские евреи: среди них штубовый Шмуэль Кац, а также несколько человек, все из Трнавы, о которых сообщают Р. Врба и А. Ветцлер (Александр и Войиех Вайсы, Феро Вагнер, Оскар Шайнер, Дезидье Ветцлер и Аладар Шпитцер)[256].

Одновременно срочно набирался новый состав «зондеркоммандо». Вот тогда-то и наступил черед Градовского и всех тех, кто прибыл в Биркенау в конце первой декады декабря: ими — в нарушение всех правил, безо всякого карантина — быстро заменили убитых. Оправившись от первого шока, они приступили к исполнению своих обязанностей на обоих бункерах, а начиная с середины марта стали переходить и на крематории, вводившиеся в это время в строй один за другим.

Между 6 и 10 декабря 1942 года из новых узников, размещенных на лагерном участке B1b, были сформированы новые «зондеркоммандо» — на этот раз в основном из польских евреев. До середины июля 1943 года они размещались в изолированных 1-м

и 2-м блоках лагеря Б (BIb) в Биркенау.

С апреля по июль 1943 года число членов «зондеркоммандо» достигло 395, в основном это были евреи из Цеханува и Келбасино, а также французские евреи польского происхождения из Дранси и — совсем понемногу — голландские, греческие и словацкие евреи[257]. Все они работали в две смены на пяти участках: две бригады на крематориях II и III — по 100 человек две на крематориях IV и V — по 60 человек, и одна на уничтожении следов: пепел откапывали из ям и сбрасывали в Вислу.

Но в середине июля после того, как в бараках разместился женский лагерь, их перевели в изолированный 13-й блок сектора Д в Биркенау (BIId) — подальше от крематориев II и III и поближе к крематориям IV и V. Именно сюда, в 13-й блок, прибывало и последующее пополнение[258]. (Позднее, когда в 13-м стало тесно, вновь прибывающих подселяли также в 9-й и 11-й блоки.)

Этот блок был отгорожен от соседнего барака стеной, возле дверей которой всегда стоял охранник. Но, как писал Ф. Мюллер, несмотря на эту особенную атмосферу изолированности, коррупция открывала любые двери. Истинными специалистами по черному рынку зарекомендовали себя сыновья капо Шлойме (Кирценбаума). Даже свидания с женщинами оказывались не невозможными для обитателей барака «зондеркоммандо».

Была в этом бараке и небольшая «больничка» — лазарет на 20 мест, где с 1943 года врачом был 35-летний доктор Жак Паш, из Франции. Была и своя «синагога» — во всяком случае своя религиозная жизнь, свой даян и раввин (из Макова — крепкий, примерно 35 лет): все свободное время они молились. Поначалу с ним спорили, отказывая Богу и в справедливости, и в существовании, но даяна все равно уважали и слушали. Один его бывший ученик бросил ему в лицо: «Нет твоего Бога. А если бы был, то он болван и сукин сын»[259].

Еврейскими капо были Айцек Кальняк из Ломжи (на крематории V затем в сушилке для волос крематория III), Шлойме Кирценбаум из Макова (капо дневной смены на крематории V), Айцек Новик из Лунно (капо дневной смены на крематории V), Хайм-Лемке Плишко из Червона-Бора (унтеркапо на крематории III[260]), а также некто Элиазер (Лайзер) — капо на крематории IV[261]. Капо был и Даниэль Обстбаум из Варшавы-Дранси, сосед Мюллера, Янковского и Ферро Лангера по нарам (капо в крематории IV)[262].

Однако самую «высокую карьеру» сделал Яков Каминский, родом из Скидлы или Соколки[263]: уже в январе 1943 года он — капо на крематории III, а с декабря 1943 по август 1944 года — оберкапо на крематории II. Врач А.Гордон, лечивший Каминского

до войны, случайно встретил его в Биркенау: от конца апреля до середины июля 1943 года их бараки (блоки № 2 и 3) были рядом, и Каминский, испытывая к нему уже проверенное жизнью доверие, часто и подробно рассказывал о том, чем приходится заниматься «зондеркоммандо» и какие там царят отношения. Совестьливый и заслуживающий к себе уважения, Каминский плакал, когда рассказывал об этом. Общее количество еврейских жертв он оценивал в 2,5 миллиона. Если бы стены крематориев могли говорить, то после войны в живых осталось бы совсем мало немцев.

Каминский был капо «зондеркоммандо», а оберкапо этого состава поначалу был немец-уголовник Брюк, в начале 1943 года переведенный сюда из Бухенвальда. В бараке командовал блокочный Серж Савиньский, 32-летний французский еврей польского происхождения, бывший торговец текстилем (по другим сведениям — сутенер) в Париже[264].

В январе 1944 года неудачей закончился побег капо Даниэля Обстбаума[265] из Франции, штубового Майорчика из Варшавы, Ферро Лангера из Словакии и еще двоих членов «зондеркоммандо». В порядке возмездия около двухсот «зондеркоммандовцев» были отправлены 24 февраля 1944 года в Майданек, якобы в помощь тамошним коллегам. Но 16 апреля 1944 года пополнение прибыло, наоборот, оттуда — 19 советских военнопленных во главе с Карлом Конвоентом, немцем-капо из Майданека: от них все узнали, что аушвицкая «бригада» действительно была в Майданеке, но была там ликвидирована[266].

Начиная с середины мая 1944 года, когда в Аушвиц массами начали поступать венгерские евреи, численность «зондеркоммандо» увеличилась до 873–874 человек, не считая 30, занятых на разгрузке угля или дров (из них 450 венгерских, 200 польских, 180 греческих, 5 немецких, 3 словацких и 1 голландский еврей, а кроме того — 19 советских военнопленных, 5 польских уголовников и 1 немец-капо)[267].

Всего в Биркенау в разгар «венгерской акции» было четыре автономных «зондеркоммандо», посменно (дневная и ночная смены) и круглосуточно занимавшихся сжиганием трупов. Каждая — численностью приблизительно в 170 человек и каждая под своим номером — 57 (крематорий II), 58 (крематорий III), 59 (крематорий IV) и 60 (крематорий V). При этом в июне 1944 года их жилые помещения перевели поближе к «работе»: тех, кто обслуживал крематории II и III, разместили буквально на печах — на чердачных этажах, а тех, кто обслуживал крематории IV и V, разместили еще более символично: в одной из раздевалок перед газовой камерой крематория IV.

Между «зондеркоммандовцами», обслуживавшими четыре крематория, были отличия, зафиксированные цепким глазом патологоанатома: Миклош Нижли отметил, что на крематории IV большинство составляют польские и греческие евреи, а также сотня венгерских, тогда как на крематории V — польские и французские[268].

24 сентября 1944 года, после завершения «венгерской операции», 200 членов «зондеркоммандо» отобрали якобы для перевода в лагерь-филиал Глейвиц; в действительности же их отправили в дезинфекционную камеру в Аушвице I, а затем привезли в мешках для сожжения в Биркенау, причем сжигали на этот раз сами эсэсовцы.

Следующее «сокращение» было намечено на 7 октября — уже существовал список на 300 имен. Отсюда и дата восстания, в котором приняли участие «зондеркоммандо» как минимум с трех крематориев. В результате подавления восстания погибли 250 человек и еще 200 человек были в тот же день расстреляны. К 9 октября в живых оставались всего 212 человек.

Крематории II, III и IV так и не заработали; в одной из газовен предприимчивые немцы устроили кроликовую ферму. Работу продолжал только крематорий V[269], при этом Менгеле и там не прекращал своих экспериментов.

Следующая и последняя массовая селекция состоялась 26 ноября 1944 года: 170 человек увезли из зоны, из них 100 человек расстреляли в «Сауне», а оставшиеся 70 были задействованы на каменоломне. Их даже переименовали (в Abbruchkommando) и вернули в IIIId, но не в старый барак «зондеркоммандо» (№ 13), а в обыкновенный (№ 16). Оставшиеся в зоне 30 человек продолжали жить в крематории V[270]. Они занимались довершением его разрушения и демонтажом оборудования. Окончательно крематорий V был взорван только 26 января 1945 года, то есть буквально за день до освобождения лагеря.

В число этих 30 попали Элеазер Айзеншмидт и Филипп Мюллер, с ними же были еще и еврейские врачи[271]. Источники их подкормки давно закончились, и теперь они спускали свои бриллианты и доллары, обменивая их на хлеб, колбасу и сигареты у постовых эсэсовцев. Дантист Фишер додумался до способа приумножить обменную базу: из латуни, которую можно было извлечь из развалин, он начал делать фальшивые золотые зубы.

Таким образом ко дню эвакуации лагеря 18 января 1945 года в живых оставались около 100 членов «зондеркоммандо».

В этот день, 18 января, — повсюду дым и огонь от сжигаемых картотек и документации. Члены «зондеркоммандо» на крематории V глаз не спускали со своих начальников — Горгеса, Куршуса

и еще одного. Но никто не вел их расстреливать, а вечером пришел блокфюрер и скомандовал: «Всем в лагерь». Там они встретились с остальными 70.

В ту же ночь, снежную и холодную, начался марш смерти. Члены «зондеркоммандо» не стали дожидаться утра и, словно тени, выбравшись из своего неохраяемого барака, смешались в утренних сумерках с толпой. Несколько дней пешего хода до железнодорожной станции Лослау, а оттуда еще несколько дней до Маутхаузена в открытых вагонах. Четырем удалось убежать еще по дороге в Маутхаузен (Г. Таубер, Ш. Драгон, С. Янковский и Г. Мандельбаум).

Логично было бы предположить, что по прибытии в Маутхаузен их станут искать для того, чтобы ликвидировать. Но поначалу никто не интересовался носителями едва ли не самой страшной из тайн Рейха. Однако на 3-й день маутхаузенский начальник рывкнул на аппеле: «Все члены «зондеркоммандо» — шаг вперед!». Но ни один из них (в том числе оба капо — Шлойме и Лейзер) не двинулся с места. Позднее Мюллер столкнется лицом к лицу с шарфюрером Горгесом, но тот не выдал его и даже принес ему хлеба[272].

Впрочем, в Маутхаузене все же состоялась и последняя в истории «зондеркоммандо» селекция — на сей раз были ликвидированы шестеро польских членов «зондеркоммандо»: капо Мечислав Морава, Вацлав Липка, Йозеф Пложак, Станислав Слемяк, Владислав Бикуп и Ян Агрестовский,

4

Отчего зависело, попадет человек в «зондеркоммандо» или нет? От сочетания многих причин.

Прежде всего — селекция на рампе. Ее, как правило, вел лагерфюрер Шварцхубер, и он же отбирал в члены «зондеркоммандо», учитывая при этом не только силу и здоровье, но и отчасти физиономию человека[273].

Если ты выглядишь здоровым и ведешь себя скромно, покорно, не вызывающе — то ты остаешься жить. Тебя не увозят на грузовике в газовню, а строят и конвоируют в барак, запускают в настоящий, а не в ложный душ и держат 3–4 недели в карантине (ВПБЗ)[274], обривают, фотографируют, регистрируют и накалывают тебе на левую руку номер[275]. Но главным признаком отбора все равно оставались здоровье и физическое состояние: кандидаты в «зондеркоммандо» должны были пройти через еще одну селекцию — серьезную медицинскую комиссию, освидетельствовавшую их на предмет пригодности для этой каторжной работы[276].

Получившим номера гарантировались жизнь и работа.

Но какая? И в каких случаях люди требовались именно в «зондеркоммандо»?

Только в одном — если рук у «зондеркоммандо» не хватало. А вот нехватка возникала уже в двух ситуациях: или когда членов «зондеркоммандо» становилось меньше (иными словами, когда их самих или их часть отправили в печь или назначили для этого определенный день), или когда работы — «спецобслуживания» не прошедших селекцию евреев — становилось все больше и больше, пока было уже невпроворот: так оно случилось и весной 1944 года, когда эшелон за эшелон (иногда по несколько в день!) начали поступать венгерские и греческие евреи.

Примером первого варианта служит судьба самого Залмана Градовского или братьев Драгонов — Шлоймо и Абрама, двух евреев из Жиромина, попавших в Аушвиц 9 декабря 1942 года с транспортом из Млавинского гетто[277]. Тогда крематориев в Биркенау еще не было. В ходу были только ямы у двух бункеров — это оттуда пахло горелым мясом, это их низкое пламя было видно издалека, и особенно зловеще оно выглядело в ночи...

Как и Градовский, братья попали поначалу в карантинный блок № 25 зоны Б в Биркенау, но буквально на несколько часов, так и не отбыв положенные по регламенту три карантинные недели. В тот же день их перевели во 2-й блок, где до них жил предыдущий состав «зондеркоммандо»[278]. Уже назавтра, 10 декабря, новичков вывели на работу к одному из бункеров. Потрясенный увиденным, Шлоймо попытался перерезать себе вены осколком бутылки. Но назавтра его (а заодно и его брата) из-за этого пожалели и оставили в бараке штубовыми. После этого всю команду перевели в блоки 11 и 13; в блоке 11 братья прожили около года, пока их не перевели в блок 13 (в блоке 11 размещалась штрафкоммандо), а летом 1944 года — непосредственно на крематории.

Примерами второго варианта могут послужить случаи Леона Когена и Иозефа Заккара[279].

Л. Коген родился в 1920 году в Салониках, получил светское образование, но учил иврит в воскресной школе. Уцелев в Аушвице, он после войны вернулся в Грецию, а в 1972 году переехал в Израиль.

В Аушвиц он попал 11 апреля 1944 года[280], прошел селекцию и получил № 182492. После карантина его перевели в Биркенау и включили в состав «зондеркоммандо». Его выдуманная профессия — дантист — оказалась необычайно востребованной на новом месте: он вырывал у жертв золотые зубы и протезы. Работал сначала в бункере, потом на крематории IV, а затем на кремато-

рии III, благодаря чему и уцелел. Его рабочее место как «дантиста» было поистине теплым — всего в трех метрах от ближайшей печи. Раскрыть рот (клещами!), осмотреть ротовую полость, вырвать зубы, и все — кивок головой: следующий! И так до 60–75 трупов за 10 минут![281]

Иозеф Заккар, родом из греческого городка Арт, был схвачен 24 марта 1944 года и привезен в лагерь Хайдари, что под Афинами, где пробыл до 2 апреля. Назавтра его самого, его отца, мать и сестер вместе с другими посадили в товарные вагоны и 14 апреля — накануне Пасхи — привезли в Аушвиц. Родителей он больше уже не увидел, а с сестрами расстался позднее.

При регистрации он получил № 182739. 12 мая в карантинном бараке провели еще одну мини-селекцию, но более строгую, с медицинским осмотром, после чего отобрали 200 или 300 человек[282]. Среди них оказались и его греческие соотечественники — братья Венеция, братья Коген, братья Габай из Афин, Шаул Хазан, Михаил Ардетти, Пеппо-Йозеф Барух, Марсель Надьяри, Даниэль Бен-Нахмиас, Менахем Личи и другие.

Всех новичков перевели в блок 13 лагеря Б. Узники, которые уже там были, «пожалели» новичков и не стали им ничего рассказывать и объяснять, сказали только, что в еде и всем прочем недостатка не будет, но что работа будет тяжелая и что будет ее много. Что именно за работа их ожидала, стало ясно из «экскурсии» назавтра к бункерам — к огромному костру на открытом воздухе, где полыхали на политых мазутом дровах еврейские трупы.

Как и Коген, Заккар начал работать на крематории IV, а через три дня был переведен на крематорий III, где и проработал до окончания самого концлагеря Аушвиц.

О себе И. Заккар говорил, что он, как и все другие, вскоре стал автоматом, машиной, что он был «всего лишь маленьким винтиком в механизме фабрики смерти»[283]. Он твердил заученные слова, успокаивал ими себя. Если бы он мог плакать — плакал бы, не переставая, а так можно сказать, что он плакал без слез, море его слез навсегда пересохло. И после Аушвица он уже и вовсе никогда не плакал[284].

Упомянутые Закаром братья Габай из Афин — Самуил, Дарио и Яков (все, кстати, итальянские граждане)[285] — прибыли из Салоник тремя днями раньше него — во вторник, 11 апреля. Из их эшелона в 2500 человек первоначальную селекцию на рампе прошли около 700 человек. А далее история Якова Габая (№ 182569) в точности совпадает с закараровской, в том числе и по месту работы — на крематории III.

В чем заключается феномен «зондеркоммандо»?

Многосложная этическая проблематика сопровождала каждого ее члена буквально на всем его лагерном пути.

Вот узника N во время селекции отобрали в члены «зондеркоммандо», разумеется, ни слова не сказав ему о его будущей деятельности: эту мерзкую информационную миссию, как правило, брали на себя все те же уцелевшие от ротаций и селекций старожилы — после того как надзиратели приводили новобранцев в их общий барак.

Вот новичка ввели в курс дела, и, наконец, до него доходит, что его близких — жены, отца, матери, детей — уже нет в живых. А если почему-то с их убийством вышла заминка, то не исключено, что ему еще придется «обслуживать» и их убийство! Он шокирован, оглушен, контужен... А что дальше? Как должен он реагировать на весь этот непередаваемый ужас? Ведь любая форма отказа или хотя бы возмущения, несомненно, была бы самоубийством. Кстати, такого рода самоубийства или хотя бы покушения на них, конечно же, случались, но были они большой редкостью[286]. Я. Габай рассказал о Менахеме Личи, действительно прыгнувшем в огонь[287].

Пусть не в первый свой день, но то же сделал и Лейб-Гершл Панич, застреливший в день восстания эсэсовца[288]. Э. Айзеншмидт сообщает сразу о трех известных ему случаях: два — это еврейские врачи во время восстания в октябре 1944 года, а третий — некий бывший полицейский из Макова, проглотивший 20 таблеток люминала, но его все равно спасли[289]. Об аналогичном случае на крематории V с капитаном греческой армии подробно вспоминает и М. Нижли[290], его спаситель. Кальмин Фурман[291], земляк Градовского по Лунно, пытался повеситься после того, как один раз поучаствовал в сожжении трупов своих близких, но спасли и его[292].

Есть свидетельства и о гипотетических (в любом случае — не реализованных) намерениях совершить самоубийства[293]. Так, Ш. Драгон хотел перерезать себе вены бутылочным осколком, а Ф. Мюллер тоже хотел было присоединиться к своим жертвам, но те, как он пишет, упростили его остаться в живых и все рассказать[294].

Но рассказ Даниэля Бен-Нахмиаса о четырехстах греческих евреях из Корфу и Афин, отобранных в «зондеркоммандо» для «обслуживания» венгерских евреев на крематории II и дружно, как один, отказавшихся от этой чести, после чего их самих всех казнили и сожгли, — этот рассказ не вызывает доверия[295]. Ибо нет правил без исключения, но тем более нет правил, состоящих из одних исключений.

Гораздо ближе к реальности рассказ М. Надьяри, прибывшего в Аушвиц с тем же транспортом, что и Бен-Нахмиас: «Жар возле печей был невероятный. Этот жар, потоки пота, убийство стольких людей, выстрелы Моля не давали даже осознать до конца, что происходит. Моль уже застрелил первого из нас, греков, потому что тот не понял его приказ. Еще один, не пожелавший иметь с происходящим ничего общего, бросился сам в печь[296]. Обер-шарфюрер Штейнберг застрелил его, чтобы он не мучился и чтобы мы не слышали его криков. В тот вечер все мы решили умереть, чтобы покончить с этим. Но мысль о том, что мы могли бы организовать атаку, побег и отомстить — [взяла верх]. С этого момента и началась наша конспирация...»[297].

Следующая моральная дилемма возникала сразу же, в раздевалке, при первом же контакте с жертвами: говорить или не говорить им о том, что их ждет? А если спросят? Понятно, что такого рода предупреждения и вообще разговоры были строго-настрого запрещены[298]. Если бы они заговаривали, спрашивали и узнавали больше о жертвах, хотя бы их имена[299], — это легло бы страшной дополнительной нагрузкой на их психику и стало бы непереносимо. Но если бы они не заговаривали, то не знали бы многого из того, что знали о прибывших транспортах. Да и совсем молча было бы невозможно справиться со своей главной задачей в раздевалке — подействовать на жертвы успокоительно, с тем чтобы они как можно быстрее разделись и мирно проследовали бы в «банное отделение». Можно долго рассуждать о том, насколько же легче было несчастным жертвам провести свои последние минуты в «мирном общении со своими», но от этого ничего не изменится в полном осознании того, как же подла эта «главная задача».

Тут же, кстати, возникала и еще одна проблема — проблема женской наготы, а ведь практически все партии были смешанными — мужчины и женщины вместе. Женщины плакали от стыда из-за необходимости раздеваться перед посторонними (при этом на мужчин из «зондеркоммандо» столь острое чувство не распространялось — они воспринимались как некий приданный бане медицинский персонал).

После того как последний человек заходил в газовую камеру и массивная дверь закрывалась, облегчение испытывали не только эсэсовцы, но и члены «зондеркоммандо». Некому уже было заглянуть им в глаза, и моральная проблематика, весь стыд и ужас уходили на задний план. В дальнейшем — и уже очень скоро — им предстояло иметь дело только с трупами, да еще с добром и пожитками покойников.

По негласной условленности все съедобное и весь алкоголь, что были в вещах, доставались «зондеркоммандо», служа серьезной добавкой к их казенному рациону и своеобразной «валютой», весьма котировавшейся во всем лагере[300], в том числе и у эсэсовцев-вахманов.

Что касается денег и ценных вещей, то их присваивать себе было категорически запрещено — как «зондеркоммандо», так и СС; тем не менее это происходило, хотя делал это не каждый из работавших в раздевалке — некоторые из страха быть пойманными, единицы — из моральных соображений. Частично деньги шли на подкуп СС и на финансирование восстания. Но был еще и черный рынок.

Что же касается трупов, то — несмотря на всю сакральность мертвого тела в еврейской религии — очень скоро от почтения к ним ничего не оставалось. Иные члены «зондеркоммандо» позволяли себе ходить по ним, как по вздувшемуся ковру, сидеть на них и даже, облокотившись, перекусывать.

Да они и сами были будущими трупами — чего тут церемониться: Все свои![301].

6

Другое обвинение, которое выдвигается против членов «зондеркоммандо», — это категорическая несовместимость статуса их работы и статуса их личностей с универсальным статусом человека.

Для того чтобы ответственно и не рискуя жизнью выполнять порученное им эсэсовцами, нужно прежде всего самим перестать быть людьми. Отсюда правомерность и другого тяжкого обвинения в их адрес — неизбежное в их ситуации озверение, потеря ими человеческого облика.

Это отчасти проявлялось и во внешнем виде членов «зондеркоммандо», но особенно — в их внутреннем состоянии: многие сталкивавшиеся с ними узники воспринимали их как грубых, опустошенных и опустившихся — неважно, что опущенных другими — людей.

Люся Адельсбергер так характеризовала членов «зондеркоммандо»: «То были уже не человеческие создания, а перекошенные, безумные существа»[302]. Или вот Врба и Ветцлер, чей побег, кстати, был бы невозможен без предметов, раздобытых «зондеркоммандо» и полученных от них, не скупятся на обличающие эпитеты: «Члены «зондеркоммандо» жили изолированно. Уже из-за чудовищного запаха, исходившего от них, с ними не возникало желания контактировать. Всегда они были грязные[303], абсолютно потерянные, одичавшие, жестоко подлые и готовые

на все. Не было редкостью, если они убивали друг друга»[304].

К ним примыкает даже не свидетельство, а настоящий приговор, или диагноз, слетевший с уст Сигизмунда Бенделя, одного из врачей «зондеркоммандо»: «В людях, которых я знал — в образованном адвокате из Салоник или в инженере из Будапешта, — не оставалось уже ничего человеческого. То были дьяволы во плоти. Под ударами палок или плеток СС они бегали как одержимые, чтобы как можно скорее выполнить полученное задание»[305].

А вот свидетельство еще одного специалиста-врача: «Члены «зондеркоммандо» болели редко, их одежда была чистой, их простыни свежими, пища хорошей, а иногда и исключительно хорошей. Кроме того, все это были молодые люди, отобранные именно вследствие их силы и хорошего телосложения. Если у них и была склонность, то к нервным нарушениям, так как колоссальной тяжестью для них было осознавать, что их братья, их жены, их родители — целиком вся их раса — мученически погибали здесь. День за днем они брали тысячи тел и своими руками бросали их в печи крематориев. Последствиями этого были тяжелые нервные депрессии и, часто, неврастения»[306].

Некоторые, несомненно, просто сошли с ума, но остальные, движимые инстинктом выживания, становились апатичными и бесчувственными, эдакими роботами — рабочими механизмами без души и эмоций, что, впрочем, не мешало их дисциплинированности и «готовности на все».

На вопрос, что он чувствовал, когда слышал предсмертные крики задыхающихся людей за дверями газовни, Леон Коген ответил: «Я должен вам сказать что-то ужасное. Но это правда. Мы были тогда как роботы. Мы не могли позволить себе предаться силе чувств, которые возникали у нас по ходу нашей работы. Человек же эти чувства, являющиеся составной частью его работы, вынести не может! Мы же чувствовали себя «нормальными людьми» только тогда, когда мы эти свои чувства на корню подавляли, только тогда наши действия принимали личину «работы», которую мы должны были выполнить согласно указаниям немцев. Так это выглядело. Мы не думали об ужасном в нашей «работе», у нас не было по этому поводу эмоций. Собственно говоря, у нас не было и чувств. Мы их задушили еще в зародыше»[307].

Когену буквально вторил Яков Габай: «Поначалу было очень больно быть обязанным на все это смотреть. Я не мог даже осознать того, что видели мои глаза — а именно: от человека остается всего лишь какие-то полкилограмма пепла. Мы часто об этом задумывались, но что из этого всего толку? Разве у нас был выбор? Побег был невозможен, потому что мы не знали языка. Я работал и знал, что вот так же погибли и мои родители. Что может быть

хуже? Но через две, три недели я к этому уже привык. Иногда ночью, присев отдохнуть, я опирался рукой на труп, и мне уже было все равно.

Мы работали там как роботы. Я должен был оставаться сильным, чтобы выжить и иметь возможность все рассказать, что в этом аду происходило. Действительность такова, что человек ужаснее зверя. Да, мы были звери. Никаких эмоций. Иногда мы сомневались, а осталось ли в нас еще что-то человеческое? <...> Мы были не просто роботы, мы были звери. Мы ни о чем не думали»[308].

Так неужели на самом деле ни в ком из них не оставалось ничего человеческого? Были среди них нормальные, не озверевшие люди?

Были!

Наверное, все они мечтали о мести, но некоторые всерьез задумывались о сопротивлении и о восстании. Настолько всерьез, что однажды это восстание состоялось. Думается, что именно восстание и все, что с ним и с его подготовкой связано, сыграло решающую роль на пути возвращения многих членов «зондеркоммандо» из Биркенау к ментальной и душевной нормальности.

Свое человеческое начало всем им пришлось доказывать по самому высшему счету, и они его доказали! И не только, точнее не столько, самим восстанием, не только тем, что в считанные часы отвоеванной ими последней свободы они сумели разрушить и вывести из строя одну из четырех фабрик смерти в лагере.

Они доказали это прежде всего тем, что некоторые из них — пусть и немногие — осознавали себя последними свидетелями — и, может статься, первыми летописцами — последних минут жизни многих сотен тысяч соплеменников. Такое осознание придавало им моральную силу, и такие люди, как Градовский, Левенталь или Лангфус, в апатию или не впадали, или умели из нее выходить.

Они оставили после себя свои свидетельства — аутентичные и собственноручные записи с описаниями лагеря и всего того, чем им пришлось здесь заниматься, — эти поистине центральные документы Холокоста. (Берегли они и свидетельства третьих лиц, как, например, рукопись о Лодзинском гетто.)

Бесценны и десятки других свидетельств тех членов «зондеркоммандо», которые чудом остались в живых. Независимо от того, в какой форме они были сделаны — в форме ли показаний суду или при расследовании преступлений нацистов, в форме ли интервью[309] или в форме отдельных книг (как М. Нижли, Ф. Мюллер или М. Надьяри).

«Мы делали черную работу Холокоста» — как бы подытожил за всех Яков Габай[310].

7

Уже в лагере, изолированные от всего мира, члены «зондеркоммандо» все же сталкивались с тем отторжением и ужасом, которые они вызывали у других евреев — прежде всего у самих жертв.

Лейб Лангфус честно признается: «А вот случай из конца 1943 года. Из Шяуляя прибыл транспорт с одними детьми. Распорядитель казни направил их в раздевалку, чтобы они могли раздеться. Пятилетняя девочка раздевает своего годовалого братишку, к ней приблизился кто-то из коммандо, чтобы помочь. И вдруг девочка закричала: «Прочь, еврейский убийца! Не смей прикоснуться к моему братику своими запачканными еврейской кровью руками! Я теперь его добрая мамочка, и он умрет вместе со мной на моих руках». А семи- или восьмилетний мальчик, стоящий рядом, обращается к нему же: «Вот ты еврей и ведешь таких славных детишек в газ — но как ты сам можешь жить после этого? Неужели твоя жизнишка у этой палаческой банды тебе и впрямь дороже, чем жизни столько еврейских жертв?»[311].

Дети шарахались от «зондеркоммандо», для детей они были своего рода «персонификацией смерти»[312].

В уста Галевского, одного из руководителей восстания в Треблинке 2 августа 1943 года, Жан-Франсуа Штайнер, автор художественного произведения «Треблинка», вкладывает следующие слова: «В этом-то и корень необычайной силы нацистской системы. Она оглушает своих жертв, как это делают некоторые пауки. Она оглушает людей и убивает оглушенных. Кажется, что это довольно хлопотно, но в действительности иначе ничего бы не получилось. <...> Мы, пособники пособников и служители смерти, вегетируем в совершенно новом мире, мире посередине между жизнью и смертью, скомпрометированные настолько, что мы своей жизни можем только стыдиться»[313].

Когда палач и жертва находятся по разную сторону плахи — это хотя бы понятно. «Зондеры» же были принуждены соучаствовать в конвейере убийства и выполнять задания, о которые немцы, представители народа-господина, сами не хотели мараться. За это они оставляли их на некоторое время номинально живыми. Но, оставляя в живых бранные тела своих подручных, эсэсовцы убивали, а точнее, брали в заложники нечто большее — их души.

Члены «зондеркоммандо» были самые информированные заключенные во всем лагере и поэтому — самые охраняемые. И поэтому же — самые обреченные.

По поводу своей судьбы они не строили никаких иллюзий и прекрасно понимали, что принадлежность к «зондеркоммандо» — не что иное, как разновидность смертного приговора, но с временной отсрочкой приведения его в исполнение и без указания точного срока.

Иными словами, то, за что они боролись своим каждодневным трудом, было даже не жизнью, а всего лишь отсроченной смертью.

Так что же тогда двигало ими — природное жизнелюбие? Надежда на чудо? Или универсальный принцип, раньше всех и лучше всего сформулированный в ГУЛАГе: «Умри ты сегодня, а я завтра»?

8

Находя и опрашивая немногочисленных оставшихся в живых членов «зондеркоммандо», Г. Грайф предпринял попытку «понять границы морали тех, кто физически ближе всего находился к эпицентру убийства — месту, для которого немцы, казалось бы, исключали существование любых гуманитарных ценностей»[314]. Саму же методологию и методiku — принуждать одних жертв убивать других — он по праву называет дьявольской[315].

Сатанинской назвал ее в 1961 году и Г. Хаузнер, израильский обвинитель на процессе Эйхмана: «Мы найдем и евреев на службе у нацистов — в еврейской полиции гетто, в «советах старейшин» — «юденратах». Даже у входа в газовые камеры стояли евреи, которым велено было успокаивать жертвы и убеждать их, что они идут мыться под душем. Это была самая сатанинская часть плана — заглушить в человеке все человеческое, лишить его эмоциональных чувств и силы разума, превратить его в бездушного и трусливого робота — и, таким образом, сделать возможным превращение самих лагерных заключенных в часть аппарата, истребляющего их же братьев. В результате гестапо[316] смогло свести число своих людей в лагерях до минимума. Но, в конце концов, и роботы не могли избежать горькой участи и подверглись уничтожению, наравне с соплеменниками...»[317].

Да, деятельность членов «зондеркоммандо» была однозначно чудовищной. Настолько чудовищной, что их как коллаборантов высшей пробы — наравне с еврейскими полицаями в гетто — обвиняли в прямом пособничестве и чуть ли не в сопалачестве — непосредственном соучастии в убийстве![318] И отказать обвинителям в праве называть «зондеркоммандо» пособниками и коллаборантами нельзя. В видах собственного, хотя бы и кратковременного, спасения разве не соучаствовали они в этноциде целого народа, своего народа?

Ханна Арендт на этом основании даже желала бы распространить на них израильский закон 1950 года о наказании нацистских преступников — закон, по которому в 1960 году арестовали и судили Адольфа Эйхмана[319].

Арендт, правда, писала не столько о «зондеркоммандо», сколько о юденратах в гетто и их роли в Катастрофе. Именно юденраты с кастнерами и румковскими во главе были в центре общественного дискурса в Израиле в первые десятилетия существования страны. Как ни парадоксально, но на каждого пережившего Холокост в Израиле смотрели тогда не столько с сочувствием, сколько с подозрительностью и готовым сорваться с уст вопросом: «А что ты делал во время Холокоста?». Это отношение необычайно сродни советско-смершевскому: «И как это ты, Абрам, жив остался?»[320]

Рудольфа Кастнера, главу венгерских евреев, обвиняли в сделке с дьяволом и в предательстве интересов венгерской еврейской общины ради шкурного спасения 1700 человек еврейской элиты (в том числе себя и своих близких) в так называемом «Поезде Кастнера», проследовавшем из Будапешта в Швейцарию. Он стал объектом ненависти в Израиле, в его дочерей в школе кидали камнями. Сам же Кастнер, осужденный на первом своем процессе (1955), был оправдан на втором (1958), но не дожил до этого: в марте 1957 года он был застрелен мстителями-экстремистами.

Хайм Румковский железной рукой правил Лодзинским гетто и не боялся играть в шахматы с самим дьяволом. Ставкой были жизни, и, не колеблясь, отдавая фигуры за качество, он посылал на закланье все новые и новые тысячи еврейских душ. Но, в конечном итоге, проиграл, ибо в Лодзи уцелело лишь несколько сот человек[321].

«Зондеркоммандо», так же как и еврейская полиция в гетто, и еврейские «функциональные узники» в концлагерях, и выкредиты-полицаи, и берлинские «графферы», рыскавшие по городу по заданию гестапо в поисках соплеменников[322], и даже весь лагерь-гетто для привилегированных в Терезине или вип-концлагерь в Берген-Бельзене — все это лишь части того сложного и противоречивого целого, к которому в Израиле поначалу выработалось особое — и весьма негативное — отношение. Молодое еврейское государство испугалось своей предыстории и не захотело, а отчасти не смогло разобраться в страшнейших страницах недавнего прошлого. Идеологически поощрялся лишь героизм, и особенно — героизм убежденных сионистов.

Но даже это «не помогло» мертвому герою восстания в Аушвице — убежденному сионисту Градовскому — получить в Эрец Исраэль более чем заслуженное признание. Принадлежность к

«зондеркоммандо» — это как каинова печать, и именно этим объясняется нежелание некоторых из уцелевших ее членов пойти на контакт с историками и дать интервью[323]. Этим же объясняется и зияющее отсутствие этой темы в большинстве музейных экспозиций по Шоа.

Спрашивается: а возможно ли вообще сохранить в концлагере жертвенническую «невинность»? Каждый из правого ряда на рампе виноват уже тем, что не оказался в левом, ибо только эти жертвы — чистейшие из чистейших. Все остальные, если дожили до освобождения, наверняка совершили какое-нибудь «грехопадение». Выжил — значит пособничал, выжил — значит виноват.

На этом посыле и построено то уродство в общественной жизни Израиля, о котором упомянуто выше. В точности то же самое было и в СССР, для которого каждый репатриированный бывший остарбайтер и бывший военнопленный был чем-то в диапазоне между предателем и крайне подозрительной личностью. Добавим к этому, что СССР был единственной страной в мире, требовавшей от своих военнослужащих ни в коем случае не сдаваться в плен врагу, а биться до предпоследнего патрона, последним же патроном — убить себя!

В любом случае нацисты преуспели еще в одном: убив шесть миллионов, они вбросили в еврейство другой яд — яд вечного раздора и разбирательства, не исторического исследования, а бытового противостояния и темпераментной вражды. Только этой общественной конъюнктурой можно объяснить такие обвинения в адрес членов «зондеркоммандо», как их якобы прямой «интерес» в прибытии все новых и новых транспортов, то есть как можно более продолжительном и полном течении Холокоста. Только это, мол, страховало их жизни и сытость.

Так, Г. Лангбайн цитирует некоего Э. Альтмана, «вспоминающего» явно мифическое высказывание одного из «зондеров» (так иногда называли членов «зондеркоммандо»): «Ага, неплохой эшелончик прибыл! А то у меня уже жратва кончается». (Как мог член «зондеркоммандо» заранее знать, что прибыло, и как мог Э. Альтман все это от него услышать: в пабе после работы?)[324] Но этому, однако, нет ни одного подтверждения. Понимать связь явлений — это одно (и такое понимание имело место), а паразитировать на смерти и молиться на нее — это, согласитесь, другое.

Признавая на суде свои «ошибки», но так ни разу и не покаявшись сам, Хёсс, однако, нашел слова для ехидного осуждения евреев из «зондеркоммандо»: «Своеобразным было все поведение «зондеркоммандо». Исполняя свои обязанности, они совершенно точно знали, что после окончания [Венгерской] «операции» их самих ожидает точно такая же участь, как и их соплеменников,

для уничтожения которых они оказали столь ощутимую помощь. И все равно они работали с рвением, которое меня всегда поражало. Они не только никогда не рассказывали жертвам о том, что им предстоит, но и услужливо помогали при раздевании и даже применяли силу, если кто-нибудь ерепенился. <...> Все как само собой разумеющееся, как если бы они сами принадлежали к ликвидаторам»[325].

Эти признания, возможно, послужили толчком (и уж во всяком случае — пищей) для теоретических построений итальянского историка и философа Примо Леви, который сам пережил Аушвиц.

До известной степени Примо Леви поддается на провокацию эсэсовцев, о которой он сам предупреждал: «Те, кто перетаскивает еврейские трупы к муфелям печей, обязательно должны быть евреями, ибо это и доказывает, что евреи, эта низкоразвитая раса, недочеловеки, готовые на любые унижения и даже на то, чтобы друг друга взаимно убивать. <...> С помощью этого института [«зондеркоммандо»] делается попытка переложить вину на других, и самих по себе жертв, с тем чтобы — к собственному облегчению — их сознание уже никогда не стало бы безвинным»[326].

И все же по существу Примо Леви не слишком сгущает краски, когда называет случай «зондеркоммандо» экстремальным в коллаборационизме[327]. Он обратил внимание и на такой феномен, как своеобразное «братание» эсэсовцев, работавших на крематориях, с членами «зондеркоммандо»: первые держали вторых как бы за «коллег», отчего — несмотря на свои истинно арийские котурны — эсэсовцы не считали для себя зазорным играть с ними в футбол[328], поддерживать сообща черный рынок и даже вместе выпивать[329].

Быть может, самым ярким проявлением этого Kameradschaft (сотоварищества) являлись отношения Менгеле и Нижли. Врач-эсэсовец, член партии, приказал (а на самом деле — доверил!) презренному жиду Нижли (тоже врачу) сделать аутопсию застрелившегося эсэсовского полковника[330]. Подумать только: врач-еврей, которому согласно нюрнбергским законам и приближаться к немецкому пациенту запрещено, кромсает скальпелем драгоценную арийскую плоть! И где? В Аушвице!

9

Утонченная интеллектуальная констатация Леви феномена «братания» и условной коллегиальности между членами СС и «зондеркоммандо» не рассчитана на то, чтобы стать методологией. Уж больно она эксклюзивна и выведена из исторического контекста, в котором различие между теми и другими настолько огромно, что само это наблюдение и его эмпирическая подоснова

едва-едва различимы.

Однако именно как методологию восприняла ее ученица Леви Регула Цюрхер из Берна: встав на ее рельсы, она и докатилась, пожалуй, дальше всех. Ничтоже сумняшись, она просто соединила членов «зондеркоммандо» и эсэсовцев на крематориях в некое общее, по-будничному звучащее, понятие — «персонал установок по массовому уничтожению в Аушвице»[331]. Конечно, разбирая по пунктам их «работу», их «быт», их «менталитет» и т. д., она рассматривает их раздельно, как подгруппы этой группы, но черта уже перейдена, и рельсы сами ведут куда надо. Возьмем критерий антисемитизма: ага, у СС — он есть, а у «зондеркоммандо» — нет. А вот критерии «жажды выжить», «стремления к обогащению»: эти критерии, видите ли, есть у обоих подгрупп этого «персонала»! И еще они отличаются по степени «развязанности рук»[332]. И так далее...

Вместе же взятые, единые в этом и различные в том, они все равно формируют пресловутый «персонал». Так профанируется методология учителей!

Р. Цюрхер предлагает различать среди членов «зондеркоммандо» четыре подгруппы: а) потенциальные самоубийцы, б) борющиеся за жизнь любой ценой, но оправдывающие это тем, что им предстоит рассказать обо всем миру, в) организаторы подполья и повстанцы и г) «роботы», не сохранившие никаких человеческих чувств. Вместе с тем это никакие не типы, а разные состояния все одного и того же — состояния души членов «зондеркоммандо». Каждый из них, может быть, прошел через ту или другую комбинацию этих состояний, ставших для него своего рода этапами.

Результат же, к которому приходят Леви и его ученица, банален: наряду с «черной зоной» — местообитанием абсолютного зла — существует, оказывается, некая «серая зона», которую, со стороны СС, манифестирует, например, Курт Герштейн[333], а со стороны «зондеркоммандо», надо полагать, подготовители восстания.

Итак, в глазах многих евреев на членах «зондеркоммандо», как и на членах юденратов, лежит каинова печать предательства и соучастия в геноциде.

Именно эта установка на многие десятилетия была определяющей в отношении к «зондеркоммандо» со стороны широкого еврейского сообщества, а отчасти и со стороны историков. Развиваясь по законам черно-белого мифотворчества, это обстоятельство, безусловно, отразилось и на истории публикации их бесценных рукописей.

Но настоящей «серой зоной» была та общественная атмосфера, которая их обволакивала.

* * *

Разве перед селекцией на рампе и в бараке спрашивали у Градовского или Лангфуса, а не хотели бы они попробовать себя в такой новой для себя и «аттрактивной профессии» как работа в «зондеркоммандо» (с приложением должностных инструкций)? Выбор, который им тогда оставался, — это не выбор между 100-граммовой и 500-граммовой пайкой, а выбор между жизнью и смертью, между принятием навязываемых условий и прыжком в пылающую яму или гудящую печь [334].

И я не знаю, что сделали бы всеми уважаемые Примо Леви или Ханна Арендт, если бы они оказались на месте этих проклятых предателей и сопалачей. Прыгнули бы они в печь?

Осмелюсь напомнить, что именно члены «зондеркоммандо» — они, и только они — долго вынашивали и в конечном счете пусть спонтанно, но осуществили единственное в истории Аушвица-Биркенау восстание, все участники которого геройски погибли.

Что одним действующим крематорием после восстания стало меньше.

Что именно они оставили — написали и спрятали — самые многочисленные и самые авторитетные свидетельства о том, что там происходило (и не их вина, что до нас дошло всего лишь восемь из них).

«Зондеркоммандо» — это не штабная, а штрафная рота и ее члены — это штрафники, но рвущиеся в бой и надеющиеся на то, что кровью смоют с себя тот подлый позор, на который их обрекли враги, и еще на то, что весь мир признает и зачтет им не только их малодушие и преступления, но и их подвиги.

II. Уничтоженный крематорий: смысл и цена одного восстания

1. Диспозиция сопротивления: польский и еврейский центры

Как непосредственные носители главного людоедского секрета Третьего Рейха члены «зондеркоммандо» были априори еще более обречены на смерть, чем их жертвы. Прямых инструкций, предписывающих сменять «зондеркоммандо», скажем, каждые четыре месяца или полгода, не было — иначе бы немцы их строго исполняли, а в самих акциях исполнения прослеживалась бы более строгая периодичность, нежели это было на самом деле. Но угроза висела над ними каждый день, каждый час и каждую минуту. При этом немцы, конечно, ценили их опыт [335] — живые они были им все же полезнее, чем безвредные мертвые; да и обучать новеньких в самый разгар запарки с венгерскими евреями было некогда.

Отсюда тактика, она же стратегия, самой «зондеркоммандо» — выбрать момент, восстать, вывести из строя печи и газовни, перерезать проволоку и прорваться за пределы лагеря, а там, там — на волю. В Татры, в Бескиды, например! К партизанам!

Иными словами, достойной целью восстания представлялся именно массовый и успешный побег[336]. То же самое, к слову, было и в других лагерях смерти — Треблинке и Собиборе.

Кстати, о побегах. Сами по себе еврейские побеги были сравнительной редкостью — шансов на успешный побег у них практически не было. Без больших надежд на сочувствие и помощь со стороны окрестных поляков у евреев (даже у польских) не было и серьезных шансов уцелеть[337].

Не случайно едва ли не все успешные еврейские побеги пришлось на 1944 год. 5 апреля вместе с настоящим эсэсовцем Виктором Пестиком[338] бежал переодевшийся в эсэсовскую форму Витеслав Ледерер, прибывший в Аушвиц из Терезина в декабре 1943 года: он добрался до Чехословакии, связался с подпольщиками, жил в укрытиях в разных городах и несколько раз тайно посещал Терезин. Там он встречался с членами еврейского Совета старейшин и рассказал им о том, что их ожидает в Аушвице. Но они не верили ему, а только качали головами и показывали почтовые карточки из мистического «Ной-Беруна» с датой 25 марта, а столь недостоверными и нелепыми байками они решили 35 тысяч евреев не волновать[339].

7 апреля 1944 года убежали словацкие евреи Рудольф Врба (настоящее имя Вальтер Розенберг) и Альфред Ветцлер; оба работали в Биркенау регистраторами[340]. Переждав три дня в заранее подготовленном укрытии, они пошли вверх вдоль Солы, пересекли границу со Словакией и благодаря помощи случайно встреченных людей, 25 апреля благополучно добрались до Жилины[341].

Следующую пару составили Чеслав Мордович и Арношт Росин, причем Росин (№ 29858) — бывший и старейший член «зондеркоммандо» и, наверное, единственный, кому удалось от этой «честь» откупиться (он прибыл в лагерь 17 апреля 1942 года и после нескольких недель на строительстве лагеря в Биркенау был включен в «зондеркоммандо», но за взятку был переведен в качестве старосты блока в барак № 24). Они бежали 27 мая 1944 года — примерно по той же схеме, что Ветцлер и Врба. 6 июня их даже арестовали в словацкой деревушке Недеца, но приняли за контрабандистов (у них были с собой доллары) и отпустили, вернее, позволили местной еврейской общине выкупить их из тюрьмы и спрятать все в том же Липтовски Святы Микулаше[342].

Время от времени члены «зондеркоммандо» пытались бежать и со своих рабочих мест, но всегда неудачно. Особенно громким был провал побега пятерых во главе с французским евреем-капо Даниэлем Остбаумом, подкупившим охрану. Их поймали и вместе с подкупленным охранником, которого Остбаум выдал, казнили[343]. Этот побег был использован как повод для очередной ликвидации «зондеркоммандо» в феврале 1944 года — и это та самая селекция, о которой пишет Градовский в «Расставании»[344].

Были и другие задокументированные случаи еврейского сопротивления или коллективного неповиновения в лагере. Так, ночью 5 октября 1942 года около 90 евреек-француженок были убиты во время «кровавой бани», устроенной эсэсовцами и немками-капо (из уголовниц) в бараке женской штрафной роты в лагерном отделении Аушвица в Будах (близ Биркенау). Шестеро из их особенно рьяных убийц были даже казнены 24 октября после проведенного политотделом расследования[345].

Встречался и еврейский самосуд — правда, только по отношению к «своему», к еврею-коллаборанту: так, «незарегистрированные» евреи из Лодзи якобы забили до смерти ненавистного им председателя юденрата Румковского прямо перед их общей газацией[346].

А вот история, которая облетела весь концлагерь, ибо — с небольшими вариациями — ее рассказывали десятки человек. 23 октября 1943 года в Аушвиц прибыл транспорт с так называемыми «евреями на обмен» из Берген-Бельзена, в основном, богатыми евреями из Варшавы. Их заставили раздеться, и тогда одна женщина, красавица-артистка, улыбнувшись, хлестнула только что снятым бюстгальтером по лицу стоявшего рядом высокопоставленного эсэсовца (Квакернака), выхватила у него револьвер и двумя выстрелами смертельно ранила рапортфюрера Шиллингера, стоявшего рядом с Квакернаком[347], а также самого Квакернака или унтершарфюрера СС В. Эмериха. После этого и другие женщины набросились на эсэсовцев в попытке выхватить у них оружие, но всех их перестреляли на месте. Своего рода Массада посреди Холокоста!

Спонтанное сопротивление демонстрировали иногда и члены «зондеркоммандо»: два греческих и три польских еврея транспортировали однажды пепел к реке под конвоем всего лишь двух эсэсовцев. Греки — оба флотские офицеры и оба из Афин — напали на них, одного утопили и переплыли на другой берег, где вскоре и были пойманы (все трое польских евреев при этом стояли и безучастно смотрели)[348]. Одним из двух греков был кадровый офицер Альберто (по другим источникам — Алессандро или

Алекс) Эррера, имя которого фигурировало и в связи с подготовкой восстания, что позволяет датировать это событие скорее всего августом или сентябрем 1944 года[349]. Отчаявшись дожидаться общего восстания, Эррера не преминул воспользоваться предоставившимся случаем и «восстал» самостоятельно.

Примером не спонтанной, а длительной и «рафинированной» подготовки может послужить еще один — и, увы, тоже неудачный — побег шести польских евреев из Аушвица, состоявшийся 28 сентября 1944 года. Беглецы прикинулись двумя эсэсовцами, сопровождавшими четырех стекольщиков к определенной стройке. Всех их нашли — поймали или расстреляли, но те, кто встал под пули палачей, выкрикивали здравицы в честь Сталина и свободной Польши (вся эта акция была бы совершенно невозможна без опоры на польское подполье)[350].

Более успешными оказались побег[351] советских военнопленных и членов польского Сопротивления. Бежали они совершенно по-разному: первые — как-то безоглядно, на авось и не считаясь с «ценой вопроса», а вторые — не бежали, а именно устраивали побег: долго и осторожно и то лишь после того, как была отменена — из соображений сбережения трудовых ресурсов — коллективная ответственность за них. Бежали в основном к «своим» — к партизанам из Армии Крайовой: связь с ними у польского подполья была действительно налаженной[352].

Во главе лагерного подполья стояли поляки (Юзеф Циранкевич, Збышек Райноч и Тадеуш Холуй), австрийцы (Хайнц Дюрмаер, Эрнест Бургер, Герман Лангбайн) и немцы (в частности Бруно Баум, заменивший Бургера). Но в организации состояли и русские, и евреи[353]. А вот французы и бельгийцы не примкнули к общей организации, предпочтя маленькие, но свои очажки. Своя автономная организация, судя по всему, была и в чешском лагере.

До февраля-марта 1942 года, когда начали поступать первые еврейские эшелоны, Аушвиц был почти исключительно польским лагерем, и, несмотря и на то, что в 1943-м евреев было уже втрое, а в 1944 году даже вчетверо больше, чем поляков, именно польское Сопротивление было наиболее организованным и сильным. Поляки постепенно вытесняли даже немцев-рейхсдойче со всех важных внутрилагерных постов[354].

Строго говоря, какого-то общепольского Сопротивления в контексте Второй мировой войны не было и не могло быть: но если между «аковцами» и «аловцами»[355] где-то и возникало какое-то единство, то как раз в тяжелых и чрезвычайных ситуациях, таких, например, как во время Варшавского восстания или в жестких обстоятельствах концлагеря.

Свою деятельность подпольщики из Аушвица I понимали прежде всего как постепенный захват ключевых позиций — должностей так называемых функциональных узников (капо, форарбайтеров, штубендистов и др.) — и систематическое вытеснение с этих должностей своих политических соперников, вытеснение любой ценой. Кроме того, подкармливание и облегчение режима для своих, нередко помещение их в изоляторы к «своим» врачам, иногда — создание фальшивых документов и даже смена номеров. Начиная с 1943 года подпольщики регулярно слушали радио и раз в неделю — по принципу радио, но «сарафанного» — проводилась своего рода политинформация. Искались и находились различные пути для взаимодействия с другими лагерными отделениями и, что особенно трудно и важно, с внешним миром: за время существования лагеря на волю было переправлено около 1000 касиб! И это, наверное, самое серьезное из того, что заговорщики могли поставить себе в заслугу: на основании этих касиб в Кракове выходила даже летучая газета «Эхо Аушвица»[356].

Наконец, изыскивался и припрятывался (на чердаке дезинфекционного барака) инструментарий для будущего восстания — например, ножницы для взрезывания колючей проволоки, оружие, но оно, похоже, ушло обратно на «черный рынок», ибо Баум говорит о членах «зондеркомmando» как о неплохо вооруженном воинстве. И надо признать; многое у подпольщиков из Аушвица I было вполне налажено — какой контраст по сравнению с тем, чем располагали члены «зондеркомmando»! Даже оружие для «зондеркомmando» подпольщики из «Боевой группы Аушвиц» были в состоянии раздобыть и поставить, пусть и не бесплатно (благо у «зондеров» была прочная репутация «платежеспособных» — особенно котировались их доллары и лекарства).

Кроме «рыночных» имелись и союзнические отношения: члены «зондеркомmando» передавали подпольщикам в центральный лагерь списки эшелонов и даже фотографии процесса уничтожения, а центр, в свою очередь, снабжал их не менее существенными сведениями, например заблаговременной — и потому жизненно важной — информацией о сроках предстоящих селекций среди «зондеркомmando». Роль связных при этом выполняли отдельные мастеровые (например, электрики) или узники, работавшие на складах «Канады», соприкасавшиеся и с основным лагерем, и с «зондеркомmando»[357].

На фоне ротационной динамики заключенных в Биркенау и Моновице жизнь в основном лагере в Аушвице, если только она проходила не в бункере и не в медико-экспериментальных «лабораториях», могла считаться верхом размеренности и стабильности.

А у прошедших сквозь рампу евреев, даже если их и зарегистрировали, счет подаренной им лагерной жизни, по некоторым оценкам, шел не на годы, а на первые месяцы: с такой средней продолжительностью им просто не доставало времени не то что на вынашивание планов сопротивления, но и на то, чтобы элементарно оглядеться.

Как возможное исключение и источник надежды смотрелся семейный Терезинский лагерь — эта имитация классического гетто, но уже как бы депортированного куда надо. Всего в двух шагах от него плескался кровавый океан то быстрой, то замедленной еврейской смерти — и, оглядевшись, просто невозможно было предполагать, что тут могут быть исключения. Но, как показала жизнь (а точнее смерть), терезинцев сковывало по рукам и ногам именно ощущение собственной исключительности и привязанность к своим близким, жизни которых при всяком сопротивлении ставились бы на кон, и ничем не объяснимая уверенность в том, что их «островок еврейского счастья» неприкасаем.

Намеки Градовского на то, что между «зондеркоммандо» и терезинцами было что-то вроде соглашения о намерениях (если вторые восстанут, то первые к ним присоединятся), подтверждается Врбой и Ветцлером. Кто-то из них двоих был связующим звеном, другим был директор еврейской школы терезинцев Фреди Хирш: не сумев организовать такое выступление, он покончил с собой[358].

Возможность оглядеться была, разумеется, у самих членов «зондеркоммандо», а вот уверенности в завтрашнем и даже сегодняшнем дне у них не было совершенно. Не было у них и «обремененности семьями», а после беспроblemного уничтожения семейного лагеря, чему они были как минимум свидетелями, среди них сложилось и все более крепло ощущение, что им уже не на кого полагаться — только на самих себя. Все это и делало их группой, максимально заинтересованной в восстании, и чем раньше, тем лучше[359].

Непременной частью их планов было уничтожение самого узкого звена аушвицкого конвейера смерти — крематориев. Похоже, что «зондеркоммандо» были единственной в мире силой, вознамерившейся вывести из строя хотя бы часть инфраструктуры Холокоста. Красная Армия была еще далеко, а никому из союзников с их воздушными армадами это, кажется, не приходило в голову.

Независимо от исхода восстания сама подготовка к нему — это то, что примиряло члена «зондеркоммандо» с ужасом происходящего и возвращало его в рамки нормальности и моральности, давая шанс искупить вину и реабилитироваться за все ужасное,

что на их совести. И тут «неудачи» решительно не могло быть — удачей было бы уже умереть по-человечески, а может и героически, умереть в борьбе — умереть людьми!

В этом смысле восстание членов «зондеркоммандо» в Биркенау сродни обоим Варшавским восстаниям: шансов на победу никаких, но боевой и моральный дух они подняли исключительно!

Но это шло решительно вразрез со стратегией (она же тактика) польского руководства «Боевой группы Аушвиц»: никаких резких движений, выжить любой ценой, поелику возможно информировать внешний мир и лишь тогда поднимать восстание, когда будет ясно, что СС хочет всех уничтожить или когда Красная Армия постучится прямо в ворота.

Как известно, никакого восстания, разработанного подпольем основного лагеря, не состоялось. Приводимое Баумом описание его плана настолько мутное, что впору усомниться как минимум в значительности роли самого Баума в их разработке. Весь пар ушел в хитроумную организацию экстравагантных побегов, неудавшихся из-за банального предательства, невезенья и превентивной эвакуации немцами на запад показавшихся им подозрительными лиц[360].

Удивительно, но Баум при этом не постеснялся, с одной стороны, упрекать «зондеркоммандо» в бездействии, когда они не поддерживали обреченных, догадавшихся у дверей газовой камеры о предстоящей ликвидации и начинавших спонтанно бунтовать и не повиноваться, а с другой, удерживал членов «зондеркоммандо» от выступления и предупреждал прочих узников Биркенау о неразумности присоединения к восстанию «зондеркоммандо», если таковое случится[361]. В то же время четырех евреек — работниц фабрики «Унион», с риском для жизни добывших и доставивших в крематории порох для гранат и принявших, когда это раскрылось, героическую смерть на виселице, — Баум причисляет к «своей» организации, упомянув «зондеркоммандо» лишь мельком и сквозь зубы[362].

Исчерпывающим выражением уверенности в том, что немцы позаботятся, чтобы ни один еврей не вышел из концлагеря живым, а оставшиеся в живых поляки не расскажут правду о погибших, является следующий пассаж из Залмана Левенталя: «История Аушвица-Биркенау как рабочего лагеря в целом и как лагеря уничтожения миллионов людей в особенности будет, полагаю, представлена миру недостаточно хорошо. Часть сообщений поступит от гражданских лиц. Между прочим, я думаю, что мир и сегодня уже кое-что об этом знает. А остальное расскажут, вероятно, те поляки, что по воле случая останутся в живых, или же представители лагерной элиты, которые занимают лучшие места

и самые ответственные должности, или же, в концов концов, и те, чья ответственность не была столь большой...»[363].

Давая евреям обещания, которые они и не собирались выполнять, поляки добивались и поначалу добились только одного — максимальной отсрочки восстания.

Тем не менее однажды оба центра сумели договориться, при этом поляки потребовали большие деньги за помощь восстанию[364].

Согласовали и общий срок выступления — одна из пятниц в середине июня 1944 года: скорее всего, 16 июня. Судя по всему, переговорщиками — через курьеров — были Циранкевич и Бургер с польской стороны, и капо Яков Каминский — с еврейской[365]. Однако, перенеся этот срок в последнюю минуту и в одностороннем порядке, польская сторона не только сбила боевой настрой еврейской стороны, но и во многом деконспирировала ее, что не могло не иметь последствий и, возможно, стоило жизни руководителю еврейского штаба — капо Каминскому. В начале августа его застрелил лично Моль.

После этого фиаско евреи, по выражению Левенталья, «сжали зубы, но промолчали». А после сентябрьской селекции в «зондеркомmando»[366] они окончательно разочаровались в перспективах сотрудничества с поляками, отчего и решились на мятеж-соло[367].

Уже после разгрома восстания — и в самом конце своей рукописи (и своей жизни) — Левенталь обвинил поляков в сознательной недобросовестности и коварстве, решительно отказав им в праве на уважение и доверие: «У них было только одно желание — обделать свои собственные, личные дела за счет наших усилий и ценою наших жизней. <...> [Поляки] использовали нас по-всякому, мы же передавали им все, что они только ни просили — золото, деньги, деликатесы — ценою в миллионы, И самое главное: мы поставляли им документы и материалы обо всем, что здесь происходило... Все, вплоть до самых мелочей, передали мы им о том, что здесь творилось и чем когда-нибудь заинтересуется весь мир. Конечно, всем будет любопытно и захочется узнать, что же тут у нас творилось, но без нас никто не узнает, что именно происходило и когда. <...> Мы делали все, что только могли, ничего не прося взамен, но оказалось, что поляки, с которыми мы стояли в связи, нас попросту обдурили. И все, что они у нас забрали, они использовали для своих целей. И даже материалы, которые мы им пересылали, они приписывали себе. Наши имена они совершенно замолчали, как если бы мы тут совершенно ни при чем... <...> Во всем они нас обманули и бросили на произвол судьбы. <...> Но все равно мы будем делать свое дело и постараемся

все это сохранить для мира. Мы будем все просто закапывать в землю. И если кто-то захочет это найти, он обязательно найдет <...> во дворе нашего крематория[368], но не в сторону дороги с противоположной стороны, [а]с другой стороны, там вы многое найдете, потому что таким образом мы должны предъявить миру накануне надвигающихся событий и всё это с помощью системы летописца, как это положено, описать все так, как это развивалось. Отныне мы всё будем прятать в земле...»[369].

Увы, слова Левенталья оказались во многом справедливыми и пророческими: «Евреев из «зондеркоммандо», — писал Збигнев Соболевский, — в Польше при коммунистах всегда выставляли предателями, коллаборантами, но в моих глазах это были герои, ибо, имея пусть и небольшие шансы на выживание, они вчистую пожертвовали ими и разрушили крематорий единственно ради того, чтобы сократить смертоносный потенциал Аушвица»[370].

2. Подготовка восстания: планы, сроки и руководители

Когда Залман Градовский в «В сердцеvine ада» писал, что все члены «зондеркоммандо» составляли как бы одну большую семью, он все-таки выдавал желаемое за действительное. На самом деле лишь часть из них кипела жаждой мести и восстания, другие, которых было не меньше, цеплялись за любой дополнительный час своей жизни, а третьи, составлявшие большинство, были «совершенно апатичны. Им было все равно, они были не люди, а роботы»[371]. Были и другие оси, испытывавшие социум «зондеркоммандо» на прочность, например, и в аду сохранившийся антагонизм между евреями-ашкеназами и евреями-сефардами[372]. Он, несомненно, достигал своего апогея во время селекции: сефарды были бесспорно первыми кандидатами в списки, составлять которые входило в обязанность капо-ашкеназов. Не были дружескими и отношения поляков с русскими[373]. Просто чудо, что среди всей этой неоднородной еврейской массы — по крайней мере, накануне и во время восстания — предателей, в сущности, не оказалось![374]

Но так, без предателей, обходилось не всегда: как правило, они находились. Мы очень мало знаем о той «зондеркоммандо», на замену которой и отбирали Градовского со товарищи. Она была ликвидирована 3 декабря 1942 года, и одним из поводов к ликвидации послужили ее намерения, а возможно и действия по подготовке к восстанию[375]. Членов той «зондеркоммандо» предали и убили, а содержание их плана так и осталось неизвестным.

Залман Левенталь в своих записках и Ф. Мюллер в своих воспоминаниях описали первоначальный план восстания, которое, согласно Х. Тауберу и Ф. Мюллеру, намечалось на одну из пятниц в

середине июня 1944 года[376]. Важно подчеркнуть, что этот разработанный Каминским план относится ко времени и ситуации, когда вся «зондеркоммандо» проживала вместе — в отдельном 13-м бараке, посреди мужского лагеря (расщепление команды и ее изолированное от Биркенау расселение по крематориям последовало в конце июня[377]).

План же был примерно такой: в четыре часа дня, еще до вечернего апелля, 140 членов «зондеркоммандо» на крематориях IV и V захватывают и ликвидируют[378] «своих» эсэсовцев (7 человек) и перерезают телефонные линии. То, же самое — и на крематориях II и III, где было даже 180 «зондеркоммандо» (против 10 эсэсовцев). Когда придет смена для СС, то захватывают и их, причем заведывают и их оружием, и их формой. В руки восставших тогда попало бы и автоматическое оружие. Важная роль отводилась лагерным зонам «Сауна» и «Канада», располагавшимся между двумя крематорными комплексами: они должны были соединить два очага восстания в один.

Вечером, когда снимается большая охранный цепь СС вокруг лагеря, переодетые в форму СС повстанцы «эскортируют» 10 человек с пилами и прочим инвентарем в лагерь, снимая по пути постовых мелкокалиберным револьвером с глушителем, перерезают телефонные провода и при входе в барак ликвидируют блоковых эсэсовцев. Далее восстание перекидывается на весь лагерь Биркенау, а оттуда и на Аушвиц I.

Заклученные нападают на своих блоковых, на больничное отделение, на женский и мужской лагеря, поджигают бараки...

В это же самое время группа из крематория II–III, где хранился порох, перерезает проволоку в женский лагерь и взрывает один за другим все крематории. Для колючей проволоки были заготовлены ножницы с резиновыми ручками, для крематориев — взрывчатка (точнее, порох, запрятанный в крематории II), каждый крематорий — без исключения — должен был быть взорван и подожжен.

Все понимали, что большинство все равно погибнет, но именно такой смерти каждый и искал, хотя в душе все же надеялся, что не попадет в это большинство и уцелеет.

И вот наступил оговоренный день и приближался оговоренный час — 9 часов вечера. Все было наготове, но в 2 часа дня прибыл связной от поляков с извещением: «Отбой, товарищи! Все переносится по непредвиденным обстоятельствам, надо еще немного подождать».

Это ввергло всех в шок.

А в конце июня Моль, он же «Циклоп»[379], перевел практически всех членов «зондеркоммандо», кроме лазарета, непосред-

ственно на территорию смерти (чердаки крематориев II и III, раздевалка крематория IV), из-за чего решительно все многократно осложнилось. Члены «зондеркомmando» за исключением врачей оказались не только ближе к своим жутким рабочим местам, но и в полной изоляции от большого лагеря. Разработанный и едва не запущенный план восстания можно было смело забыть.

Интересно, что существует и еще одна версия того несостоявшегося восстания — версия Леона Когена, отличающаяся от только что изложенной некоторыми деталями и еще одним — сроком его проведения. Вместо середины июня в ней фигурирует середина августа[380], и именно это заставляет думать о ней все же как об аберрации памяти, поскольку переезд из барака на крематории в любом случае состоялся в конце июня[381].

Но саму версию нелишне изложить: она содержит немало подробностей, проливающих свет и на версию № 1, в частности, на совершенно иную — гораздо более активную — роль заключенных с «Канады» и «Сауны».

План восстания составлялся летом: сначала его назначили на 19-е августа, а потом передвинули на 15-е. Сначала, когда охранники-эсэсовцы сменяют друг друга, им предполагалось вколоть фенол. Вторая стадия: в 16.00 оператор пара в дезкамере не ослабит, а наоборот, поднимет давление пара до максимума — это приведет ко взрыву здания. Работники «Канады» всё там подожгут, телефоны отключат, проволоку в женском лагере перережут и выпустят всех женщин на волю. Своих раненых решили пристреливать, чтобы они не попали в руки эсэсовцам. Леон Коген вместе с еще четверьмя повстанцами, должен был поджечь крематорий.

Но 12–13 августа вдруг послышалась канонада. Русские? Русские так близко? А ежели так, то, стало быть, восстание не нужно! После чего многие отказались от этого плана — многие, но не все.

Весьма трудную задачу являет собой определение первоначальной даты предполагавшегося восстания; в то же время от даты многое зависит в понимании всей цепочки событий, приведших к реальному бунту 7 октября 1944 года.

А. Килиан отвечает на этот вопрос достаточно однозначно: пятница, 28 июля. При этом он базируется на сочетании трех факторов, приходящихся на этот и только на этот день: а) восстание могло состояться лишь только после того, как «венгерская акция» была позади (а это произошло вскоре после 11 июля), б) оно намечалось на пятницу и в) случайно оно пришлось на день, когда в Аушвиц прибыл эшелон из Майданека с весьма сильным эскортом СС[382].

Если эшелон прибыл на рампу Биркенау, то повстанцы из «зондеркоммандо» с крематориев II и III во главе с оберкапо Яковом Каминским могли лицезреть его собственными глазами[383]. В таком случае приказ о переносе сроков восстания отдал именно Каминский, безо всякой просьбы или директивы от «Боевой группы Аушвиц».

Вместе с тем создалась чрезвычайно неприятная и хрупкая ситуация: многие из членов «зондеркоммандо», от которых сама подготовка восстания скрывалась, были уже предупреждены о нем, и опасность предательства возросла в разы.

Каминскому же оставалось жить всего одну неделю. 2 августа его застрелил (и самолично сжег его труп) «Циклоп»-Моль, обвинив его, правда, не в подготовке восстания, а в подготовке покушения на другого эсэсовского изверга — Мусфельдта[384]. Подругой версии, его схвати ли на крематории II, где он жил, и отволокли, избивая, на крематорий IV, где убили и сожгли[385]. По третьей (по Л. Когену) Каминского убили 14 августа — в то время, когда он решил обойти свою территорию с целью предупредить об отсрочке восстания[386].

Однако маловероятно, что убийство Каминского не связано с восстанием: политический отдел, возможно, напал на его след и первым нанес удар — но такой, чтобы «производственный процесс» не пострадал (переезд на крематории стал первым таким ударом, а сентябрьская селекция — третьим; несостоявшаяся октябрьская должна была стать сокрушительным четвертым).

Согласно тому же Л. Когену, 15 августа обе смены «зондеркоммандо» построили, и эсэсовцы стали допытываться: «Где ваше оружие и патроны?». Они увели с собой четверых русских...[387]

Капо Яков Каминский — вплоть до своей смерти — и был главным стратегом и организатором восстания на крематориях. Большим подспорьем ему была та относительная свобода передвижений по лагерю, которой он как капо (а одно время и оберкапо) пользовался. У него был личный контакт с женским лагерем (в частности с Р. Роботой), с польским лагерным подпольем, а через него — и с партизанами.

После смерти Каминского руководство подготовкой восстания и самим восстанием перешло к другим — скорее всего, к нескольким лицам сразу. (Подчеркнем, что одним из этих «других» определенно был и Градовский[388].) Но один свидетель — Элеазер Айзеншмидт — в качестве единоличного руководителя восстания называет советского военнопленного-еврея, майора по званию и артиллериста по военной специальности, воевавшего еще в Сталинграде[389]. (Его имя, увы, так и осталось неизвестным.)

Залман Левенталь, светский человек с очень левыми взглядами, много страниц посвятил восстанию и его подготовке. Особенно проникновенно он пишет о Йоселе Варшавском, которого лично знал еще в 1920–1921 годах как коммуниста и одного из вождей рабочего профсоюзного движения всей Варшавы. Позднее Йосель переехал в Париж, где сотрудничал в коммунистической прессе. Левенталь характеризует его как «очень интеллигентного человека, выделявшегося своим хорошим спокойным характером. Вместе с тем его душа пылала от готовности к борьбе». Имя «Иосиф Варшавский» было его конспиративным псевдонимом еще со времен классовой борьбы в Варшаве (другим его прозвищем было «Йоселе ди маммеле» — «маменькин сынок»), а по-настоящему его звали Иосиф Доробус. Он родился в 1906 году в Жирардуве. Его лучший друг, дамский парикмахер и тоже коммунист, Янкель Гандельсман, родился в 1908 году в Лейпциге, жил в Радоме, учился в иешиве в Сандомире, за что его в шутку звали «коммунистом-ешиботником» или «социалистом еврейского вероисповедания». В поисках работы оба эмигрировали в 1931 году во Францию и, оставаясь польскими гражданами, приняли участие во французском Сопротивлении. Оба были арестованы и интернированы, а 2 марта 1943 года депортированы из Дранси[390] и прибыли в Аушвиц 4 марта[391]. Как одного из лучших во всей «зондеркоммандо» упоминает Левенталь и Залмана Градовского из Сувалок[392].

По сведениям Дануты Чех[393], организаторами и лидерами восстания были уже упомянутые И. Варшавский и Я. Гандельсман, а также Лейб Лангфус из Макова-Мазовецкого, Айцек Кальняк и Лейб Панич (Гершко) из Ломжи, Залман Градовский из Сувалок[394] и Иосиф Дерезинский из Лунно. Ф. Мюллер приводит еще три имени — Юкл, Врубель и польский капо Владек[395], а Э. Минак и Д. Шмулевский[396] еще одно — Давид Финкельштейн. Имя Хенрика Фуксенбруннера из Кракова, хорошо знавшего местность, называет Ш. Драгон[397].

Есть множество свидетельств и об участии в подготовке и проведении восстания советских военнопленных и греков. Так, согласно Лангбайну, в выработке плана восстания участвовали два греческих офицера, одного из которых звали Александро (по другим сведениям — Альберто) Эррера из Ларисы[398]. Исаак Кабели, впоследствии профессор Афинского университета, называл и такие имена: капитан Йозеф Барух, Вико Брудо, Рауль Яхон[399], Карассо и Ардите.

О Барухе вспоминает и Я. Габай, он же говорит и о советском военнопленном майоре (еврее по национальности) из крематория II[400], а Ш. Драгон — об одном русском «полковнике»[401] и

еще об одном французе с опытом испанской войны за плечами[402]. С русским майором, по Левенталю, установились особенно тесные отношения, но что-то помешало им укрепиться. О том, что организатором восстания был некий советский военнопленный с крематория II, вспоминал и Л. Коген[403]. Скорее всего во всех этих свидетельствах подразумевается одно и то же лицо — тот самый майор-артиллерист, о котором говорили Э. Айзенштадт и Я. Габай.

Интересно, что Левенталь упрекает русских примерно в том же, в чем польское подполье упрекало еврейское — в дефиците терпения и политической мудрости, в пренебрежении конспирацией, в неумении держаться согласованного плана, в недопонимании целого. Левенталь, тем не менее, писал, что русские хотя и спровоцировали отчасти выступление в том виде, в каком оно произошло, но все же были лучшим элементом восстания. В то же время Д. Пайсикович называет их не иначе как ни на что не годными пьяницами[404].

3. Подготовка восстания: оружие и порох

К восстанию готовились, запасались оружием. В арсенале у заговорщиков имелись 3 гранаты из Аушвица I, несколько парабеллумов и мелкокалиберных пистолетов — всё, кроме нескольких револьверов, найденных случайно в багаже одного из чешских транспортов[405], было «организовано» у поляков, то есть куплено за доллары или обменено на лекарства[406]. В ход шли и шаблатные тупые ножи для разрезания халы: их затачивали[407].

Одной из главных целей восстания был подрыв крематориев, для чего была необходима взрывчатка[408]. Недалеко от базового лагеря, в цехах, в свое время построенных Крупном разместились, начиная с 1 октября 1943 года заводы Weichel Metall Unions Werke Verl, передислоцированные сюда из Украины и производившие взрыватели для бомб. Там работала группа еврейских девушек, но под таким пристальным надзором, что даже установить с ними контакт было практически невозможно.

Но это сумела сделать 21-летняя Роза Робота из Цеханува, член сионистской организации «Хашомер Хацер» и член центральной подпольной организации в Аушвице (у нее была важная должность в «Канаде»), ей было поручено раздобыть несколько небольших порций взрывчатки. Порох в хранилище похищали четыре еврейские девушки: бельгийская еврейка Элла (Аля) Гэртнер (по другим данным, она была из Сосновца), Регина Сафир (или Сафирштейн) из Беджина и две сестры Вайсблум из ассимилированной варшавской семьи — Эстер (Тося) и Ханка, 19 и 15 лет. Порох выносили с завода в обуви, небольшими порциями по 250

грамм и в течение многих месяцев[409]. Другим звеном этой цепи была девушка Хадасса, забиравшая эти мини-порции в условленном укромном месте и передававшая их через Розу Роботу и Марту Биндигер, работавших в «Канаде»[410]. Собственно ручные гранаты изготовлял русский военнопленный и пиротехник Бородин[411], заполнявший пустые консервные банки взрывчаткой и нужными химикалиями, в частности фосфорными взрывателями.

Та же Роза Робота доставляла порох — в потайных кармашках в подоле своего платья — и в Биркенау, при этом связным между ней и «зондеркоммандо» был электрик Айгер, передававший порох Каминскому и оставивший об этом собственные воспоминания[412].

Ш. Драгон, дневальный (штубовый) 13-го барака, прятал и хранил взрывчатку, а затем распределял гранаты по крематориям. Сам Драгон, по его словам, хранил их в своем матрасе или же во внутренней части верхнего контрфорса на чердаке крематория (по другим данным, члены «зондеркоммандо» прятали их в ведрах, где у них хранилось мыло). Всего было сделано около 30 гранат, которые Драгон проносил по одной-две всякий раз, когда ходил из блока 13 в крематории (туда же он пронес и фотоаппарат)[413].

4. Ход восстания

По новому плану восстание должно было начаться на крематориях IV и V и начаться по-тихому. В тележке для перевозки кокса планировалось привезти оружие на крематории II и III, но даже это не вышло — вероятно, из-за предательства поляков или немцев из «зондеркоммандо»[414].

6 октября 1944 года шарфюрер СС Буш, один из начальников на крематориях IV и V, собрал капо этих крематориев и велел им в течение 24 часов составить список на селекцию, в общей сложности на 300 человек. Список этот составлялся ночью, и, начиная с этой же ночи, судорожно перебирались в уме все те куцые возможности к сопротивлению, что еще оставались.

Сохранилось несколько описаний начала, хода и подавления восстания.

Наверное, первым по времени описанием восстания было то, что дал Миклош Нижли в книге 1960 года. Для него оно началось не 7, а 6 октября с приказа Менгеле сделать аутопсию трупа советского военнопленного офицера, застреленного еще утром при попытке к бегству. На крематории II была обычная работа, но во всем поведении «зондеркоммандо» было много необычного — неторопливость, разговоры шепотом, теплая одежда. Оказалось,

что с завтра на послезавтра ожидается селекция «зондеркоммандо»[415] и что на завтра, на 6 часов утра, в пересменок, намечено выступление, цель которого — прорваться до Вислы, пересечь ее по низкой октябрьской воде вброд и уйти в партизанские леса, начинавшиеся уже в 8 км на том берегу и тянущиеся до словацкой границы. Однако уже в час ночи раздался взрыв и послышались автоматные очереди: все крематории были окружены эсэсовцами, но на крематориях II и IV они встретили вооруженный отпор, причем крематорий IV был то ли взорван, то ли подожжен.

В живых на крематории II оставили только семерых — инженера вентиляторов газовых камер, оберкапо и некоего Пипеля, судя по описаниям — штубового на крематории II, а также, по приказу Менгеле, самого Нижли и его трех ассистентов. От Пипеля Нижли узнал, что ночью эсэсовцы из политического отделения концлагеря прибыли на крематорий IV и приступили к селекции: сотню венгерских евреев даже отправили в 13 барак «зондеркоммандо» сектора D. Затем отобрали греческих евреев, но когда начали выкликать номера польских — в эсэсовцев полетели бутылки с зажигательной смесью. Те открыли — в том числе и по грекам — шквальный огонь из автоматов, но польские евреи забаррикадировались в крематории и подорвали его. Всех греческих и венгерских евреев на крематории IV расстреляли, как расстреляли и всех остальных на всех четырех крематориях.

К восставшим присоединился — и то не сразу — только крематорий II: именно здесь было основное оружие восставших, и оно было пущено в ход. Показал себя и крематорий V: там было выведено из строя все оборудование. Но в неравном бою погибли или сразу же после боя были расстреляны все, кроме упомянутой семерки, и еще 12 беглецов, сумевших форсировать Вислу, но выданных польским крестьянином. Их окружили и перестреляли. Согласно Нижли, в этот день погибли 850 членов «зондеркоммандо» и 70 эсэсовцев, в том числе 18 офицеров.

Версия М. Нижли серьезно расходится с последующими в весьма существенных деталях, например, во времени суток (согласно Нижли, это была глубокая ночь), способе получения повстанцами оружия (согласно Нижли, его поставляли польские партизаны во время лихих ночных налетов на лагерь, в действительности никогда не имевших места) или в количестве жертв[416].

Так что примем за основную версию ту, что, обобщая многие свидетельства, рисует Андреас Килиан с соавторами в книге «Свидетельства из мертвой зоны. Еврейская зондеркоммандо в Аушвице», но дополним картину деталями, встречающимися в других источниках, или не учтенными, или же оставленными им

без внимания.

Воскресным утром 7 октября стояла солнечная, безоблачная погода. В обед на крематории II собрался штаб восстания, и это засек оберкапо Карл Конвоент, пригрозивший всех заложить. Его схватили и бросили живым в печь. В середине дня (примерно в пол-второго) обершарфюрер СС Хуберт Буш, унтершарфюрер СС Йоханн Горгес и шарфюрер Куршус появились на территории крематория V и приступили к намеченной селекции, двигаясь по списку от больших номеров к меньшим. К крематорию IV было приписано 170, а к крематорию V — 154 человека, но на построение вышло всего только 286, так как 8 человек из крематория V — и среди них Яков Зильберберг и Генрих Мандельбаум — были заняты дроблением непрогоревших костей, а около 30 человек были отобраны еще до начала селекции в строю и заперты в одном из помещений крематория IV (среди них Элиазер Айзеншмидт и два венгерских врача — Гаваш и Петер, во избежание пыток покончившие жизнь самоубийством).

Когда до конца списка осталось уже немного, вдруг обнаружилось, что части людей из списка в строю нет. Эсэсовцы кинулись их искать, и в это время на них набросился с молотком польский еврей Хайм Нойхоф, один из самых старых (около 50 лет) в «зондеркоммандо». Его поддержали другие — с молотками, топорами и камнями, а также с криками «ура». А в это время уже загорелся крематорий IV: забросав его самодельными гранатами, это сделал Йосель из Беджина[417].

В 13.50 зазвучала общелагерная сирена. В это время эсэсовцы, к которым прибыло подкрепление из казармы, уже давно стреляли из безопасных укрытий; многие из тех, кто находился во дворе крематория V, погибли[418]. Но части восставших все же удалось достичь близлежащего леса и подготовиться к бою, часть перерезала колючую проволоку (она была не под напряжением) и ушла в сторону «Канады», один даже влетел в сортировочный барак № 14, но был схвачен тамошним охранником.

Овладев ситуацией сначала на крематории V, эсэсовцы согнали всех еще находившихся там и в крематории IV «зондеров» во двор и заставили лечь рядами ничком[419]. После того как расстреляли каждого третьего лежащего, в живых из 324 человек с двух малых крематориев остались всего 44. Оцепив территорию вокруг горящего крематория, эсэсовцы начали стрельбу в направлении леса, где скрылась часть восставших.

На двух же других крематориях, согласно Д. Чех, не происходило решительно ничего — несколько странное утверждение, особенно если учесть, что по одной из версий (Ф. Мюллера и других) там-то — с убийства ненавистного оберкапо — все и началось. Не

происходило же ничего отчасти потому, что выступление на крематории IV было настолько спонтанным, что другие крематории не были предупреждены, а отчасти потому, что эсэсовцы быстро, в течение получаса, взяли ситуацию под контроль.

Увидев горящий вдалеке крематорий и услышав стрельбу, члены «зондеркоммандо» 57 (крематорий II) — и в первую очередь русские — решили, что общее восстание началось. Они разоружили охранника эсэсовца и бросили его, вслед за ненавистным майданекским оберкапо Карлом Конвоентом, в горящую печь[420]. После этого пути назад не было уже ни у кого. Поджечь свой крематорий им не удалось: может быть, отсырел порох. Они разоружили второго охранника, перерезали колючку и побежали по дороге, ведущей к женскому лагерю VIb. Перерезали проволоку и там, но никто из женщин-заключенных даже не понял, что произошло[421]. Беглецы же продолжили свой путь, прихватив по дороге одного узника из команды, работавшей на очистных сооружениях, — брата капо Лемке Плишко.

Тем временем эсэсовцы подтянулись к большим крематориям. Тем, кто совершил побег с крематория II (около 100 человек), отрезали путь в Райско. Тогда они приготовились к сопротивлению забаррикадировавшись в конюшне, но в ней-то большинство и погибло — после того, как эсэсовцы ее забросали гранатами и подожгли.

Но бежали с крематория II не все: оставались четверо врачей во главе с М. Нижли, а также несколько других узников, в том числе трое (во главе с Элушем Малинкой) пытавшихся взорвать крематорий. В живых, после вмешательства Менгеле, были оставлены только врачи. Остальные члены «зондеркоммандо» с этого крематория — 171 человек — погибли во время восстания или были расстреляны.

По ходу восстания в неравном бою погибли все его организаторы, кроме Я. Гандельсмана. Последний наблюдал за ходом события с крематория III вместе с З. Левенталем, Л. Лангфусом, М. Буки, Ш. Венеция и другими членами «Зондеркоммандо» 58[422]. Дов Пайсикович, дневальный на крематории III, и еще шестеро человек, уйдя в этот день в лагерь Биркенау за супом, принесли в канистрах не суп, а бензин[423]. Но употребить бензин по назначению, кажется, не удалось. Всех членов «зондеркоммандо» во главе с капо Лемке[424], общим числом 85, заперли в тесном помещении патологоанатомического кабинета Менгеле.

Тогда-то Левенталь и взял на себя роль настоящего хрониста и к 10 октября описал все существенные события этих героических дней[425]. При этом он начал с подчеркивания той особенной, хотя и неоднозначной роли, которую во всем сыграли русские, в

частности с упоминания случая, когда один из советских военнопленных был застрелен унтер-шарфюрером СС после того, как он, напившись, напал на эсэсовца. После этого прошел слух, что дни остальных русских членов «зондеркоммандо» сочтены — их ликвидируют вместе с ближайшей порцией «зондеркоммандо», подлежащей «сокращению»[426].

Согласно Л. Когену, Я. Габаю, Ш. Венеция и другим, работавшие на крематории III фактически не приняли никакого участия в восстании[427], их даже никак не наказали, но заставили сжечь трупы «зондеркоммандо», погибших на крематории II[428]. Однако внимательное чтение Мюллера и Левенталя наводит на мысль о том, что был не только третий очаг восстания — крематорий V, с селекции на котором все и началось, но и четвертый — крематорий III (обстоятельство, которое всегда ускользало от внимания исследователей).

В ночь с 8 на 9 октября оставшиеся на этом крематории повстанцы во главе с Я. Гандельсманом и Ю. Врубелем (всего 14 человек) все же попробовали воспользоваться имевшейся у них взрывчаткой и взорвать собственный крематорий — по-видимому, вместе с собой[429]. После того как это им не удалось (возможно, что, как и на крематории II, их подвел отсыревший порох), они были схвачены и брошены в гестаповский бункер главного лагеря[430]. Это могло произойти только 8 или 9 октября, а не 10, как об этом всегда писали, поскольку запись Левенталя от 10 октября говорит о нем как об уже сидящем в бункере, а Р. Робота ко времени своего ареста уже знала, что Врубеля нет в живых.

Для тушения пожара на крематории из центрального лагеря Аушвиц I прибыла пожарная команда, состоявшая из 9 узников[431]. Они стали невольными свидетелями последней фазы подавления восстания и расстрела захваченных его участников. Позднее пожарников направили в Райско для тушения и конюшни[432].

Вечером расстрелянных участников восстания привезли на территорию крематория IV, куда согнали и остальных членов «зондеркоммандо». Еще 200 человек из восставших «зондеркоммандо» расстреляли тут же. Представитель лагерного начальства произнес речь, в которой угрожал расстрелом всем в случае попыток повторения восстания. После чего на крематориях II, III и V приступили к работе[433].

От рук восставших в тот день пало три эсэсовца — унтершарфюрер СС Рудольф Эрлер, унтершарфюрер СС Вили Фризе и унтершарфюрер СС Йозеф Пурке. Еще 12 эсэсовцев были ранены[434]. В середине октября пятеро эсэсовцев получили боевые Железные кресты — за геройство при предупреждении массового выступле-

ния: первый случай награждения ими персонала концлагерей [435].

Вот несколько других свидетельств о восстании, каждое из которых содержит какие-нибудь детали, отсутствующие у других.

Так, Дов Пайсикович [436] показал в Нюрнберге в 1964 году, что были подготовлены взрывчатка, гранаты и оружие и что существовал общий план восстания для всех четырех крематориев. Однако восстание началось на крематории IV спонтанно — при свете дня и прежде намеченного срока, без согласования и координации с другими. Поэтому к другим прибыло СС и преспокойно заперло всех в помещениях [437].

Меир Пшемьсловский [438] описывал восстание со слов члена «зондеркоммандо» Генеха (Еноха) Кадлобски. Сигналом к бунту якобы послужила брошенная граната, которой был убит эсэсовец, выгонявший членов «зондеркоммандо» на работу. Потом сожгли живым немецкого капо (после чего восставшие ворвались в лагерь и стали призывать поляков присоединиться к мятежу, но призыв остался без ответа). Из 900 членов «зондеркоммандо» в восстании приняли участие 200,140 из них погибли в перестрелке, некоторые убежали или утонули, переплывая через ров, окружавший лагерь, некоторые были убиты (снаружи лагерь охранялся и находился под постоянным наблюдением: непосредственно вокруг него жили не поляки, а немцы), спаслись только 12 человек, а остальные были казнены [439].

День восстания пережили 169 узников из крематория III, но спустя несколько дней были арестованы и замучены в бункере 14 человек. Таким образом, по состоянию на 10 октября в живых оставались 198 человек, в том числе 155 с крематория III и 44 с крематориев IV и V. Один находился в бегах, но был схвачен позднее. Общее же число погибших повстанцев составило 452 человека [440].

Еще одним сообщением о том, что кому-то из членов «зондеркоммандо» удалось уйти от преследования и спастись, является свидетельство Курта Хэккера, утверждавшего, что именно греки около двух часов отстреливались от эсэсовцев, обороняя крематорий, который они частично взорвали; пятнадцати удалось прорваться сквозь все преграды на волю, но тринадцать из них уже были ранены. Раненых, конечно, поймали и уничтожили, но двоих так и не нашли [441]. О беглом участнике восстания — советском военнопленном Иване, схваченном и доставленном в Аушвиц только спустя две недели после 6 октября, вспоминал Ш. Венеция [442]. Я. Габай утверждал (заведомо неточно), что из узников крематория IV в живых остался один-единственный — капо Элиазер [443].

По довольно странному мнению В.Ренца, аушвицкое восстание с трудом подпадает под категорию героического: дескать, восстали «зондеркоммандовцы»-евреи от отчаяния, от безысходности — жизнь им не светила ни так, ни эдак[444].

Бруно Баум и Рауль Хильберг упрекали их также в случайности мятежа, точнее, в его спонтанности. И еще, если хотите, в «шкурности»: мол, только когда запахло их собственной смертью, они бросились в бой, но никто из них не «мятежничал» из солидарности с жертвами газовен!

Упрекал «зондеркоммандо» и Г. Лангбайн — за их хотя и героическое, но все же изолированное и неподготовленное, на его взгляд, выступление. Это восстание хотя и подняло моральный дух еврейских узников, но почему-то сильно понизило боевую мощь польских подпольщиков. Сорвался и побег Эрнста Бургера 27 октября 1944 года. Неудачей закончился и другой побег: Веселы, Фримеля и еще двух поляков схватили и назавтра всех повесили; пятый поляк, Райнох, принял яд[445]. В результате, неожиданно заключает Лангбайн, в январе 1945 года в Аушвице, несмотря на то, что в лагере было пусть примитивное, но оружие, все оно осталось нетронутым — его никто ни разу не употребил!

Как это мило — делать евреев ответственными еще и за это!

5. После восстания

На следующий день, 8 октября, отдел трудового использования дал точно такую же численность членов «зондеркоммандо», что и накануне — 663 человека, в том числе по 169 человек на каждый крематорий (по 84 истопников на дневную и 85 на ночную смены)[446]. Видимо, сведения о восстании еще не поступили в этот отдел. Но уже 9 октября статистика резко меняется: во всех 8 сменах крематориев значится всего 212 узников, а начиная с 10 октября — 198 человек. При этом если 9 октября на каждый крематорий было выделено по 53 человека (по 26 истопников на дневную и 27 на ночную смены), то начиная с 10 октября, на крематории IV уже никто не работает, а за остальными тремя командами закреплено по 66 человек, по 33 на дневную и вечернюю смены[447].

Но крематорий IV более не заработал и в ежедневных разрядках уже не упоминался: 14 октября «зондеркоммандо», согласно Лангфусу, приступила к разборке его разрушенных во время восстания стен.

Общее число трудозадействованных сократилось на 451 человека, убежать, судя по всему, не удалось никому. Впрочем, несколько членов «зондеркоммандо» из восставших крематориев каким-то чудом пережили восстание. Первым был доктор Ми-

клош Нижли с крематория II, непосредственно в это время находившийся в прозекторской (впрочем, его статус был, видимо, несколько иной, нежели у «зондеркоммандо»). Вторым был Филипп Мюллер — с крематория V: он укрылся в яме и переждал шум и стрельбу, а затем спрятался в крематории IV и, после того как все утихло, перебрался обратно в крематорий V[448]. Третьим был С. Файнзильбер-Янковский, накануне собравшийся бежать в одиночку и поэтому во время восстания прятаящийся в другой части лагеря; там его и обнаружили, наказав палочными ударами[449]. А вот греческому еврею Раулю Яхуну с крематория IV повезло меньше: по свидетельству Шаула Хазана, он перебежал на крематорий III к своему брату, но на переключке его обнаружили и тут же расстреляли[450].

Между тем началось многонедельное расследование, которое — со всей суровостью и подобающими пытками — вели следователи Дразер и Брок. 10 октября был арестован Врубель — в составе 14 узников «зондеркоммандо» он был доставлен в бункер 11-го блока в Аушвице I[451]. Среди арестованных были Янкель Гандельсман и 5 советских военнопленных[452]. Живым из бункера уже ни один «зондеркоммандовец» не вышел.

Райя Каган, работавшая в штандесамте лагеря[453], а также переводчицей при допросах, вспоминала о легших на ее стол 96 свидетельствах о смерти повстанцев 7 октября: каждая бумажка — каждая судьба — вызывала у нее благоговение. Имен она не запомнила, но помнит, что были там евреи из Гродно и из Салоник, а также несколько русских[454].

А между тем оставшиеся и оставленные в живых «зондеркоммандовцы» вовсю трудились на новом для себя направлении: начиная с 14 октября — на разрушении стены крематория IV, изрядно пострадавшего во время восстания. Разве не к этому же стремились и восставшие?

Другим поводом для дознания была взрывчатка: откуда порох в самодельных ручных гранатах?

Имя предателя назвал Гутман: это Ойген Кох, полуеврей из Чехословакии[455]. Первыми 10 октября арестовали Эстер Вайсблум и Регину Сафин, но поначалу все обошлось, и они отделались 25 ударами палками: по данным регистрации, все сходилось, и никакой недостачи пороха не было (ее не было только потому, что девушки закладывали в бомбу только половину пороха). Поэтому их отпустили. Но потом взяли Эллу Гэртнер, и она не выдержала пыток, после чего взяли Розу, потом Регину и снова Эстер[456].

В тот же день в женском лагере Аушвиц II были арестованы еще две еврейки, через которых была передана взрывчатка, укра-

денная Эллой Гэртнер. Одна из них, Роза Робота, работала в Effektenlager, примыкавшему к территории крематория IV; именно она передавала порох узнику «зондеркоммандо» Юклу Врубелю[457]. Узнав, что Врубеля уже нет в живых, Роза призналась в том, что передавала ему порох.

После ареста Р. Роботы своего ареста ждали и Гутман с Лауфером (страшась не столько смерти, сколько пыток; они даже готовились к самоубийству). Розу дважды в день проводили мимо них из бункера в СД. Якоб, капо бункера, устроил Лауферу даже свидание с Розой — та, когда пришла в сознание, сказала, что всю вину она возлагает на тех, кого уже нет в живых (Врубель) и что она никого не выдаст. Он принес записку от Розы — ее последнее слово: «Хазак ве-амац» — «Будьте сильными и храбрыми»![458]

5 января 1945 года всем, кто работал на Юнионе, не только еврейкам, было приказано кончить работу раньше обычного — это никогда ничего хорошего не предвещало. На этот раз была не селекция, а казнь — публичная казнь четырех героических девушек[459]. Их повесили — как бы в две «смены»: двоих (ими были Аля и Эстер) около 4 часов дня и еще двоих (Розу и Регину) около 10 часов вечера — в назидание обеим рабочим сменам лагеря. Оба раза перед казнью Хёсс зачитывал приговор Верховного суда в Берлине и добавлял: «Так будет с каждым...». (Так, кстати, стало и с ним!)

В этот день падал снег, и запорошенные тела висели три дня[460].

Некоторое недоумение вызывает столь поздняя дата казни. Легенда утверждает, что лагерный палач, Якуб Козельчик, или «Бункер Якоб» якобы, отказывался их вешать до тех пор, пока не придет официальное подтверждение из Берлина[461].

III. Свитки из пепла. История обнаружения рукописей, найденных в Аушвице

**Некоторые, способные к
письму, узники записывали,
хронику зондеркоммандо,
которую упаковывали в
свинцовые банки и
закапывали в надежде, что
когда-нибудь кто-то их
выкопает и прочтет.**
Филипп Мюллер

**Дорогой находчик, ищите
везде!**

Залман Градовский

История обнаружения, изучения, хранения и публикации текстов Залмана Градовского неотрывна от истории обнаружения, изучения, хранения и публикации других свидетельств «из первых рук» — рукописей, написанных бывшими членами «зондеркоммандо» в Биркенау и обнаруженных после войны.

В сжатом виде сведения о времени и месте обнаружения и о современных местах хранения оригиналов и копий этих рукописей приводятся в нижеследующей таблице. Более детальные сведения о каждой из находок содержатся в специальных описаниях (см. далее).

Автор текста	Дата и место обнаружения	Место хранения оригинала	Место хранения официальных копий
1. ХХ	2 1945, крематорий IV	Нет данных (предположительно в Париже)	АРМАВ
2. ЗГ2	2–3.1945, крематорий IV	Отсутствует	Семья Волнерман; Яд Вашем
3. ЗГ1	5.3.1945, крематорий IV	ВММ МО РФ	Яд Вашем, ЖИИ, АРМАВ
4. ЛЛ1	11.1952, крематорий IV		АРМАВ
5. ЛЛ2	4.1945 / 11.1970, крематорий IV	АРМАВ	Яд Вашем (?)
6. ЗЛ1	28.7.1962, крематорий III	АРМАВ	
7. ЗЛ2	17.10.1962, крематорий III	АРМАВ	
8. МН	24.10.1980, крематорий III	АРМАВ	

Сведения об обнаружении и местах хранения рукописей членов «зондеркоммандо»

Сокращения: ХХ — Хаим Херман, ЗГ — Залман Градовский, ЛЛ — Лейб Лангфус, ЗЛ — Залман Левенталь, МН — Марсель Надьяри.

Лейб Лангфус, автор одной из тех немногих рукописей, что были найдены, обращался к потомкам:

«Я прошу собрать все мои разные и в разное время закопанные описания и записки с подписью J.A.R.A. Они находятся в различных коробочках и сосудах на территории крематория IV, а также два более длинных описания — одно из них, под названием «Выселение», лежит в яме с кучей остатков костей на территории крематория III, а описание под названием «Освенцим»[462] между размолотыми костями на юго-западной стороне того же двора.

Позже я сделал с этого копию и дополнил и закопал отдельно в пепле на территории крематория III. Я прошу все это вместе собрать и под названием «В сердцевине ужасного преступления» опубликовать. <...>

Сегодня 26 ноября 1944 года»[463].

Хенрик Порембский, электрик, обслуживавший крематории по электрической части, доверенное лицо и связной «зондеркоммандо», осуществлявший связи с подпольщиками в Аушвице I, утверждал, что ему лично известно о 36 схронах на территории крематориев[464]. Трижды приезжал он в Освенцим в надежде найти их и выкопать бесценные записи. Первый раз, в августе 1945 года, он опоздал — на территории крематориев хозяйничала комендатура лагеря для немецких военнопленных. Второй раз — в 1947 году — копать ему не разрешил уже музей, опасавшийся наплыва «черных археологов». И только в июле 1961 года санкция варшавского и музейного начальства была получена: раскопки начались 26 июля и увенчались 28 июля находкой проржавевшего немецкого солдатского котелка, внутри которого оказались плотно уложенные листы бумаги — записки Э. Хиршберга из Лодзинского гетто с комментариями З. Левенталя. Рядом с котелком в земле были остатки пепла и несгоревших человеческих костей — наверное, Левенталь почтил память автора записок персональным захоронением его условных останков[465].

Станислав Янковский-Файнзильбер закопал в землю недалеко от крематория фотоаппарат, металлическую банку с остатками газа и заметки на идиш с расчетами количества убитых в Аушвице[466]. Кроме того, повар Леон закопал там же большую коробку с талесом, тфилином и молитвенником, подобранными у погибших[467]. Яков Габай утверждал, что он и некоторые другие греческие евреи закопали возле крематория III несколько символических банок с как бы индивидуальным пеплом их родственников[468].

Еще об одном послании, причем коллективном, сообщает Миклош Нижли — его, по-видимому, главный инициатор. На трех из четырех пергаментных, большого формата листов рукой парижского художника Давида Олере описывалось все, что происходило на крематориях Биркенау, приводилась оценка числа жертв и назывались имена основных палачей. Четвертый лист занимали подписи почти 200 членов «зондеркоммандо»[469] крематория II, где обретался и сам Нижли. Эти листы были прошиты шелковой нитью, свернуты в трубочку и вложены в специально изготовленный цинковый цилиндр, вскоре закопанный во дворе крематория II. (У этого, так и не найденного после войны, послания был необычайно экстравагантный «двойник». Обершарфю-

рер СС Эрих Мусфельд приказал изготовить двухспальную кровать-рекамье и отправить ее багажом к себе домой, в Мангейм. Члены «зондеркоммандо» изделие изготовили, но заложили между погруженными в шерсть и вату пружинами аналогичный цинковый цилиндр!)

Известно, что члены «зондеркоммандо» вели свой учет прибывающих транспортов и регулярно передавали эти сведения польскому подполью в центральном лагере: именно таким документом является, судя по всему, список эшелонов, написанный поэтому по-польски Лейбом Лангфусом и найденный среди бумаг Залмана Левенталя[470].

Но, быть может, самое уникальное, что удалось переправить на волю, — это групповые «автопортреты»: страшные фотографии живых членов «зондеркоммандо» на фоне лежащих на траве и сжигаемых на костре трупов.

Сохранились только четыре фотографии, которые были сделаны в конце августа или начале сентября 1944 года сквозь квадратное окно или дверь какого-то временного укрытия близ костровища у крематория V[471]. Польское подполье переправило пленку в Краков, а сопроводительная касибка Йозефа Циранкевича и Станислава Клодзинского к Терезе Ласоцкой-Эстрайхер от 4 сентября 1944 года достаточно точно датирует событие[472].

Рамка фотографии и изображение находятся под некоторым углом друг к другу, что наводит на мысль о том, что фотографии делались лежа. Но, конечно, самое поразительное — то, что «зондеркоммандо» удалось еще и сфотографировать свое рабочее место!

Согласно сведениям, зафиксированным в экспозиции Государственного музея Аушвиц-Биркенау, автором фотографий был грек по имени Алекс, для которого через Аушвиц I был специально раздобыт фотоаппарат, пронесенный на крематорий III. Драгоном[473]. По свидетельству членов «зондеркоммандо» Леймы Филишки и Аврома-Берла Сокола от 31 мая 1946 года, фотографировал также и Лейб-Гершл Панич из Ломжи, нашедший в вещах погибших исправный фотоаппарат[474]. Поэтому не исключено, что фотографов было двое.

Довид Нэнцел вспоминал также о закопанном в землю большом стальном ящике, в который были уложены фотографии, найденные у венгерских евреев, и заметки о каждом венгерском эшелоне, а также письма-отчеты Сталину, Рузвельту, Черчиллю и де Голлю, написанные на соответствующих языках[475].

Те же Филишка и Сокол утверждали, что члены «зондеркоммандо» захоранивали свои рукописи и рисунки в термосах и флягах на территории всех крематориев, но в особенности часто на

территории крематория III — приблизительно в 20 метрах в сторону цыганского лагеря. Авторами этих документов, кроме Градовского, были Йосель Варшавский, Довид Нэнцел из Рифича, некий даян из Макова[476], имени которого они не называли, и Леон Француз, или Давид Олере, художник из Франции, старавшийся делать зарисовки со всего того, что он, к сожалению, видел[477].

Постоянно вел дневник и Яков Габай, но он не мог взять его с собой при эвакуации лагеря[478]. Греческие евреи, видимо, меньше интересовались мировой историей, нежели семейной. Поэтому они писали главным образом письма своим родным, закладывали их в бутылки и закапывали на 30-сантиметровой глубине в пепле: и, как ни удивительно, одно такое письмо — от Марселя Надьяри — нашлось и «дошло»!

Если же и всех нас воспринимать в качестве адресатов, то в конечном итоге до нас дошло восемь таких свитков, и находки обеих рукописей Градовского входят в тройку самых ранних. Первой (по-видимому, в середине февраля 1945 года) была обнаружена рукопись, написанная по-французски и принадлежавшая Хаиму Херману, а последней — в октябре 1980 года — рукопись Марселя Надьяри, написанная по-гречески. Остальные шесть рукописей писались на идиш (с минимальными вкраплениями на польском и немецком языках, а также на иврите).

Первые три находки от последней отделяют более чем 35 лет!

Первые три были найдены практически одновременно (так что провозглашать чье бы то ни было «первенство» — не более чем условность). Существенно, что все три случились в первые недели после освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками 27 января 1945 года. В феврале (а может быть, и в марте; да и самые последние числа января тоже не исключены) была найдена рукопись Залмана Градовского «В сердцевине ада», а 5 марта 1945 года — фляжка с другой его рукописью[479].

В 1952 и 1970 годах были обнаружены рукописи Лейба Лангфуса, а в 1962 году, 28 июля и 17 октября, одна за другой, — две рукописи Залмана Левенталя. Последней находкой — в 1980 году! — стала рукопись Марселя Надьяри, написанная по-гречески. Сам он — единственный из авторов обретенных рукописей, о ком достоверно известно, что он уцелел и прожил после войны еще четверть века.

Говоря об истории обнаружения рукописей, следует начать с истории их необнаружения.

Из восьми найденных рукописей только четыре были обнаружены вследствие целенаправленного поиска государственных органов — первая рукопись Градовского в марте 1945 года (комис-

сия ЧГК), одна рукопись Лейба Лангфуса в 1952 году (партийная комиссия) и обе рукописи Левенталя, обнаруженные в 1962 году в рамках специальной экспедиции Государственного музея Аушвиц-Биркенау (правда, под большим давлением со стороны двух бывших узников, утверждавших, что знают, где надо копать).

Но почему же с самого начала не копал сам музей? Ведь в земле сыро, и никакая банка или фляжка от сырости целее не становится. Почему же не копали ни с самого начала, ни потом?

А вот предприимчивые «частники»-поляки в 1945 году старательно копали — копали и находили! Искали они, правда, не еврейскую память, а еврейское золото: эдакий Клондайк у подножия крематориев! Когда находили рукопись с еврейскими буквами — выбрасывали, и никто не призывал их продавать находки музею. Только один молодой поляк, имени которого история, к сожалению, не сохранила, найдя рукопись Градовского, догадался предложить ее оказавшемуся по соседству земляку-еврею.

Волнерман торговаться не стал и рукопись у него купил.

Местонахождение и краткое содержание каждой из рукописей, найденных в Аушвице

Итак, от нескольких десятков рукописей, адресованных потомкам и историкам, до нас дошло всего восемь. Присвоим каждой свой номер и охарактеризуем их все, каждую по отдельности и в порядке их обнаружения.

№ 1. РУКОПИСЬ ХАИМА ХЕРМАНА

Дата обнаружения: середина февраля 1945 г.

Местонахождение оригинала: Не установлено. Предположительно — в его семье или в Национальном архиве Франции (Фонд Министерства по делам ветеранов и жертв войны —?).

Дополнительные материалы: АРМАВ. Oswiadczenia. Bd. 70. V1.212f (Отчет д-ра А. Заорского, март 1971 г.)

Сама рукопись была обнаружена в середине февраля 1945 года Анджеем Заорским из Варшавы, тогда еще студентом-медиком и членом добровольного корпуса Польского Красного Креста в Кракове[480]. Этот корпус прибыл тогда в Освенцим для того, чтобы помочь разместить там госпиталь для бывших узников концлагеря[481]. После нескольких дней напряженной работы в головном лагере Заорский с коллегами совершили «экскурсию» в Биркенау. В пепле за крематорием IV он случайно обнаружил поллитровую бутылку из обычного стекла, внутри которой виднелись листки бумаги. Открыв бутылку, он вынул стопку листов бумаги в клеточку, хорошо сохранившихся и сложенных в восемь

раз. На самом верхнем листе был написан адрес Польского Красного Креста (ну не поразительно ли, что бутылку нашел сотрудник именно этой организации?), а на его обороте — собственно почтовый адрес лица, которому предназначалось письмо, — адрес во Франции.

Остальная бумага была исписана мелкими строчками на французском языке: то было письмо мужа жене, в котором он описывал свою трагическую судьбу и переживания человека, работающего в команде при крематории. Он ясно осознавал, что вскоре погибнет, как уже погибли многие его товарищи по чудовищной работе, и отдавал жене последние распоряжения. Он, в частности, просил ее как можно скорее выйти замуж и ни при каких обстоятельствах не возвращаться и не приезжать в Польшу[482]. А. Заорский сохранил это письмо и передал его в марте 1945 года во французскую миссию в Варшаве. 10 февраля 1948 года французский министр по делам бывших военнопленных и жертв войны передал машинописную копию этого письма председателю Союза бывших узников концлагеря Аушвиц во Франции[483], а в 1967 году Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме получил фотокопии этой машинописи и сопроводительного к ней письма из упомянутого министерства[484]. Местонахождение оригинала не установлено. Наиболее вероятные места: фонд Министерства по делам бывших военнопленных и жертв войны (в Национальном архиве Франции в Париже), Союз бывших узников концлагеря Аушвиц во Франции или семья Х.Хермана.

Удалось установить личность писавшего: им был Хаим Херман — польский еврей, родившийся 3 мая 1901 года в Варшаве, сам или с родителями переехавший в начале века во Францию. Собственно французский язык, на котором написано это письмо, не слишком хорош, что и типично, и даже простительно для эмигранта в первом поколении; но интересно, однако, что Херман не захотел писать жене на идиш[485].

2 марта 1943 года его депортировали из Дранси в Аушвиц, куда он прибыл 4 марта. Он получил номер 106113 и был зачислен в «зондеркоммандо». Уже при разгрузке их эшелона № 49 среди 1132 человек были первые мертвецы и сошедшие с ума; около ста человек были отобраны на работу, остальные — на смерть. С тем же самым транспортом в Аушвиц прибыли и были отобраны в «зондеркоммандо» упомянутые в письме Давид Лахана, торговец кожами из Тулузы[486], а также не упомянутые Янкель Хандельсман и Иосиф Дорбус, он же Иосиф Варшавский[487]. К тому моменту, когда Херман написал это письмо, то есть спустя 20 с небольшим месяцев пребывания в Аушвице, из той сотни оставались в живых всего двое. Интересно, что свой адский труд в «зондер-

коммандо» он сравнивает со службой в «Хевра кадиша» (Chevra Kadischa) — еврейском похоронном товариществе, пекущемся в первую очередь о больных и умирающих, а также о проведении похорон и помощи родственникам усопших.

Само письмо датировано 6 ноября 1944 года; к этому времени Хаим Херман работает в «зондеркоммандо» уже больше 20 месяцев и еще месяца не прошло со дня восстания! Оно является как бы ответом на письмо, полученное автором от его родных в начале июля. Накануне своей вероятной смерти, — а в точности мы не знаем, попал ли он в число жертв последней селекции — он сетует, что не смог обеспечить свою семью материально и надеется, что после войны, когда наступит нормальная жизнь, его близкие сумеют прокормить себя самостоятельно. Тем не менее он просит жену обратиться к президенту Общества еврейской взаимопомощи (возможно, это и есть г-н Рис, которого упоминает вслед за этим).

К своей дочери Симоне он обращается с надеждой на то, что она сумеет продолжить свою социальную и политическую жизнь и что она выйдет замуж за еврея, с которым родит много детей. Он пишет, что раз судьба отказала ему в счастье продолжения рода и передачи фамилии по мужской линии, то он надеется, что она, Симона, назовет своих детей его именем и именами их погибших варшавских родственников. У жены он просит прощение за бывшие пустяшные разногласия, за то, как мало ценил он в их былой жизни нежность бытия. «Я знаю, ты еще молода и должна снова выйти замуж, я даю тебе эту свободу, мало того, я очень тебя прошу не погружаться в траур, но в то же время я не хочу, чтобы у нее был отчим. Постарайся же отдать ее как можно скорее замуж, пусть она откажется от учебы в университете, и тогда ты свободна».

Вот еще несколько цитат: «Не смей даже подумать о возможности возвращения в Польшу, на эту, для нас проклятую, землю. Пусть для любви и поддержки послужит земля Франции (в крайнем случае, какая-нибудь еще, но только ни при каких обстоятельствах не Польша)».

Он пишет и о себе: «Вот уже 20 месяцев прошло с тех пор, как я здесь, но мне они кажутся целым столетием, просто невозможно передать все испытания, через которые я прошел. Если вы будете живы, то прочтете немало трудов, которые еще напишут о нашем зондеркоммандо. Но я прошу вас, никогда не судить меня слишком строго. Если были среди нас хорошие и плохие, то я, несомненно, не был среди последних. Без страха перед риском и опасностью я делал в эту эпоху все, что только было в моих возможностях, для того, чтобы смягчить судьбу несчастных, а политически

— то, о чем я не могу в этих записках даже написать, — так что моя совесть чиста, и накануне собственной смерти я могу этим гордиться».

Из концовки письма: «Мое письмо подходит к концу, моя жизнь тоже — так что я шлю вам свое самое последнее прощание; это навсегда, это наипоследнейший привет, в последний раз я обнимаю вас крепко-крепко и прошу вас в последний раз верить мне, что я легко покину этот мир, зная, что вы живы, а наш враг проиграл. Как знать, может быть, из истории зондеркомmando вы когда-нибудь узнаете день моего конца — я нахожусь в последней бригаде из 204 человек, мы ликвидируем крематорий 2, и, говорят, что [после этого] в течение этой недели ликвидируют и нас»[488].

И последнее: «Простите мне мой хаотический текст, а также мой французский. Если бы вы знали, при каких обстоятельствах я его пишу. Пусть меня простят все друзья, которых я по недостатку места не назвал и которым я пересылаю мой последний, мой прощальный привет. Одновременно я хочу вам [им?] сказать: отомстите за ваших братьев и сестер, безвинно погибших на эшафоте.

Адье, моя дорогая жена и любимая моя Симона, исполните мои пожелания и живите в мире, да защитит вас Б-г.

Тысяча поцелуев от вашего мужа и отца.

P.S. По получении этого письма прошу вас сообщить г-же Germaine Cohen (Жермэн Коэн), Union Bank в Салониках (Греция), что [ее] Леон разделил мою судьбу, как он делил и мои страдания. <...>»

№ 2. РУКОПИСЬ ЗАЛМАНА ГРАДОВСКОГО «В СЕРДЦЕВИНЕ АДА»

Дата обнаружения: февраль-март 1945 г.

Местонахождение оригинала: неизвестно (так как он был украден, остались только отдельные листы).

Рукописная копия с оригинала: семья Х. Волнермана, Иерусалим.

Фотокопия с семейной копии: Архив Яд Вашем. JM / 3793.

№ 3. РУКОПИСЬ ЗАЛМАНА ГРАДОВСКОГО. ПИСЬМО И ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Дата обнаружения: 5 марта 1945 г.

Местонахождение оригинала: Центральный Военно-медицинский музей, Санкт-Петербург. № 21427, 21428, 21429 и 21430.

Копии и дополнительные материалы:

В 1962 г. микрофильм оригинала был передан в Главную комиссию по расследованию гитлеровских преступлений в Польше, а фотокопия — в Институт еврейской истории, Варшава.

Архив Яд Вашем (скан-изображения).

Wsp. / 73 и 73Б (микрофильм, негативы и позитивы — Инв. № 460). Вторичные микрофильмы № 2464 и 2465 (изготовлены для USHMM, Washington). На микрофильме видна фабричная марка на внутренней стороне оборота задника записной книжки: «PLM. / Marque Deposee./ Format IN-8» / №F-4 32 RIS / Require: Quadrille».

№ 4. РУКОПИСЬ ЛЕЙБА ЛАНГФУСА

Дата обнаружения: ноябрь 1952 г. возле крематория IV.

Вероятное местонахождение оригинала IPM: Главная комиссия по расследованию нацистских преступлений в Польше. Сигнатура не уточнена. Известно, что некоторое время оригинал находился в Институте еврейской истории в Варшаве.

Копия и дополнительные материалы: АРМАВ: Syg. Wsp. /Autor peznamy / Тот 73. Nr. 420a (фотокопия; Milmifilm Nr. 462. Инв. № 156644. Л.1-28).

История обнаружения и передачи этой рукописи — наименее ясная из всех: из материалов, оказавшихся нам доступными[489], следует, что сама рукопись была обнаружена в ноябре 1952 года (по другим данным — в начале 1953 года) в результате раскопок, инициированных чуть ли не Катовицким отделением Польской объединенной рабочей партии. Однако из «Служебной записки» Яна Куча, сотрудника Краковского регионального бюро Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений являющейся, собственно, пересказом обращения в бюро некоего Владислава Баруса, жителя г. Кракова[490], вырисовывается несколько иная картина. Саму рукопись обнаружил житель Освенцима Франциск Ледвонь, косивший траву в районе крематория IV; рукопись была запечатана в закрытой стеклянной банке светло-голубого или зеленого цвета и размером со школьную реторту. Эту рукопись хотел выкупить у Ледвоня освенцимский еврей Леон Шенкер, владевший фабрикой «Агрохимия» в Освенциме-Круке, но Ледвонь отказался. Вместо этого он передал рукопись своей сестре(?) Марии Боровской, проживавшей в Варшаве, и ее мужу Станиславу Вальчику, партийному работнику. Барусу было известно, что они намеревались передать рукопись в Институт истории партии[491]. Кроме того, Эдмунд Хабер из Катовице, сотрудничавший с Институтом еврейской истории в Варшаве, утверждал, что рукопись находилась в свое время в этом институте. Сам Хабер намеревался продолжить поиски еврейских рукописей и получил на это разрешение Министерства культуры и искус-

ства Польши. Его группа в составе восьми человек провела двухнедельные раскопки на территории концлагеря Биркенау; ей, в частности, удалось найти «банку с различными интересными предметами», которая была затем передана в Государственный музей Аушвиц-Биркенау[492].

Вскоре после своего обнаружения оригинал (или, в крайнем случае, его хорошая фотокопия) некоторое время находился в Институте еврейской истории в Варшаве, в официальном органе которого и был впервые опубликован[493].

Эта рукопись долгое время фигурировала как рукопись «неизвестного автора». Однако еще в начале 1960-х годов она впервые была атрибутирована профессором Б. Марком, ее первым публикатором, как принадлежащая неустановленному магиду (судье) из Макова-Мазовецкого. В 1966 году Б. Марк умер, а его вдова, Эстер Марк, сопоставив различные свидетельства, сумела идентифицировать и личность автора рукописи[494].

Им оказался Лейб Лангфус, даян (по другим сведениям — магид) из Макова-Мазовецкого. Выпускник известной иешивы в Суцмире (Сандомире), он был исключительно религиозным человеком. Он родился в Варшаве около 1910 года. В 1933 или 1934 году он женился на Деборе Розенталь, дочери Шмуэля-Иосифа Розенталя, маковского раввина. У них родился сын. Незадолго до немецкого нападения на Польшу его тесть переехал в Варшаву, и Лейб стал фактически духовным лидером Маковской общины. Еще до войны он утверждал, что Гитлер хочет физически уничтожить всех евреев, но никто ему не верил[495]. 18 ноября 1942 года обитателей гетто в Макове депортировали в Млаву, а через три недели (7 декабря) оттуда — в Аушвиц. Эшелон прибыл в Биркенау 10 декабря, из примерно 3000 человек селекцию прошли только 523, из них 70 особо крепких и здоровых попали в «зондеркоммандо».

В «зондеркоммандо» он был на легкой работе: мыл и сушил женские волосы. Он был известен как человек, собирающий информацию обо всех новостях. Без упоминания его имени, он описывается в рукописи З. Левенталя и, судя по всему, в рукописи З. Градовского, в книге Миклоша Нижли[496], а также в свидетельствах Абрахама и Иды Гарфинкелей (его земляков, помнивших его еще по гетто), Мордехая Цехановера (члена «зондеркоммандо») и Шмуэля Тауба (члена санитарной команды)[497]. Встретив последнего на территории «своего» крематория (III) в самом начале октября, Лангфус рассказал ему о планах восстания и о том, что ему, Лангфусу, предстоит взорвать крематорий и себя вместе с ним, поэтому он просит его запомнить как можно больше, а также запомнить то, что в различных местах в земле вокруг крематориев спрятаны емкости с рукописями. Однако восстание разви-

валось не по плану, и в итоге принять в нем активное участие Лангфус не смог.

Сама рукопись состоит из двух частей — «Дневника» и «Заметок».

В тексте «Дневника» говорится, в частности, о прибытии транспорта из Сосновца и Бедзина (что, вероятней всего, имело место в первой декаде августа 1943 года) и о раввине, который, раздевшись, спустился в бункер с танцами и песнями.

О том, как два венгерских еврея, узнав от члена «зондеркоммандо», что им пора читать «виддуй» (покаяние о совершенных грехах), открыли бутылку водки и стали ее распивать, заставив отказывавшегося «зондеркоммандовца» присоединиться к ним, а потом и зарыдать.

О том, как в середине лета 1944 года обершарфюрер Мусфельд расстрелял 200 молодых венгерских евреев.

О группе изможденных евреев, отсеянных в одном из рабочих лагерей и присланных в Биркенау для ликвидации. Они попросили хлеба, и им принесли много хлеба. Глаза людей загорелись. Так они и спускались в раздевалку с горящими голодными глазами, с кусками хлеба в руках.

О случае в конце 1943 года. Группа польских подпольщиков и группа отобранных на смерть голландских евреев, уже голые, встретились в газовой камере. Юная полька обратилась к ним с зажигательной речью и здравицей во имя Польши, а к членам «зондеркоммандо» — с заклинанием не забыть свой долг и рассказать братьям и сестрам о происходящем и отомстить за них. После чего поляки запели свой национальный гимн, а евреи — хатикву, сплавив воедино две мелодии, два языка и два текста. После этого все вместе запели Интернационал. Пока они пели, подъехала машина «Красного Креста», и эсэсовцы высыпали порошок Циклон Б.

О случае, бывшем летом 1944 года. Люди из словацкого транспорта разделались и уже спускались вниз, как вдруг одна женщина, заходя в камеру, громко произнесла: «А может быть, все-таки случится чудо?».

А вот эпизод, случившийся 2 сентября 1943 года. Евреи из Тарнува, узнав о том, что с ними произойдет, вдруг остановились и запричитали, произнося, каждый, свой «виддуй». Перед лицом смерти они очищали свою совесть. После чего один юноша вскочил на скамейку и попросил внимания: он говорил о том, что не может же быть, что их сейчас убьют, говорил так страстно и проникновенно, что все поверили ему и совершенно успокоились. А между тем убийцы высыпали гранулы с газом им на головы...

На Пасху 1944 года прибыл транспорт из Виттеля во Франции. Среди прибывших было много почтенных людей — раввинов и других патриархов[498]. Когда оберштурмфюрер приблизился к раввину, уже голому, тот двинулся на него и, схватив его за мундир, словно рыкающий лев, громогласно произнес по-немецки: «Вы, подлые чудовища и убийцы людей, и не думайте, что вам удастся извести наш народ. Еврейский народ будет жить вечно и никогда не сойдет с арены мировой истории. Но вы, немцы, вы, гнусные убийцы, вы дорого заплатите за все — за каждого безвинно убитого еврея десятью немцами! Придет день расплаты. Пролитая кровь будет взывать об отмщении. Наша кровь не успокоится, покуда горящий гнев уничтожения не затопит ваш народ и не уничтожит его, самый звериный из народов!» После чего он надел свою шляпу и закричал: «Шма Исраэль!».

В конце 1944 года прибыл транспорт из Кошице (уже упоминавшийся выше). Старая жена раввина сказала громко: «Я вижу тут кровь венгерских евреев. Правительство предлагало им спастись, а они спросили раввина, и раввин посоветовал им несмотря ни на что остаться. А теперь верхушка венгерского еврейства спаслась, а мы все здесь. Да простит Бог этим «спасшимся» их великие грехи».

В конце 1943 года из Шяуляя прибыл транспорт с одними детьми. Распорядитель казни направил их в раздевалку, чтобы они могли раздеться. Пятилетняя девочка раздевает своего годовалого братишку, к ней приблизился кто-то из коммандо, чтобы помочь. И вдруг девочка закричала: «Прочь, еврейский убийца! Не смей прикоснуться к моему братику своими запачканными еврейской кровью руками! Я теперь его добрая мамочка, и он умрет вместе со мной на моих руках». А семи-или восьмилетний мальчик, стоящий рядом, обращается к нему же: «Вот ты еврей и ведешь таких славных детишек в газ — но как ты сам можешь жить после этого? Неужели твоя жизнишка у этой палаческой банды тебе и впрямь дороже, чем жизни стольких еврейских жертв?»

А вот случай, который произошел в начале 1943 года. Газовая камера переполнена, и один еврейский мальчик остался снаружи. К нему подошел унтершарфюрер и стал убивать его стеклом. Он избивал его самым чудовищным образом, кровь брызгала во все стороны, изуродованное тельце его уже не шевелилось. Но вдруг это тельце словно пружина поднялось на ноги, и мальчик молча и спокойно посмотрел в глаза своему чудовищу-убийце. А тот только расхохотался цинично, вынул револьвер и застрелил мальчика.

Гауптшарфюрер Отто Моль[499] строил людей в ровные шеренги по четыре человека и одним выстрелом убивал целую шеренгу. Если кто-то пробовал уклониться, он бросал того живым в печь. Если кто-то артачился и не шел в камеру, он бросал его на цементный пол и добивал ногами. Встречая транспорт, он становился на скамейку, и скрестив руки на груди, вежливо объяснял слушателям, что им сейчас надо в баню, а потом всех распределяют по рабочим местам. Если кто-то высказывал по этому поводу сомнение, Моль свирепел и тут же забивал его, лишая воли и внушая страх остальным.

В конце 1942 года прибыл транспорт из Пржемысля[500]. Были у заключенных с собой ножи, и они хотели наброситься на эсэсовцев, но их вожак, молодой врач, удержал их от этого — в надежде, что немцы сохранят за это жизнь ему и его жене. Когда все разделись и зашли в камеру, то в камеру втолкнули и его.

Далее следует вторая часть рукописи — так называемые «Заметки», описывающие совсем недавние события. Самая ранняя дата — 10 октября, самая поздняя — 26 ноября 1944 года (скорее всего, в этот день Лейб Лангфус стал жертвой самой последней селекции «зондеркоммандо»).

Так, 14 октября руками «зондеркоммандо» начали разрушать стены крематория IV, изрядно пострадавшие во время восстания за неделю до этого; 20 октября грузовик привез для сожжения картотеки и горы документов; а 25 октября начали демонтировать и крематорий II (при этом в первую очередь демонтировали вентиляторный мотор и трубы — для того, чтобы установить их в других лагерях — в Маутхаузене и Гросс-Розене — таких моторов в крематориях IV и V не было — значит, немцы хотят продолжить свое дело в других местах).

Под конец автор называет свой псевдоним — J.A.R.A. и просит собрать его рукописи: «Сейчас мы идем в Зону. 170 еще оставшихся людей[501]. Мы уверены, что они поведут нас на смерть. Они отобрали 30 человек, которые остаются на крематории V. Сегодня 26 ноября 1944 года».

Далее он описывает свои рукописи и места, где он их спрятал. Одна из упомянутых рукописей называется «Gerusz» («Депортация»).

№ 5. РУКОПИСЬ ЛЕЙБА ЛАНГФУСА

Дата обнаружения: первоначального — апрель 1945 года, вторичного — ноябрь 1970 года.

Местонахождение оригинала: Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Освенцим, Польша. Syg. Wsp. / Autor nieznaemy / 449a (Ксерокопия: W&P., torn 78,79; Микрофильм: Инв. №: 156866).

Копия и дополнительные материалы: Яд Вашем. № 303.

Рукопись поступила в ноябре 1970 года от Войцеха Боровчика из Освенцима. История ее такова: в апреле 1945 года ее нашел возле руин крематория III его старший брат Густав Боровчик, впоследствии офицер Польской народной армии, проживавший в Катовицах. В октябре 1970 года младший брат наткнулся на чердаке дома на эту рукопись, после чего передал ее в музей[502].

Рукопись представляет собой 52 карточки формата 11x17 см, исписанные с обеих сторон. Ряд страниц (особенно в конце) не читается. Пагинация на рукописи — д-ра Романа Пытеля (с 1 по 128, из них последняя страница с текстом — 114-я).

Название авторское: «Der Gerusz» («Депортация»). Судя по сохранившейся нумерации глав, рукопись сохранилась не полностью, хотя пропусков в пагинации нет. Возможно, это и сокращенная версия; автор же при переписке не менял нумерации глав.

После оккупации (район Цихенау был присоединен к Восточной Пруссии и, стало быть, к рейху) с декабря 1940-го по март 1941 г. евреев из Цихенау переселяли в Любим и Радом. Гетто в Макове-Мазовецком долго не трогали, но где-то между 31 октября и 18 ноября 1942 года ликвидировали и его, депортировав жителей в транзитный еврейский лагерь в Млаве, откуда их доставили в Аушвиц.

Примерное содержание рукописи (в скобках — номера листов оригинала): Гл. 1. Первое предупреждение (1-30); гл.6. На марше (30-46); гл. 10. В день перед депортацией (46-49); гл. 11. Изгнание (50-55); гл. 12. Млава (55-83); гл. 17. На железную дорогу (83-101). Дальнейших подглавок и разбивок текста нет, но содержание последней из глав шире ее названия. Начиная с л. 88 в ней описывается прибытие эшелона из Млавы на рампу перед Аушвицем I и селекция (88-93): тогда было отобрано 450 работоспособных и 525 неработоспособных. Первыми на автобусах увезли женщин и детей, во вторую очередь — стариков и слабосильных мужчин. Остальных мужчин повели пешком в Биркенау.

Когда они спросили, куда увезли их близких и что с ними будет, эсэсовцы им вежливо ответили, что их везут в специальные бараки, где они будут жить и где потом можно будет с ними видаться по выходным дням. Далее следует описание барака и сцена в газовой камере бункера, обслуживать который его поставили. В группе убитых в его первый рабочий день были, как он узнал впоследствии, его жена и дети. От всего их транспорта осталась лишь небольшая горка полусгоревших костей, которую отбросили в сторону лопатой.

Лангфусу принадлежат также три фрагмента из рукописи Залмана Левенталья — «3000 обнаженных» и «600 мальчиков», а также лист на польском языке с перечнем эшелонов, прибывших в Аушвиц между 9 и 24 октября 1944 года.

№ 6. РУКОПИСЬ ЗАЛМАНА ЛЕВЕНТАЛЯ

Дата и место обнаружения: 28 июля 1962 г., возле крематория III.

Местонахождение оригинала: Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Освенцим, Польша. *Syg. Wsp. / Parti.* 1961 / 420

Копия и дополнительные материалы: Там же. Ксерокопия: *Wsp. / Pam.* 1961 / 51 a, b, c; Микрофильм: Инв. №: 107254.

Местонахождение оригинала Лодзинской рукописи: IPN. GK 166/1113 (Sammlung «Z»).

Рукопись Залмана Левенталья была обнаружена во время поисковых работ, проводившихся 26–28 июля 1962 года сотрудниками музея и Главной комиссии по изучению нацистских преступлений в Польше на территории, примыкающей к крематорию III. В поиске участвовал Хенрик Порембский, с апреля-мая 1942 года работавший в Аушвице в бригаде электриков и осуществлявший конспиративную связь между подпольщиками в Аушвице I и членами «зондеркоммандо».

Лицом, с которым Порембский непосредственно контактировал, был оберкапо «зондеркоммандо» Яков Каминский, еврей из Соколка[503]. В обмен на медикаменты, которые поступали к «своим» врачам, польское подполье обеспечивало вынос за пределы лагеря письменных документов, находившихся в одежде узников. Но в середине 1944 года, после побега связного, этот канал прикрылся, и оставалось только одно — схроны в пепле жертв, Порембский, по его словам, сам и закапывал все это — в чем ему помогали Мечислав (Митек) Морава, польский капо крематория III[504], и польский еврей Давид, то ли из Сосновца, то ли из Лодзи[505].

Это была уже не первая попытка Порембского, Но и в 1945 году, когда он застал в бывшем «своем» лагере лагерь для немецких военнопленных, и в 1947 году, когда раскопки только привлекли ненужное внимание охотников за еврейскими ценностями, он ничего не смог найти. Но на этот раз попытка была удачной.

28 июля 1962 года, на третий день поисков, в яме, заполненной остатками человеческого пепла и перемолотых костей, был найден кирпич, а под ним металлический контейнер — сильно проржавевший и искривившийся армейский котелок, по которому к тому же ударила лопата находчика. В котелке находилась пачка туго свернутых и отчасти склеившихся листов бумаги, сплошь

исписанной на идиш. Бумага отсырела и частично заплесневела. Но усилиями музейного реставратора находка была спасена: в общей сложности было обнаружено 342 листа бумаги длиной от 26 до 29 и шириной от 10 до 11 сантиметров, исписанных с одной стороны (на обороте листов, вырванных из конторской книги), а также 6 нумерованных листов бумаги формата от 17–20 на 10–11 см. Все последующие усилия и сверхусилия восстановить текст — химической обработкой, с помощью просвечивания или контрастной пересъемкой — привели к тому, что лишь 50 из 342 листов решительно не поддались прочтению, тогда как 124 поддались полностью, а остальные 174 — частично.

Было установлено, что указанные записи посвящены исключительно событиям в гетто Лодзи (Литцманнштадта). Они были оформлены как последовательно продолжавшиеся письма автора к другу, причем имя самого автора нигде не было названо. К записям были приложены шесть дополнительных листов, являвшихся своеобразным комментарием к рукописи: они были подписаны Залманом Левенталем, говорившим как бы от имени всей «зондеркоммандо».

Лодзинский дневник прерывается 15 августа 1944 года. В этот день 2000 лодзинских евреев прибыли в Аушвиц, и только 244 мужчины из этого транспорта уцелели, пройдя селекцию и получив номера от В-6210 до В-6453. Остальные были в тот же день убиты и сожжены, и в их числе и автор дневника, обнаруженного, по всей вероятности, уже среди его вещей, оставленных в «раздевалке». Впоследствии удалось установить, что им был Эммануэль Хиршберг, писатель и поэт из Лодзи[506].

Начало дневника написано в форме писем автора к некоему «Вилли», оно содержит общие сведения о Лодзинском гетто, но ближе ко второй половине начинаются записи в хронологическом порядке[507].

Автор комментария Залман Левенталь пребывал явно в большой спешке: он читал и писал буквально всю ночь, с 19.15 вечера до 8.44 утра, опасаясь быть застигнутым за этой работой. К тому же на эти дни первоначально планировалось восстание, и как знать — если бы кто-то из своих выдал бы эти планы, несдобровать никому: надо было торопиться.

В главной концепции автора — во всем виноват юденрат и его король Хайм Первый, то есть председатель Хайм Румковский, — Левенталь усматривает интересный и исторически ценный психологический изгиб, но относится к ней критически. Такая «концепция», в его глазах, заслоняет главное — неизбежность депортации и последующего за ней убийства, а это не позволяет тем, кого это касается, приготовиться хоть к какому-то сопротивле-

нию. Лодзинскому гетто он противопоставляет Варшавское, дерзнувшее на восстание и уже потому победившее, что доказало всем и прежде всего самим себе способность биться и сражаться со своими убийцами. Это для Левенталья главное, а все остальное, как он пишет, он «передоверяет историкам и исследователям». Как и Градовский, Левенталь поражается тому, что даже то, что русские стоят у ворот Варшавы, а американцы и англичане у ворот Парижа, неспособно отвлечь немцев от главного — от тотального уничтожения евреев! «Отражение правды, — заканчивает свой комментарий Левенталь. — это еще не полная правда. Вся правда гораздо трагичнее и гораздо ужасней...»

Залман Левенталь родился в 1918 году в Цехануве, четвертым ребенком в семье с семью детьми. Ко времени начала войны учился в иешиве в Варшаве, откуда поспешил вернуться в Цеханув. Дальнейшее он описал сам: в Аушвиц прибыл 10 декабря 1942 года из пересыльного лагеря Малкиния (Malkinia) и сразу же попал в «зондеркоммандо», обслуживавшую газовые камеры и крематории II и III. Дов Пайсикович вспоминает о Левентале следующее: на вид около 35–37 лет, штубендинст (освобожден от тяжелых работ), кривая походка[508].

№ 7. РУКОПИСЬ ЗАЛМАНА ЛЕВЕНТАЛЯ

Дата и место обнаружения: 17 октября 1962 г., возле крематория III.

Местонахождение оригинала: Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Освенцим, Польша.

В приложенных к лодзинским материалам комментариях Левенталья указаны места, где были спрятаны различные материалы членов «зондеркоммандо» и где в 1962 году действительно были сделаны новые находки, в том числе и его, Залмана Левенталья, собственный дневник.

Это произошло 17 октября 1962 года близ руин крематория III. Представитель Комиссии М. Барцишевский и бывшая узница лагеря Мария Езерская обнаружили на глубине около 30 см пол-литровую стеклянную банку, обернутую листовым железом. В ней находился бумажный ролик, в который, как в полотенце, был завернут разодранный на листы блокнот размером 10 на 15 см. Блокнот вместе с листами был схвачен скрепкой, сильно проржавевшей. Кроме того, там находилось несколько разброшюрованных листов того же размера (исписанных синими чернилами) и 1 лист большего размера, исписанный карандашом и только с одной стороны — всего 75 страниц, считая и 10 пустых. Зато страницы записной книжки исписаны с двух сторон, по 18–19 строк на страницу, при этом сначала книжка написана до конца на

одной стороне, а потом идет продолжение снова с начала. Примерно 40 процентов текста прочтению не поддавалось. То же, что поддавалось, оказалось написанным на идиш, причем, по мнению переводчика, не всегда идеальном, зато ивритские элементы (обращения и цитаты из Талмуда) были безукоризненны. Одна-единственная страница (из числа разброшюрованных) написана польски — это суммирующий список транспортов и уничтоженных евреев в октябре 1944 года.

При просушке рукописи случилось непоправимое: листы перепутались, и сегодня мы вынуждены иметь дело исключительно с реконструкциями. Первая реконструкция-перевод принадлежит З. Голштынскому, его работу правил и редактировал (в том числе, по-видимому, и с идеологических позиций) Ш. Датнер. Вторая реконструкция — Б. Марка.

О содержании рукописи можно судить из следующего внутреннего оглавления (в скобках обозначены номера листов рукописи): Гетто в Цехануве и депортация (1–5), транзитный лагерь в Малкинии (6–8), транспорт из Малкинии в Аушвиц (9), прибытие в Аушвиц, рампа (10), водворение в лагерь после селекции, зачисление в «зондеркоммандо» (11–13), речь Моля перед членами «зондеркоммандо» (14), описание сцен, разыгрывавшихся на рампе и возле бункеров, трагедия «зондеркоммандо» (16–21), анализ состояния духа и души членов «зондеркоммандо» (22–36), «3000 обнаженных» (37–46), описание удушения газами (46), забота о подлинном представлении истории Аушвица-Биркенау всему миру (47–51), образы отдельных членов «зондеркоммандо», попытки побегов (52–59), попытки организовать восстание, план подготовки восстания и его отзыв, мероприятия по соединению этого восстания с общелагерным. Непредвиденное начало восстания 7 октября 1944 года (60–92), общие соображения по поводу восстания, обвинения в адрес польских узников и справка о местах, где «зондеркоммандовцы» спрятали свои рукописи (93–99), «600 мальчиков» (100–102).

Бер Марк, знакомившийся с оригиналом одним из первых, подметил, что два фрагмента принадлежат не З. Левенталю, а тому же самому неизвестному автору, чью рукопись он уже однажды пытался атрибутировать. Следующий шаг — полную атрибуцию — уже после смерти мужа довершила Эдварда Марк, добавившая к двум указанным рукописям — кандидатам на переатрибуцию — еще и третью: единственный листок на польском языке (приготовленный, вероятно, для передачи польским подпольщикам в Аушвице I).

Вот небольшая цитата из рукописи Левенталя: «История Аушвица-Биркенау как рабочего лагеря в целом и в особенности

история лагеря уничтожения миллионов людей будет, как я думаю, представлена миру недостаточно хорошо. Часть сообщений будет принадлежать гражданским лицам. <...> А остальное расскажут, вероятно, поляки, которые по случаю останутся в живых или же представители лагерной элиты, занимающие лучшие из мест и исполняющие ответственные функции, или же те, чья ответственность не была такой большой. В противоположность им — поляки, а также евреи, из числа тех, кто здесь в лагере работал и кто видел, как планомерно сотни тысяч людей по приказу уничтожали руками собственных братьев...» (л. 47)

№ 8. РУКОПИСЬ МАРСЕЛЯ НАДЬЯРИ

Дата обнаружения: 24 октября 1980 г., на территории близ крематория III.

Местонахождение оригинала: Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Освенцим, Польша. Sygn. Wsp. / Nadjar Marcel.

Копия и дополнительные материалы: перевод на польский язык — АРМО. Собрание воспоминаний. Т. 135 (перевод Т. Алексиу).

Марсель Надьяри родился в 1917 году в Фессалониках, по профессии электрик. До отправки в Аушвиц содержался в лагере Хайдар. В Аушвиц был отправлен 2 апреля 1944 года транспортом из Афин: на место прибыл 11 апреля, был зарегистрирован под номером 182669[509]. Примерно через месяц, после карантина, был зачислен в «зондеркоммандо» (вместе с Леоном Когеном и другими). По всей видимости, входил в состав последней команды по разрушению крематориев и газовых камер[510]. В Биркенау[511] ему, по-видимому, удалось переместиться из одной колонны в другую, смешаться с другими узниками и уцелеть. 25 января 1945 года (за 2 дня до освобождения лагеря!) был эвакуирован в Маутхаузен, где был еще раз зарегистрирован (под номером 119116), 16 февраля 1945 года был переведен на работы в Гузен.

В 1947 году Марсель Надьяри женился на Розе Надьяри, а в 1951 году вместе с женой и маленьким сыном переехал в США, в Нью-Йорк, где и умер в 1971 году. Перед смертью он написал воспоминания, фрагмент из которых впервые был опубликован 22 апреля 1982 года на греческом языке в газете *Risospasti*[512]. В этих воспоминаниях есть и такие слова: «Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу». И такие: «Каждый день задумываемся над тем, есть ли еще Бог, и, несмотря ни на что, я верю, что он есть и что все, чего Бог хочет, есть его воля».

Рукопись, написанная М. Надьяри, была обнаружена спустя 9 лет после его смерти: 24 октября 1980 года, при раскорчевке мест-

ности около руин бывшего крематория III, на глубине примерно 30–40 см. Ученик Лесного техникума в г. Бринке (Brunka) Леслав Дурщ[513] нашел стеклянную колбу от термоса, закрытую пластмассовой пробкой и завернутую в кожаную сумку. В колбе была рукопись — 13 страниц формата 20x14 см, вырванных, по всей видимости, из блокнота. Текст написан убористым почерком, на греческом языке. Рукопись подверглась воздействию сырости, ее состояние и, соответственно, читаемость очень плохие.

Довольно быстро слух об этой находке дошел и до Розы Надьяри, перебравшейся к этому времени в Париж. 7 марта 1982 года она обратилась в Освенцимский музей с просьбой выслать ей копии. Ей не только выслали фотографии рукописи, но и вернули подлинную сумку, в которой нашли рукопись.

Post-Scriptum

До недавнего времени мне не приходилась даже слышать о том, чтобы на местах других лагерей смерти были сделаны находки наподобие тех, что были обнаружены в Аушвице. Но, как выясняется, записки на идиш были найдены и в других местах, по меньшей мере в Майданеке[514] и в Хелмно[515].

В самом же Аушвице и Биркенау, помимо рукописей, написанных и упрятанных членами «зондеркоммандо», существовали и были обнаружены еще и другие «схроны» — «бутылки», брошенные в море.

Самый яркий пример — это единственный текст на идиш, который был найден в самом Биркенау и датирован 3 января 1945 года. Жанр, в котором он написан, настолько неожидан, что невольно хочется себя ущипнуть: это предисловие к антологии художественных сочинений на идиш и иврите, написанных несколькими еврейскими авторами из... Биркенау! Если Градовский и другие писатели из «зондеркоммандо» в своих записках были сконцентрированы на том, как евреи здесь умирали, то авторы антологии — на том, как они здесь жили. Но сама антология не выжила, погибла, а уцелели только предисловие к ней и его автор Авром Левит![516]

Положение, в котором в Аушвине оказались он сам и все остальные прошедшие селекцию евреи, он сравнивает с положением полярников, погибающих в арктическом безмолвии: они обречены, никто не спасет их, но остается еще слабая надежда оставить свидетельство о своих последних днях. И замерзающие пальцы все водят и водят карандашом по страницам дневника...

Для Левита принципиально важно оставить именно свое, еврейское, свидетельство об еврейской трагедии, ибо свидетельству нееврейскому он заранее отказывает в легитимности и не-

предвзятости: «Да, кое-кто выйдет отсюда живыми: не-евреи. Что расскажут они о нашей жизни? Что знают они о наших бедах? Что знали они о еврейских страданиях даже в нормальное время? Они знали, что все мы дети Ротшильда. Они станут усердно собирать маргариновые обертки и сосисочные кожицы и логично доказывать [с их помощью], что не так уж плохо этим евреям в этом лагере жилось...»

Другой пример — книга с именами цыганских узников, закопанная Т. Яхимовским, И. Петржиком и Х. Порембским летом 1944 года. Найденная вскоре после войны, она была опубликована только в 1993 году[517].

Еще случай — негативы идентификационных фотографий СС, сделанных с узников (около 390 тысяч!), снимки, документирующие строительство, лагеря, газовых камер и т. д. Их тоже нашли после войны[518].

Ну и, конечно, тысячи касиб![519] Тысячи касиб, переправленных польско-еврейским Сопротивлением на волю, среди них немало сведений, полученных и от «зондеркоммандо», а также несколько леденящих сердце фотографий.

Рукописи Градовского, как и другие рукописи, восставшие из пепла, — это тоже своего рода касибы, посланные нам, но не через проволоку и не по воздуху, а через землю, напитанную кровью, обожженную и сырую.

Но не менее трудной и вязкой средой, сопротивлявшейся просачиванию этих грунтовых слов к читателю, оказалась погруженная во время человеческая память. Точнее, антипамять, чья леденящая сила, словно вечная мерзлота, на многие десятилетия сковала естественное желание человека знать и намерение помнить.

И все-таки — вопреки всему — они, эти касибы, однажды и случайно уцелев, начинают до нас доходить...

IV. История перевода и публикации рукописей членов «зондеркоммандо», найденных в Биркенау

История выхода в свет «свитков из пепла» начинается с публикации в «Бюллетене Еврейского исторического института» в 1954 году текста рукописи «Неизвестного автора», впоследствии идентифицированного Бером Марком и Эстер Марк как Лейб Лангфус.

Примечательно, что первые переводы гораздо старше первоизданий: это переводы З. Градовского на русский язык, сделанные Я. Гордоном (1945), П. Карпом (1948?) и Миневич (1962).

Самые первые публикации, как правило, выходили на польском языке. Исключениями стали только «В сердцевине ада» и «Письмо из ада» З. Градовского, впервые (1977) опубликованы на идиш.

Спецвыпуск «Освенцимских тетрадей», составленный из рукописей членов «зондеркоммандо» в переводе на польский язык, стал их первой сводкой (1971). К сожалению, дефекты перевода рукописей (например Градовского), при этом не были исправлены. Затем последовали сводные переводы, книги с польского на немецкий (1972) и английский (1973) языки. К сожалению, дефекты польской публикации перекочевали и в эти переводные, но опубликованные в Польше книги.

В 1975 году воспоследовало новое, несколько расширенное, сводное издание на польском языке, а в 1996 году — и на немецком языке (в обоих случаях — без учета атрибуции Б. Марка и Э. Марк авторства Л. Лангфуса в тексте, печатавшемся как «рукопись неизвестного автора»). Издание 1996 года легло в основу целого ряда других изданий, например итальянского 1999 года (забавно, что, в отличие от своего «источника», оно даже не упоминает ВММ МО РФ как местонахождение одного из текстов).

Первое научное издание корпуса текстов З. Градовского было опубликовано в 2008 году в России, в трех — с июля по сентябрь — номерах выходящего в Санкт-Петербурге журнала «Звезда». В том же году тот же корпус впервые вышел в книжной версии и впервые на голландском языке. Книжным дебютом Градовского на русском языке стало выпущенное в мае 2010 года первое издание книги «Посредине ада», вобравшее в себя лишь часть подготовленного составителем научного аппарата (см. «От составителя»).

Языки переводов	Тексты, написанные и найденные в Биркенау								
	ЗГ-1	ЗГ-2	ЗГ-3	ЗЛ-1	ЗЛ-2	ЛЛ-1	ЛЛ-2	ХХ	ХХ
Английский	1973; 1999	1985 1999	1973; 1999	1973;		1973*	1973	1973	1971
Голландский	2008	2008	2005						
Греческий									1982
Иврит	1978	1978	1978; 1988		1988	1954*			
Идиш		1977	1962						
Испанский	1997	1997	1997	1997					
Итальянский	1999; 2002	1999; 2002	1999; 2002	1999	1999	1999*	1999	1999	1999
Немецкий	1972; 1996; 1999	1979; 1996;	1972; 1996	1972; 1973; 1996	1967; 1995; 1996	1962*; 1972*; 1979*; 1996*	1972; 1996	1972; 1996	1972; 1996
Польский			1969; 1971	1968; 1971	1965; 1971	1954*; 1971*	1972	1971	1971
Русский	2005; 2008; 2010	2008; 2009; 2010	2008; 2010						
Французский	1982	1982; 2001	1982	1982	2005	2005			
Чешский		1994							

Публикации рукописей, найденных в Биркенау

Сокращения: ЗГ — Залман Градовский (1 — «Дорога в ад», 2 — «В сердцевине ада», 3 — «Письмо из ада»), ЛЛ — Лейб Лангфус (звездочкой выделены публикации, где он фигурирует как неизвестный автор), ЗЛ — Залман Левенталь, МН — Марсель Надьяри, ХХ — Хаим Херман.

Примечание. Переводы на русский язык всех трех рукописей З. Градовского (ЗГ-1, ЗГ-2 и ЗГ-3) вошли в книгу «В сердцевине ада», выпущенную в 2010 г. издательством Гамма-Пресс.

Публикации рукописей членов «зондеркоммандо» и сопроводительные материалы к ним

1954

(Польск.) W otchiani zbrodni (Kjonika oswiccimska nieznanego avtora) // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. Warszawa, Styczer — czerwiec 1954. Nr. 9-10. S. 303–309.

С примечанием «От редакции»: «Найдено в ноябре 1952 г. Написано на идиш. Последняя дата в тексте—26 ноября 1944, авторское название: «Wotchlani Zbrodni»» (Р. 303).

(Идиш) In Greuel fon retzkihe // Bieter far Geschichte. 1954, Vol. VII, No. 5. P. 100–107.

Записки неизвестного автора. В предисловии рассказано о находке. Идентификации автора как Лейба Лангфуса еще нет. Включает в себя разделы: «Подробности»; «Записки» и «Садизм». Последний раздел относится к Белженцу и не вошел в Освенцимское издание.

1957

(Иврит) Anashim va efer: Sefer oshvits-birkenau Ed. I. Gutman. Merhavia, 1957.

1962

(Нем.) [Неизвестный член «зондеркоммандо»] Im Abgrund des Verbrechens // (Hrsg.) H.G. Adler, Hermann Langbein, Ella Lingens-Reiner. Köln — Frankfurt-am-Main: Europäische Verlagsanstalt, 1962. S. 94–97 (2-е изд.: 1979).

Переводчик не указан, но им являлся Б. Марк. По сравнению с первыми публикациями 1954 г. отсутствует глава «Садизм».

(Идиш) [Без подписи]. [В ленинградском Медико-военном музее находятся записки Залмана Градовского из Освенцима]. // Folksztyme. Warszawa. 1962. № 68. 3 мая. С. 3.

В заметке упоминаются книжка и письмо Градовского, найденные во время раскопок недалеко от III (IV) крематория. Приведен и текст письма, что, в сущности, является первой публикацией не только самого письма, но и вообще первой публикацией З. Градовского. Автор неподписанной заметки (вероятнее всего, им был Б. Марк — см. ниже) поясняет: «Из текста на последней странице записной книжки явствует, что Залман Градовский сначала закопал книжку в одном месте, потом выкопал ее и спрятал в другом. Оказалось, что бутылка, в которой были спрятаны записная книжка и письмо, закрывалась негерметично, и в нее попала вода, поэтому часть текста оказалась уничтожена» (этим объясняется хорошая сохранность письма: Градовский вложил его во фляжку уже после того, как извлек из земли фляжку с записной книжкой).

(Идиш) [Б. МаркНовый потрясающий документ. Освенцимский дневник Залмана Градовского] // Folksztyme. Warszawa, 1962, № 72, 10 мая С. 3–4.

1965

(Польск.) RQKopis Zelman Lewentala [Рукопись Зельмана Левенталя] / Прочтение на иврите и идиш: Lieber Brener, Adam Wein; пер. на польск. яз.: Szymon Datner // «Szukajcie w popioarach». Papiery znalezione w Oswincimiu [«Ищите в пепле». Рукописи, найденные в Освенциме]. [Głowna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce]. Lodz: Wydawnictwo Lodzkie, 1965. S. 125–130.

1967

(Нем.) Der Bericht Zelman Leventhal / Пер.: P. Lachmann u. A. Astel // Briefe aus Litzmannstadt / Hrsg. von Janusz Gumkowski, Adam Rutkowski und Arnfried Astel. Koln: F. Middelhaue, 1967. S. 89–96.

1968

(Польск.) Zelman Lewental. PamieQtnikczionka Sonderkommando Auschwitz II / Предисловие: Adam Rutkowski; перевод: Adam Rutkowski i Adam Wein // Biuletyn Zydowskiego Institutu Historycznego. Warszawa, styczen — czerwiec, 1968, Nr. 65–66. P. 211–233. Дефектная публикация (см. выше).

1969

(Польск.) Zalmen Gradowski. Pamie,tnik / Предисловие и примечания: Bernard Mark. O pamie,tnike Zalmena Gradowskiego, czionka Sonderkommando w obozie koncentraczjnim Oswiencim. Подготовка текста: Edwarda Mark. // Biuletyn Zydowskiego Institutu Historycznego. Warszawa, lipiecgrudzien 1969, Nr. 71–72. P. 172–204.

Дефектная публикация (см. выше). Публикатор благодарит А.А. Лопатёнка из ВММ МО РФ в Ленинграде за предоставленную в 1962 г. возможность ознакомления с записками и протоколом комиссии Попова и Герасимова.

1971

(Польск.) Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed). Wsrod koszmarnej zbrodni: Notatki wiezniaw Sonderkommando / Zeszyty OswiQcimskie. Numer specjalny 2. Paistwowe Muzeum w Oswiencimiu, 1971. 287 S.

(Польск.) Czech, Danuta. O komentarzu Zaimena Lewentala // Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed). Wsrod koszmarnej zbrodni: Notatki wiQzniow Sonderkommando. Paistwowe Muzeum w Oswiencimiu, 1971. 287 S.

(Польск.) Zahnen Lewental [Komentarz] / Oderzytal z jidysz Adam Wein. Przetlumaczyt Szymon Datner // Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed). Wsrod koszmarnej zbrodni: Notatki wiezniaw Sonderkommando. Panstwowe Muzeum w Oswiencimiu, 1971. S. 182–186.

(Польск.) Bezwiffska, Jadwiga; Czech, Danuta. O rukopisie Zalmena Lewentala. // Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed). Wsrod koszmamej zbrodni: Notatki wienzniaw Sonderkommando. Paristwowe Muzeum w Oswieceimiu, 1971. S. 187–190.

(Польск.) Zahnen Lewental. [Pamietnik] / Oderzytal zjidysz Seweryn Zaimen Gostynski. Przetlumaczyl Roman Pytel // Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed), Wsrod koszmamej zbrodni: Notatki wiezniaw Sonderkommando. Pafistwowe Muzeum w Oswinceimiu, 1971. S. 191–241.

1972

(Нем.) Inmitten des grauenvollen Verbrechens: Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos / Auswahl und Bearbeitung: Jadwiga Bezwinska, Danuta Czech; Beglaubigung der Entzifferung der Handschriften aus dem Jiddischen: Roman Rytel; Nachwort: Wladyslaw Bartoszewski; bersetzung: Hertha Henschel // Hefte von Auschwitz. Sonderheft (I). Oswiecim: Verlag Staatliches Auschwitz-Museums, 1972. 220 S.

(Польск) Lejb [Langfus]. Zeszyty Oswiecimskie. 1972. Nr. 14. S.???.

1973

(Англ.) Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed). Amidst a nightmare of crime: Notes of Prisoners of Sohderkommando. Oswie.cim: Publications of State Museum at Oswiecim, 1973. 208 p.? -

(Нем.) Lejb \Langfus]. Handschrift/ Vorwort: J.Bezwinska, D. Czech;obers. Von R.Pytel // Hefte von Auschwitz. Heft 14. 1973. S. 5-72.

1975

(Польск.) Czech, Danuta. O komentarzu Zalmena Lewentala. // Bezwinska, Jadwiga; Czech, Danuta (ed). Wsrod koszmamej zbrodni: Notatki wiezniow Sonderkommando. Pafistwowe Muzeum w Oswieceimiu, 1975. 287 s.

1977

(Идиш) Salmen Gradomki. In Harts Fun Gehenem [В сердцеvine ада] / Chaim Wolnermann. Araynfir [Предисловие]; David Sfar. Eynike zikhroyns fun Salmen Gradowski [Некоторые воспоминания о Залмане Градовском]; Yehoshua Wigodsky. A wort fun a gewezenem osir in Oyshwitz [Слово бывшего узника Аушвица]. Jerusalem, 1977.

(Идиш) Mark, Ber. Megillah Oyshvits [Свиток Аушвица]. Tel Aviv: Israel-Book, 1977. 472 p.

1978

(Иврит) Mark, Ber. Megillat Auschwitz [Свиток Аушвица]. Tel Aviv: Israel-Book, 1978. 284 p.

1979

(Нем.) [Неизвестный член «зондеркомmando»] Im Abgrund des Verbrechens //Auschwitz. Zeugnisse und Berichte / Hg. von H.G. Adler, H. Langbein, E.Lingens-Reiner. 2. Auflage. Koln — Franldurt-am-Main: Europäische Verlagsanstalt, 1979. S. 75–77.

1982

(Фр.) Ber Mark. Des voix dans la nuit. La rasistance juive Auschwitz-Birkenau. Paris: Libraire Pion, 1982. 362 p.

Пер. кн.: Mark, Ber. Megiles Oyshvits [Свитки Аушвица]. Tel Aviv: Israel-Book, 1977. 472 p.

(АНГЛ.) Marcell Nadjari / Publ. Jannis Litios // Risospasti. 22.4.1982.
1985

(АНГЛ.) Zalman Gradowski. Writings. / Пер. с иврита: Sharon Neemani// Ber Mark. The Scrolls of Auschwitz. Tel Aviv: Am Oved Publishing House, 1985. P. 173–205.

1988

(ИВРИТ) Gradowski, Zalman. Reshimot. [Записки] / Tel Aviv: Sifriyat-Poalim, 1988.

МАРИЕАНАТЗАРН. 1941–1945. ІАРУМА ЕТЗАХАТМ. ФЕНАЛІОМКН, 1991. 66 с. [рукопись, размноженная на гектографе] P. 3–7.

1994

(Чешек.) Olexu, Krystyna. Svodectvi vezne ze zonderkomanda — Salmen Gradowski // Terezinski rodinni tabor v Osvetimi-Birkenau. Praha, 1994. S. 92-104.

1996

(Нем.) Inmitten des grauenvollen Verbrechens: Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. / Auswahl und Bearbeitung: Jadwiga Bezwinska, Danuta Czech; Beglaubigung der Entzifferung der Handschriften aus dem Jiddischen: Roman Rytel; Nachwort: Wladyslaw Bartoszewski; bersetzung: Hertha Henschel // Hefte von Auschwitz. Sonderheft (I). Oswiecim: Verlag Staatliches Auschwitz-Museums, 1996. 220 S.

(Нем.) Handschrift von Salmen Gradowski // Inmitten des Grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Verlag des Staatlichen Auschwitz-Birkenau Museums, 1996. S. 138–172.

(Нем.) Mark, Bernard. Über die Handschrift von Salmen Gradowski // Inmitten des Grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Verlag des Staatlichen Auschwitz-Birkenau Museums, 1996. S. 133–137.

(Нем.) Salmen Gradowski. Der Brief // Inmitten des Grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Verlauf des Staatlichen Auschwitz-Birkenau Museums, 1996. S. 137–139.

(Нем.) Salmen Gradowski. Tagebuch // Inmitten des Grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Verlauf des Staatlichen Auschwitz-Birkenau Museums, 1996. S. 139–172.

1997

(Исп.) Mark, Ber. Paginas de Auschwitz. Montevideo, 1997. 1999

(Нем.) Capkova, Katerina. Das Zeugnis von Salmen Gradowski // There-sienstadter Studien und Dokumente. 1999 / Hg. Von M. Karny u

R. Kemper. Edition Theresienstadter Initiative Academia. Prag, 1999. S. 105–111.

(Нем.) Gradowski, Salmen. Im Herzen der Halle // Theresienstedter Studien und Dokumente. 1999 / Hg. von M.Karny u R.Kemper. Edition Theresienstedter Initiative Academia. Prag, 1999. S. 112–140 Фрагменты из всех трех глав.

(Ит.) La voce die sommersi. Manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz / A cura di Carlo Soletti, prefazione die Frediano Sessi, poatfazione di Franciszek Piper//Venezia: Marsilio editori, 1999, 254 p., appendici.

Перевод с нем. издания 1996 г.

2001

(Фр.) Des voix sous du cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d'Auschwitz-Birkenau. Paris: Calmann-Levy / Memorial de la Shoah, 2001.422 p.

(Фр.) Gradowski, Zalmen. Au ceur de l'enfer. Documentecrit d'un Sonderkommando d'Auschwitz — 1944 / Edition dirige et presente par Philippe Messnard et Carlo Soletti; traduit du yddish par Batia Baum. Paris: Edition Kime 2001. 170 p.

Составитель благодарит Хайма и Йетту Волнерман.

2002

(Ит.) Gradowski, Salmen. Sonderkommando. Diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 / A cura di Philippe Mesnard e Cario Soletti. Venezia, 2002.

2003

Макарова Е., Макаров С, Неклюдова Е., Куперман В. Крепость над бездной. Терезинские дневники. 1942–1945. Иерусалим — Москва: Гешарим — Мосты культуры, 2003. С. 220–221 [Впервые — фрагмент на русском языке].

2005

(Фр.) Des voix sous du cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d'Auschwitz-Birkenau. Paris: Calmann-Levy / Memorial de la Shoah, 2005. 442 p.

Полян П. «В последнее время они начали заметать следы». Письмо из Освенцима. В России публикуется впервые / Публ. и послесловие (под заглавием «Кто такой Залман Градовский») // Известия. 2005, 28 января. с. 4.

Полян П. Записка из пепла // Еврейское слово. 2005, № 5 (2–8 февр.). с. 7.

Полян П. «Дорогой находчик, ищите везде!». Эти слова одного из узников Освенцима, оставившего документальные свидетельства Холокоста, звучат сейчас как голос из бездны // Еврейская газета (Берлин). 2005, № 3. С. 26.

2008

Полян Я. Ив конце тоже было Слово... // Звезда. 2008, № 7. С. 91–108.

Залман Градовский. Письмо к потомкам. Дорога в ад. / Публ. П. Поляна/ Звезда. 2008, № 7. С. 109–140.

З. Градовский. <Ш>. Посреди преисподней / Публ., примеч. П. Поляна, перевод с идиш А. Полян // Звезда. 2008, № 8. С. 152–187.

З. Градовский. <Ш>. Посреди преисподней / Публ., примеч. П. Поляна, перевод с идиш А. Полян // Звезда. 2008, № 9. С. 146–161.

Полян П. Чернорабочие смерти. Зондеркоманда в Освенциме // Звезда. 2008, № 9. С. 146–161.

(Голл.) Zalmen Gradowski, In het hart van de hei. Sonderkommando in de gaskamers / Enleiding v. Philippe Masnard. Laren: Verbum, 2008 (Ser.: Verbum Holocaust Bibliotheek).

2009

Полян П. В конце тоже было слово... Как был создан один из самых потрясающих документов Холокоста // Еврейская газета (Берлин). 2009, июнь. С. 21.

Градовский З. Посреди преисподней... Из записок, найденных в пепле у печей Освенцима / Публ. и предисл. П. Поляна. Пер. с идиш А. Полян // Еврейская газета (Берлин). 2009, июнь. С. 21.

Градовский З. В сердцевине ада. Записки, найденные в пепле возле печей Освенцима / Сост., научн. ред., примеч. и предисл. П. Поляна. Пер. с идиш А. Полян и М. Карпа. М., ГАММА-ПРЕСС, 2010. 224 с.

V. Хроника событий, связанных с «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау

1939

9 сентября Оккупация Освенцима (Аушвица) немецкими войсками.

1940

27 апреля Приказ Г. Гиммлера об организации концлагеря на месте артиллерийских казарм в Аушвице.

20 мая Прибытие в Аушвиц из Заксенхаузена первых 30 узников (немецких уголовников) — будущих «функциональных узников».

Май-июнь Около 300 еврейских рабочих из г. Аушвиц заняты на работах по оборудованию будущего концлагеря.

14 июня Прибытие в Аушвиц 728 польских узников из тюрьмы в Тарнуве.

19 июня Насильственное выселение первых 500 поляков, живших в непосредственной близости от будущего концлагеря.

Сентябрь Ввод в строй крематория в концлагере Аушвиц (крематорий I).

1941

1 марта Первое посещение концлагеря Г. Гиммлером.

17 марта Приказ о депортации из Аушвица, Биркенау, Райско и ряда других сельских поселений в окрестностях Аушвица части польского (800 чел.) и всего еврейского (250 чел.) населения.

Конец марта-апрель Депортация евреев Освенцима в Сосновец и Бенджин (большинство из них погибло летом и осенью 1942 г. в лагере уничтожения Белжец).

Август Установка фирмой «J. A. Torf und Sohne» в Аушвице I первого крематория.

Август Р. Хёсс принимает участие в конференции Еврейского отдела РСХА под руководством А. Эйхмана.

Конец августа Возможно, первые эксперименты с удушением людей газом Циклон Б: сначала 30 чел., потом 100 чел.

3-5 сентября По приказу начальника лагеря Фритцша — пробная газация 600 советских военнопленных и 250 больных поляков в подвале блока 11 с последующими транспортировкой и сжиганием их трупов в крематории I. Формирование из поляков и евреев первой «коммандо» по обслуживанию крематория (Leichenträger, переносчики трупов, это фактически первая «зондеркоммандо»; капо — поляк М. Морава).

15 сентября Организация в Аушвице 1-го отдельного рабочего лагеря для русских военнопленных.

16 сентября Пробная газация 900 советских военнопленных в переоборудованной мертвецкой крематория I.

22-25 сентября Переговоры и переписка с фирмой «J. A. Torf und Sohne» о технических деталях новых крематориев.

Сентябрь Посещение Аушвица А. Эйхманом, отобравшим в качестве будущих мест массовой газации евреев два крестьянских подворья около Биркенау (будущие бункеры 1 и 2).

Октябрь Начало строительства 2-й очереди концлагеря Аушвиц в Биркенау.

Осень Посещение Р. Хёссом Трешлинка, где практиковалось убийство узников двуокисью углерода (выхлопными газами).

17 ноября Первое упоминание в касибах (контрабандных письмах польского подполья) об убийствах газом.

1942

20 января Ванзейская конференция.

15 февраля (?) Начало массового уничтожения евреев. Первая группа (предположительно, немецкие евреи из Бойтена, без регистрации) была удушена в газовой камере крематория I.

27 февраля Визит в Аушвиц Х. Каммлера — начальника отдела по строительству Центрального экономического управления СС. Решение о переносе строительства крематория II из Аушвица в

Биркенау.

20 марта Ввод в действие изолированной газовой камеры — бункера I («Красного домика»). Трупы убитых сжигаются в гигантской яме, вырытой на лугу. Формирование первого состава «зондеркоммандо».

26 марта Первые еврейские транспорты из Словакии, а также из женского концлагеря Равенсбрюк.

30 марта Первый еврейский транспорт из Франции.

Апрель Ликвидация 80 членов первого состава «зондеркоммандо» (их доставили в больницу и убили уколами фенола).

2-я половина апреля — начало мая Формирование второго состава «зондеркоммандо», состоявшего почти сплошь из словацких евреев: сначала — 45 чел. из транспорта, прибывшего 17 апреля. Расширено до 200 чел., в том числе 50 чел. использовались на бункере 1 и 150 — на рытье новых ям.

4 мая Первая селекция на территории лагеря Биркенау.

Около 5 мая Первый еврейский транспорт из польских гетто.

Июнь — ноябрь Эпидемия тифа.

Конец июня Ввод в действие еще одной изолированной газовой камеры — бункера 2 («Белого домика»).

Начало июля Увеличение числа членов «зондеркоммандо» до 300, а затем до 400 чел.

17 июля Первый еврейский транспорт из Голландии.

17–18 июля Второе посещение Аушвица и Биркенау Г. Гиммлером. Осмотр бункера 2.

Август Перевод женского лагеря из Аушвица в Биркенау. Газация около 80 членов «зондеркоммандо».

5 августа Первый еврейский транспорт из Бельгии.

Около 15 августа Решение о строительстве крематориев II, III и IV.

18 августа Первый еврейский транспорт из Югославии.

Конец лета Восстание евреек — узниц женской штрафной роты в Будах близ Биркенау. Около 90 узниц погибли, их убийцы — 6 немецких уголовниц — были казнены в конце октября.

Сентябрь Введение в официальный лагерный словооборот термина «зондеркоммандо».

21 сентября — конец ноября Раскопки братских могил, эксгумация и сжигание трупов (около 107 тысяч), сброс пепла в Солу и Вислу.

28 октября Первый еврейский транспорт из Терезиенштадта.

1 декабря Первый еврейский транспорт из Норвегии.

3, 7 и 9 декабря Побег, в общей сложности, 12 членов «зондеркоммандо», из них 6 — успешные.

3, 10 и 17 декабря Почти полная ликвидация в газовой камере при крематории Аушвиц I «зондеркоммандо» — уничтожено около 390 чел. (оставлены в живых словацкие евреи — Арношт Рошин, Ф. Мюллер и др.).

6-12 декабря Экстренное (без карантина!) формирование нового состава «зондеркоммандо» (по-видимому, порядка 200–300 чел.). Первые из «новичков» — 200 польских евреев из Макова и других мест (транспорт из Млавы от 6.12.1942 и др.). 2-я волна — транспорты из Келбасина (8.12.1942) и Малкинии (10.12.1942), затем — пополнения за счет транспортов из Кракова (19.01.1943) и Дранси (2–4.03.1943). В течение 1943 г. несколькими порциями добавлялись евреи из Греции и других стран.

10 декабря Первый вывод на работу нового состава «зондеркоммандо»: по 100 чел. работало на бункере 1 и 2.

1943

Январь-апрель Эпидемия тифа.

19 января Пополнение «зондеркоммандо» за счет транспорта с польскими евреями, прибывшего из Кракова.

Конец января Переговоры строительного управления СС с фирмой «J. A. Torf und Sohne» о строительстве крематория VI.

Начало года Организация мини-лазарета в бараке для «зондеркоммандо».

2–4 марта Пополнение «зондеркоммандо» за счет транспорта с французскими евреями, прибывшего из Дранси. Суммарная численность «зондеркоммандо» насчитывает уже 400 чел. (количество, которое поддерживалось вплоть до февраля 1944 г.).

4 марта Пробная топка на крематории II. Сожжено 45 трупов: время сгорания — около 40 мин. вместо ожидаемых 30. Среди 12 чел. первой рабочей смены — Хенрик Таубер.

5 марта Перевод из Бухенвальда немецкого заключенного Августа Брюка, предназначенного для работы оберкапо на крематориях Биркенау.

9 марта Побег 2-х членов «зондеркоммандо» — Белы Фёльдиша и неизвестного. Их вскоре поймали, доставили в штрафблок 11, где пытали и 16.03.1943 убили.

13–14 марта Неофициальный пуск крематория II: первые жертвы — 1492 еврея из гетто в Кракове.

20 марта Первый еврейский транспорт из Греции.

22–23 марта Пуск и приемка крематория IV с пропускной способностью 768 трупов в сутки.

31 марта Приемка крематория II с пропускной способностью 1440 трупов в сутки.

4 апреля Приемка крематория V с пропускной способностью 768 трупов в сутки.

19 апреля Начало восстания в Варшавском гетто.

Май Эпидемия тифа в цыганском лагере.

22 мая-около 20 июня Остановка крематория II для ремонта внутренней облицовки трубы и дымоходов.

9 июня Апробация газовых камер при крематориях IV и V.

25-26 июня Приемка и пуск газовой камеры и крематория III с пропускной способностью 1440 трупов в сутки (апробация на евреях из Дранси и Бендсбурга).

12 июля Перевод «зондеркоммандо» в Биркенау из блоков 1 и 2 в секторе VIb в блоки-конюшни 13 и 11 в секторе VIId. Перевод польских членов «зондеркоммандо» в блок 2.

19 июля Остановка крематория I в Аушвице I.

12 августа Восстание в лагере смерти Треблинка.

16-21 августа Восстание в Белостокском гетто.

8 сентября Создание семейного лагеря для евреев из Терезиенштадта.

14 октября Восстание в лагере смерти Собибор.

23 октября Прибытие из Берген-Бельзена транспорта с «евреями на обмен», обладателями южноамериканских паспортов. Одна из находившихся в нем узниц застрелила в раздевалке крематория обершарфюрера СС Й. Шиллингера.

23 октября Первый еврейский транспорт из Италии.

3 ноября Расстрел около 17 тысяч евреев в концлагере Майданек.

11 ноября Оберштамбаннфюрер СС А. Либехеншель сменяет Р. Хёсса на посту коменданта концлагеря Аушвиц. Организация 3-х обособленных лагерей — Аушвиц (Stammlager), Биркенау (Frauenlager) и Моновиц (Nebenlager).

Начало декабря(?) Переезд «зондеркоммандо» из блока 2 в секторе В, отданном под женский лагерь, в блок 13 в секторе D.

14 декабря Завершение строительства «Эффектен-камеры», т. е. зоны для складирования, обработки и хранения имущества узников и убитых («Канада»).

27 декабря Смерть от тифа оберкапо Августа Брюка. Его преемником становится Яков Каминский.

1944

Середина февраля Неудавшийся побег Даниэля Обстбаума, Ферро Лангера и еще троих членов «зондеркоммандо», с подкупом СС.

24 февраля Селекция 200 членов «зондеркоммандо», которых отправляют в Майданек и там расстреливают. На их замену отбирают около 100–150 греческих евреев, прошедших карантин; их помещают в барак 13.

29 февраля Инспекция лагеря А. Эйхманом.

7 марта Ликвидация «чешского лагеря».

10–15 апреля Прибытие в Аушвиц эшелонов (в основном из Греции), из состава которых спустя месяц сформируют обновленные «зондеркоммандо».

4 апреля Первая аэрофотосъемка концлагеря Аушвиц союзниками.

16 апреля Из концлагеря Люблин (Майданек) прибывают члены местного «зондеркоммандо» — 19 советских военнопленных и 1 немец — оберкапо Карл Конвоент. Они рассказывают о расстреле в Майданеке 17 тысяч евреев 03.11.1943, а также членов «зондеркоммандо» из Биркенау, «эвакуированных» 24.2.1944.

2 мая Прибытие первых транспортов из Венгрии: начало «венгерской операции».

Между 3 и 8 мая Посещение Аушвица-Биркенау А. Эйхманом. В связи с «венгерской операцией» Хёсс приказывает подъездной железнодорожный путь, подводивший к территории Биркенау, дотянуть до крематориев II и III и построить там разгрузочную рампу. Начальником над всеми крематориями назначен гауптшарфюрер СС О. Моль. Увеличение численности «зондеркоммандо» на 100 чел. и первый выход новичков на работу.

15 или 16 мая Посещение Г. Гиммлером крематория II в Биркенау.

16 мая Попытка ликвидации цыганского лагеря. Попытка не удалась, т. к. цыгане были накануне предупреждены. В Биркенау прибыло сразу три эшелона с венгерскими евреями.

До середины мая Численность «зондеркоммандо» — около 414 чел.: из них по 121 чел. — на крематориях II и III и по 86 — на крематориях IV и V.

2-я половина мая Выход из строя всех 8 печей крематория IV и 6 печей крематория V (скорее всего — в связи с перегрузками из-за увеличившегося объема работы).

Около 1 июня Перевод врача Миклоша Нижли (венгерский еврей) из лагеря Моновиц на крематорий IV в качестве ассистента доктора Менгеле.

Около 10 июня (по другим данным — конец июня) Перевод «зондеркоммандо» из бараков № 13 и 11 в секторе ВІІd на чердаки крематориев II и III и в раздевалку крематория IV.

16 июня Первоначальная дата общего восстания, согласованная с польским подпольем. Посещение Аушвица обергруппенфюрером СС Полем. Он приказывает усилить маскировочные мероприятия на территории крематориев. Радио Би-би-си сообщает об убийстве части евреев из Терезиенштадта 7.03.1944 и о планирующемся убийстве другой части около 20 июня.

20 июня-20 июля Мелкие ремонтные работы на крематории II.

21 июня Старейшина еврейского гетто в Терезине Якоб Эдельштейн, его семья и его ближайшие сотрудники расстреляны и сожжены на крематории III.

23 июня Посещение Аушвица делегацией Международного Красного Креста.

26 июня В каждой крематории устанавливают приспособление для просеивания пепла с целью отделить непрогоревшие человеческие останки.

26 июня Аэрофотосъемка Аушвица союзниками.

7 июля Бомбардировка производств в Блешхаммере, в 25 км от Аушвица.

10-11 июля Ликвидация около 4000 мужчин, женщин и детей обитателей «семейного лагеря».

11 июля Прекращение массовых депортаций из Венгрии.

20 июля Покушение на А. Гитлера. Назначение Г. Гиммлера командующим войсками резерва.

24 июля Освобождение концлагеря Люблин (Майданек) советскими войсками.

28 июля Новая дата восстания «зондеркоммандо».

29 июля Личный состав «зондеркоммандо» достигает своего максимума — 873 чел., не считая 30 чел., работавших на разгрузке дров.

1 августа Начало Варшавского восстания.

2 августа Селекция и ликвидация цыганского лагеря. Часть цыган переведена в Бухенвальд.

2 августа Убийство оберкапо Я. Каминского О. Модем.

7 августа Бомбардировка производств в Тржбине, в 20 км от Аушвица.

15 августа Прибытие транспорта из Лодзинского гетто. Среди прибывших — Э. Хиршберг с летописью событий в Лодзи.

21 августа На запрос связного Армии Крайовой о возможности взорвать крематорий и газовую камеру дан положительный ответ при условии, если будут поставлены взрывные материалы.

20 августа Бомбардировка американской авиацией завода «ИГ Фарбениндустри» в Моновице.

Август. Посещение Аушвица и крематория III Мусой Абдаллой эль Хусейни, племянником муфтия Иерусалима Хаджиамина эль Хусейни.

6 сентября Дата под «Письмом...» З. Градовского.

7—8 сентября Возможная дата восстания.

13 сентября Бомбардировка американской авиацией завода «ИГ Фарбениндустри» в Моновице. Несколько бомб случайно падают на Биркенау, в район «Мексика»; убито несколько человек, повреждена грунтовая дорога, ведущая к крематориям.

21 (22) сентября Попытка побега члена «зондеркоммандо» грека А. Эрреры.

23 сентября Внутренняя селекция «зондеркоммандо» якобы для работ в Глейвице; сокращение личного состава с 873 до 661 чел. Отобранных убивают в душевой «Канады».

2 октября Капитуляция Варшавского восстания.

5 или 6 октября От членов «зондеркоммандо», работавших на крематориях IV и V, требуют «эвакуационный» список еще на 300 чел.

7-8 октября, суббота и воскресенье Восстание на крематориях IV и II. Всего погибли 451 чел. В живых остались 212 чел. (с крематориев III и V), которых размещают на чердаке крематория III.

11–13 октября Уничтожение нескольких тысяч евреев (из Словакии, Бухенвальда, Терезина) на крематориях II и III.

12 октября Комендант Баэр объявляет в приказе № 26/44 о гибели 3-х эсэсовцев во время восстания и о награждении 5-ти других Железными крестами.

14 октября Начало работ по разрушению стен крематория IV.

20 октября Сожжение в печи для мусора крематория III части архива и картотеки лагеря.

20 октября Убийство 600 (по другим сведениям — 1000) еврейских мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет.

25 октября Начало демонтажа крематория II (в первую очередь вентиляторного оборудования).

30(31?) октября Последняя газация в крематории V (жертвы — «доходяги» из Биркенау).

3 ноября Прибытие последнего еврейского транспорта (из Серед в Словакии). Всех прибывших, без селекции, регистрируют.

6 ноября Остатки «зондеркоммандо» переведены в общий лагерь, в тот же изолированный блок 13, где они были прежде.

25 ноября Начало демонтажа крематориев II и III (вентиляторы).

26 ноября Около полудня — селекция еще 100 чел. (якобы отправлены в концлагерь Гросс Розен). Среди них — и Л. Лангфус, в этот день сделавший свою последнюю запись. Около 15 чел. спаслись, среди них — Лемко Плишко, Хенрик Таубер, Давид Ненсил и Мориц Кес-сельман. Оставшиеся 30 чел. (среди них Ф. Мюллер) работавшие на крематории V, размещены там же. На крематории V некоторое время работал и врач Миклош Нижли (см. 1.06.1944). 70 чел. возвращены в мужской лагерь, в неизолированный барак 16.

1 декабря Формирование команды по разрушению крематориев (Abbruchskommando). Кроме членов «зондеркоммандо» к работам (в частности и для ликвидации ям) привлекаются и другие

узники, в том числе 100 женщин, а с 5.12.1944 — еще 100 женщин.

Декабрь Остановка крематория V.

1945

5 января Эвакуация шести польских членов «зондеркоммандо» в Маутхаузен.

6 января Казнь четырех евреек, работавших на Union Werke и обеспечивших восставших узников порохом для гранат.

14 января Последний выход на работу команды по разрушению крематориев.

18 января Эвакуация основной части узников, среди них и около 100 членов «зондеркоммандо»; некоторым из них удается бежать.

20 января Подрыв крематориев II и III.

26 января Подрыв крематория V.

27 января Освобождение концлагерей Аушвиц и Биркенау.

3 апреля Расстрел шести польских членов «зондеркоммандо» в Маутхаузене.

Фотографии



Залман и Соня Градовские. (АРМАВ)



Залман Левенталь.(АРМАВ)



Роза Робота.(АРМАВ)



Регина Сафирштейн. (АРМАВ)



Эстер Вайсблум.(АРМАВ)



Алла Гертнер. (АРМАВ)



Еврейские женщины и дети на рампе перед крематорием III в Биркенау. (АРМАВ)



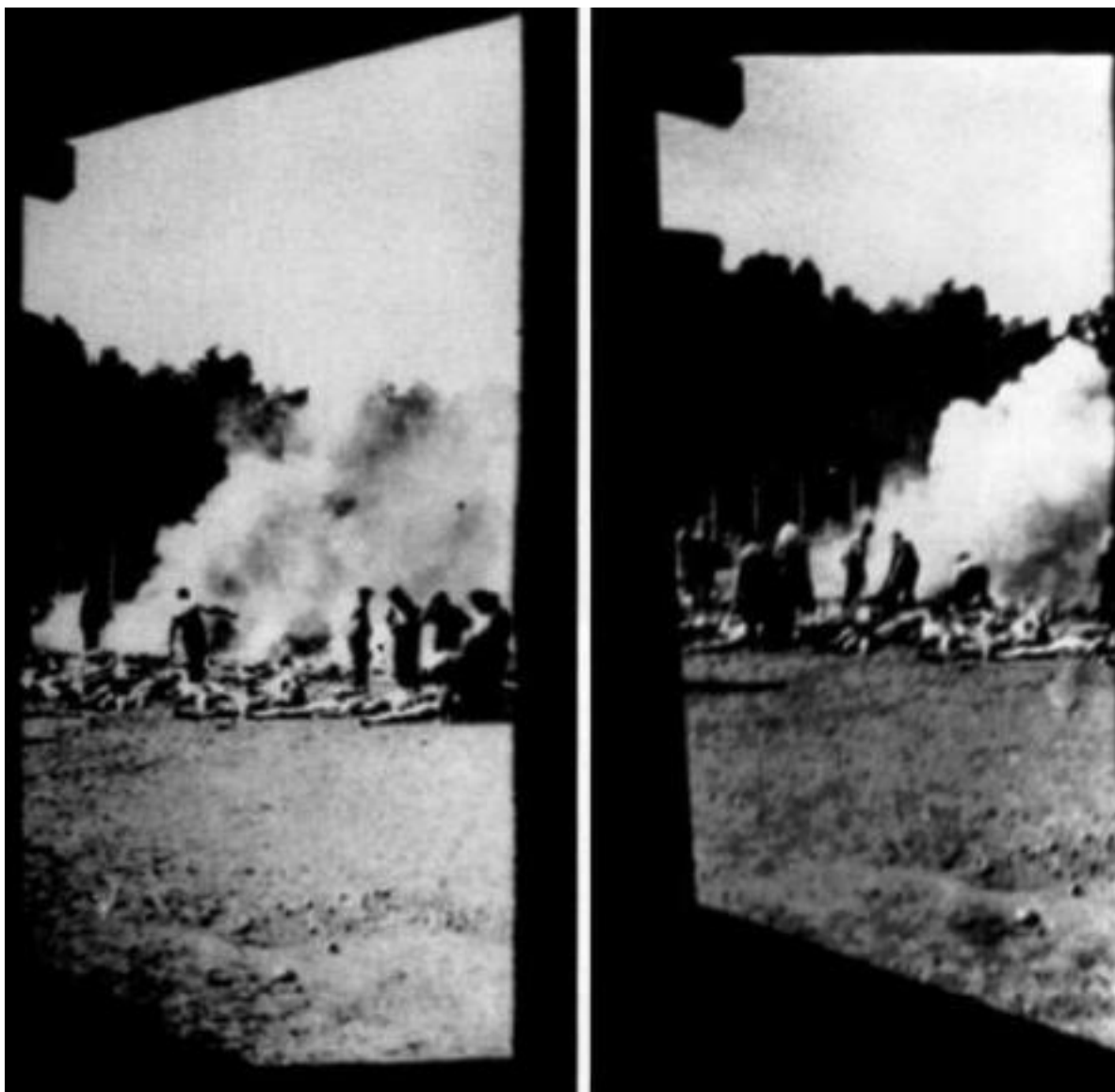
Аушвиц-Биркенау. Построение работоспособных узниц. (АР-МАВ)



Крематорий III. (АРМАВ)



Крематорий IV. (АРМАВ)



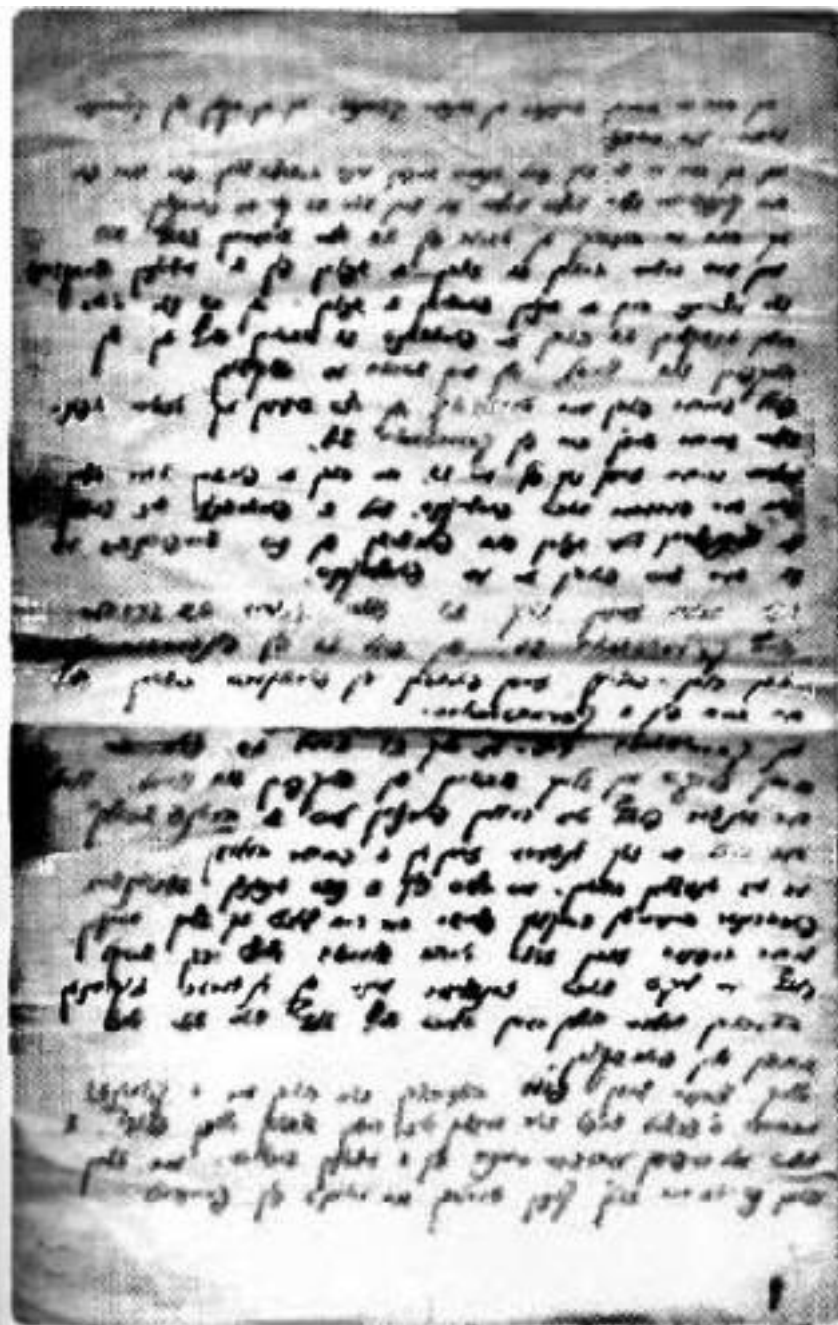
Сжигание трупов в ямах возле бункеров. Фото, сделанные членом зондеркоммандо. (АРМАВ)



Сжигание трупов в ямах возле бункеров. Фото, сделанные членом зондеркоммандо. (АРМАВ)



Фрагмент рукописи З. Градовского. (ЦВММ МО РФ)



Фрагмент рукописи З. Градовского. (ЦВММ МО РФ)



Записная книжка З. Градовского и фляга, в которой ее нашли. 1945 г. (ГАРФ)



Хаим Волнерман (архив Й. Волнермана)

Примечания

1

В настоящем издании ему соответствует «Письмо из ада».

2

Небольшой фрагмент из части «В сердцевине ада» вышел в берлинской «Еврейской газете» (2009, июнь. С. 21).

3

Подробнее об этом см. во вступительной статье П. Поляна.

4

Фонетически правильнее Залмен, но в русской традиции общепринятым является Залман. Полное имя Градовского, по сообщению Й. Эйбшица, было двойным: Хаим-Залман (Yizkor-Book Suwalk. NY, 1961. P. 369).

5

Обе книги были выпущены в Вильно в 1900 году. См.: Yofe A. Makhaze Avraham. Wilno, 1900; Yofe, E. Even Lev. Wilno, 1900. В 1962 году в Нью-Йорке вышли репринтные переиздания обеих книг, подготовленные шурином З. Градовского. См.: www.hebrewbooks.org/14761, www.hebrewbooks.org/14760.

6

И. Выгодский в предисловии к первому изданию «В сердцевине ада» на идиш, вышедшем в 1977 году в Иерусалиме, усматривал в текстах Градовского следы стилистической близости с произведениями популярного польского писателя и журналиста начала XX века Стефана Жеромского (1864–1925).

7

Д. Сфард в предисловии к первому изданию «В сердцевине ада» на идиш называет фамилию Злотеяблко (Zlotejablko), что является польской калькой с фамилии Апфельгольд. По сведениям Д. Грайфа, Соня Апфельгольд родилась в Макове-Мазовецком (Greif, 1999. P. 277–278).

8

Этимологически Лунно — слово балтского происхождения, означающее «трясина, низинная местность»; в русском языке не склоняется (в польском склоняется). В настоящее время здесь проживают около 1000 человек, среди них нет ни одного еврея. О евреях напоминают только фрагменты кладбища, в 2000-е годы приведенные в порядок американскими волонтерами, да памятный знак, установленный в начале 2006 года: «Вечная память 1459 жителям местечка Лунно, безвинно убитым в годы Великой Отечественной войны». Надпись на идиш, так что о еврейском происхождении этих жителей догадаться нетрудно, но прямого указания на это в тексте надписи, как и в старые советские времена, все же нет (См.: Новый час. Минск, 2007, № 4). См. сайт «Было когда-то местечко под названием Лунно», созданный Р. Маркус: www.shtetlinks.jewishgen.org/lunna.

9

Довид Сфард родился в 1903 или в 1905 году на Волыни. После советской аннексии Восточной Польши перебрался в Москву, где работал в кругах, близких к Коминтерну. После войны вернулся в Польшу, а в 1969 году переехал в Израиль, сотрудничал с Яд Вашем. Умер в 1981 году в Иерусалиме.

10

Помимо тех, кого убили в Аушвице, в семье Градовского погибли также: Циля, жена Д. Сфарда (вместе с сестрой Градовского Фейгеле они в начале войны находились в гетто в Отвоцке, близ Варшавы, обе погибли в Треблинке), отец Градовского Шмуэл (20 июня 1941 года он уехал в Литву повидать двух других своих

сыновей — Аврома-Эйвера и Мойше), его схватили в Вильно (где немцы были уже 24 июня), а сыновей — в Шяуляе (26 июня). Их дальнейшая судьба неизвестна, хотя и очевидна.

11

Публикации его литературных опытов не выявлены.

12

Гродно с ходу взял 8-й корпус 9-й армии и, не останавливаясь, пошел дальше. Территорию же заняла 403-я дивизия охранения тыла под командованием Вольфганга фон Дитфурта, установившая в городе полевую комендатуру № 815 (см. донесения дивизии в Военном архиве во Фрайбурге, фонд МА-RH26-403). 30 июня 1941 года Гродно посетили Гейдрих и Гиммлер.

13

В литературе встречаются и другие даты (24 и 28 июня).

14

См. свидетельство Э. Айзеншмита: www.shtetlinks.jewishgen.org/lunna

15

В это же гетто были перемещены и евреи из близлежащего местечка Вольпа, сильно пострадавшего от июньских бомбардировок (см.: Verachowicz-Kosowska E. GrodnerAplangen. 1948, № 2).

16

Кловский Даниил Давидович (1929, Гродно — 2004, Самара). Вместе с отцом он был депортирован сначала в Штутхоф, а затем в Аушвиц (№ 171819), был и в Бухенвальде. После войны сумел

поступить в Ленинградский электротехнический институт связи. Заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники и связи Куйбышевского электротехнического института связи (ныне — Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики), заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор. Автор замечательной книги «Дорога из Гродно» (Самара, 1994; англ. перевод — 2003).

17

Начиная с сентября 1942 г. амтскомиссаром города был майор Георг Штайн (сообщено И. Рабин). Кто был его предшественником, пока не уточнено. Имя же окружного гродненского комиссара — фон Плетц (Мараш Я., Плешевеня А. Гродненское гетто // Политический собеседник, 1991, № 7. С. 51–53. Сообщено Л.Смиловицким).

18

Ср.: «Безвыходность, готовность снести любое унижение и обиду, это жизнь без собственного достоинства. Ходить — только по тротуарам, только съездившись и только с желтыми звездами, нашитыми одна на груди, другая на спине. Они прожигали рубашку, они опаляли кожу как жгучие клейма, как выставленные напоказ знаки <...> позора» (Кловский, С. 26). Кловскому, например, даже стало казаться, что он стал меньше ростом.

19

См., например, Rabin D, Encyclopedia of Jewish Diaspora. Memorial Book of Counties and Communities. Vol. IX. Jerusalem, 1973. P. 521. Впрочем, Гиммлеру, посетившему вместе с Гейдрихом Гродно именно в эти дни, деятельность айнзатцкоммандо показалась преступно «пассивной» (Klein P. Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion, 1941–1942. 1997. S. 321).

20

См.: Кловский, С. 30–31; Абкович Я. № 77722, пепел Освенцима // Последние свидетели. М.: Фонд «Ковчег», 2002. С. 10–22.

21

Одной из последних его жертв стал сам Д. Бравер (по другим сведениям, Бравер совершил самоубийство).

22

Бежать из гетто было практически невозможно, но несколько побегов все же было. Если беглецов ловили, то кончалось все публичной казнью — расстрелом или повешением.

23

См.: Moll M. «Führer-Erlasse» 1939–1945. Stuttgart, 1997. S. 106.

24

Впрочем, до присоединения к Восточной Пруссии — «трогали», и еще как. Так, 9.7.1941 г. по приказу Гимmlера, посетившего в этот день Белосток, и по письменному приказу Баха-Залесского, подразделениями полиции безопасности здесь были расстреляны от 1200 до 3000 евреев-мужчин (Ogorreck R. Die Einsatzgruppen und die «Genesis der Endlösung». Berlin, 1996. S. 122–123).

25

Букв.: «Без евреев» (нем.).

26

Другое встречающееся название — Лососно (по ближайшей к лагерю железнодорожной станции).

27

Указом президента Белоруссии от 24.4.2008 г. Келбасин, как, впрочем, и железнодорожная станция Лососно, был включен в городскую черту г. Гродно (www.news.tut.by/society/107808).

28

Шталаг 324.

29

См.: Лагеря советских военнопленных в Беларуси 1941–1944. Справочник. Минск, 2004. С. 123, со ссылками на: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 86. Д. 34. Л.15–17; Д. 39. Л. 2–6; Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 845. Оп. 1. Д. 6. Л. 48–49, 54–55; Государственный архив Гродненской области. Ф. 1029. Оп. 1. Д. 75. Л. 2–33.

30

См.: Сильванович СЛ., Сильванович И.Н. Холокост в истории Лунно: Лунненская средняя школа им. Героя Советского Союза И. Шеремета, 2008, С. 8 (рукопись). По свидетельству Мордехая Цирульницкого, в тот же день в Келбасин пригнали и евреев из Острина (Цирульницкий М. Двадцать шесть месяцев в Освенциме // Черная книга. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / Сост. под редакцией В. Гроссмана и И. Эренбурга. Вильнюс, 1993. С. 452–453).

31

См. свидетельство Э. Айзеншмидта (Greif, 1999. S. 236).

32

М. Цирульницкого и других евреев из Острина, прибывших в Келбасин в тот же день, что и Градовский, посадили в предыдущий эшелон, отошедший из Лососно 2 декабря.

33

См. свидетельство Э. Айзеншмидта: Greif 1999. S. 238.

34

В конце ноября и начале декабря сюда стали поступать евреи и из самого Гродно: накануне отправки в Келбасин партию отобранных евреев обыкновенно собирали в синагоге, где и держали до утра. Оба городских гетто, по мере опустошения и опустения, ликвидировались: сначала второе (в ноябре 1942 года), а за ним и первое (в январе — марте 1943 года).

35

Помимо Кловского, об этом свидетельствует и Я.А. Гордон, сопровождавший эту необычную колонну как врач (см. ниже).

36

Широкая платформа между двумя железнодорожными путями в Аушвице, а затем и в Биркенау, на которой оказывались, выбравшись из вагонов, новоприбывшие жертвы (от франц. *gampe* — наклонная площадка между двумя разными уровнями, служащая для перемещения транспортных средств на железнодорожных платформах, на складах и т. п.).

37

Мужчины получили номера от 80764 до 80994 (Czech, 1989. S. 354). По воспоминаниям Э. Айзеншмидта, получившего первый из этих номеров, селекцию прошли 315 человек, одни мужчины, в том числе его отец и один из братьев (Greif, 1999. S. 240). Интересно, что Я.А. Гордон, получивший при регистрации № 92627,

сообщает не о трех, а о четырех селекционных шеренгах во время «обработки» эшелона, с которым он сам прибыл в Аушвиц 22.1.1943 г.: прошедшие селекцию трудоспособные мужчины и трудоспособные женщины составляли две разные шеренги (см. его показания от 17.5.1945 — АРМАВ. Dpr.Hdll. Process Hoss. F.la. S. 158–176).

38

Циклон Б (Zyklon B) — пестицид и инсектицид, разработанный немецким химиком еврейского происхождения Фрицем Хабером (1868–1934) — «отцом немецкого химического оружия» и открывателем нитроудобрений, лауреатом Нобелевской премии по химии за 1918 г. Производился фирмой «Degesch» (Deutsche Gesellschaft für Schadlingsbekämpfung mbH), отделением фирмы Degussa. Представлял собой пропитанные синильной кислотой гранулы инертного пористого носителя зеленоватого или голубоватого цвета (диатомитовая земля, прессованные опилки). При вбрасывании гранул в помещение газовых камер и при температуре не ниже 12 °С (отчего помещения газовых камер немного протапливались даже летом) происходило испарение паров синильной кислоты. Для убийства 1000 человек требовалось не больше 4 кг вещества. В Аушвице Циклон Б использовался и по первоначальному назначению — как дезинфицирующее средство против вшей.

39

По свидетельству Э. Айзеншмидта, в члены «зондеркоммандо», из числа их земляков из Лунно, кроме него и Градовского, попали также Нисан Левин, Кальман Фурман, Залман Рохлин и Берл Беккер. Общение в бараке, однако, не сводилось к принципу землячества. Вечерами велись долгие беседы втроем со Шлоймэ Де-Геллером, светловолосым адвокатом из Волковыска, и Лейбом Лангфусом, худощавым и длинным магидом из Макова. Он старался соблюдать кашрут, что было несложно: свинины не предлагали. На Пасху 1944 года они даже пекли мацу, раздобыв муку на кухне у советских военнопленных (Greif, 1999. S. 276–277).

40

Заметим, что внутрилагерный маршрут братьев Драгонов, прибывших на рампу одним днем раньше, был другим: они попали сначала в карантинный барак № 25 сектора Б, там состоялась вторая селекция, после чего братья попали в тот же блок № 2, что и Градовский.

41

38 Имеются в виду 9-й и 2-й блоки сектора Б в Биркенау. Перевод «зондеркоммандо» в блоки 11 и 13 сектора Д состоялся позднее.

42

При этом почти сразу их разделили на две, видимо, неравные порции — «зондеркоммандо 1» и «зондеркоммандо 2» — в зависимости от того, на каком из двух так называемых бункеров — 1 или 2 — им предстояло работать. В первой, куда попал и Э. Айзеншмидт, было 130–150 человек. Вместе с четырьмя евреями из города Маков и еще одним он попал в шестерку грузчиков, которые закидывали трупы на большую вагонетку и катили ее к яме, где их предстояло сжечь. Вагонеток было шесть, и на каждой умещалось от 10 до 15 трупов. Самая страшная работа в этом конвейере, — надев противогазы, извлекать трупы из газовой камеры и подтаскивать их к вагонеткам — досталась другой шестерке (см.: Greif 1999. S. 240–245).

43

См. об этом: Приложение, раздел «Жизнь и смерть в аду».

44

Об этом свидетельствуют, в частности, Фреймарк (в передаче Б. Марка) и Яков Эйбшиц (Архив Яд Вашем. М 99/944).

45

Большие ворота (польск.). Устойчиво употребляется для обозначения въездных сооружений в концлагерях.

46

«Die Arbeit macht frei!» — «Через труд на свободу!» (нем.).

47

Э. Айзеншмидт сообщает, что «зондеркоммандовцы», отвечавшие за поддержание огня, старались ночью подбрасывать побольше угля, чтобы пламя было лучше видно с самолетов (см.: Greif, 1999. S. 255).

48

См.: Wyman, David S. *Amerce and the Holocaust. The Abandonment of the Jews*, bl. 12, *Bombing Auschwitz and the Auschwitz Escapees' Report*. New York and London, 1990. P. 164165. (Documents 54, 55). Оба документа экспонируются в Мемориальном музее Холокоста в США.

49

Об индексации крематориев см. в разделе «От составителя».

50

Например, члены «зондеркоммандо» Леймс Филишка и Авром-Берл Сокол (см. их свидетельства от 31.5.1946 г. в: ZIH, Relacje 301/1868, на идиш).

51

Имеется в виду крематорий IV.

52

Greif, 1999. S. 167–168.

53

См.: Greif 1999. S. 276–279.

54

Так назывались — как узниками, так и эсэсовцами — склады для одежды узников концлагеря и «отходов производства» крематориев — золотых коронок, драгоценностей, личных вещей и даже волос убитых людей. Это название в сущности фольклорное — оно происходит от представления о Канаде как об очень богатой стране — в противоположность Мексике, как стране очень бедной и хаотичной. По другой версии, «Канада» — это искаженное Ханаан, медово-молочная земля.

55

См. интервью Я. Фреймарка (он же Станислав Годлевский; 1924 —?), земляка Градовского по Сувалкам, записанное в 1962 г. (Яд Вашем, 03/27). В «Книге памяти Сувалок» он упоминает, что Градовский вел дневник, а он снабжал его бумагой (Yzkor Book Suwalk. NY, 1961. P. 637).

56

Фреймарк, по-видимому, отозвался тем самым на заметку Б. Марка о новонайденной рукописи З. Градовского в выходившей на идиш в Варшаве газете «Фолксштиме» (в ленинградском Военно-медицинском музее находятся записки Залмана Градовского из Освенцима // *Folksztym*. Warszawa, 1962, № 68, 3 мая. С. 3). В этой заметке упоминаются книжка и письмо Градовского, найденные во время раскопок недалеко от крематория IV. Приведен и текст письма, что, в сущности, является первой публикацией не только самого письма, но и вообще первой публикацией З. Гра-

довского. Автор неподписанной заметки (вероятнее всего, им был Б. Марк) поясняет: «На первой странице записной книжки находится обращение к тому, кто найдет записную книжку, написанное на польском, русском, французском и немецком языках. Из текста на последней странице записной книжки явствует, что Залман Градовский сначала закопал книжку в одном месте, потом выкопал ее и спрятал в другом. Оказалось, что бутылка, в которой были спрятаны записная книжка и письмо, закрывалась негерметично, и в нее попала вода, поэтому часть текста оказалась уничтожена» (что объясняет хорошую сохранность письма: Градовский сложил книжку трубочкой, а письмо вчетверо, после чего вложил письмо в книжку, а книжку во фляжку — и все это уже после того, как извлек из земли другую емкость — вероятно, бутылку — с записной книжкой).

57

Есть указания и на то, что «зондеркомандовцы» прятали в пепле также и культовые принадлежности, в том числе и свитки Торы.

58

Не случайно отрицатели Холокоста, оспаривающие чуть ли не любое высказывание о нем, фактически «не замечают» свидетельств Градовского и других «зондеркомандовцев». См. об этом подробнее: Полян П. Отрицание и геополитика Холокоста // Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем. Дебаты о демографии и геополитике Холокоста / Сост. А. Кох и П. Полян. М., 2008. С. 21–102.

59

Ср.: «Если бы тогда в «зоне смерти» в Биркенау были проведены раскопки, то, вероятно, были бы обнаружены записки не только Градовского, но и другие тайные рукописи других членов «зондеркомандо». Большая часть документов, по-видимому, была безвозвратно утрачена вскоре после освобождения лагеря, когда сюда устремились бесчисленные мародеры из окрестностей, которые перерыли всю землю вокруг крематориев в поисках золота и драгоценностей, по окрестным деревням прошел слух, что

евреи перед смертью закапывали в землю ценности. Мародеры искали золото, а разные там бумаги не представляли ценности. Так что наиболее вероятным местом, куда попадали рукописи была помойка» (Zeugen, 2002. S. 309).

60

Если не считать находок мародеров — «черных археологов» в феврале 1945 г. (среди них вполне могла быть и вторая из рукописей З. Градовского).

61

См. докладную записку начальника Отдела НКВД по делам о военнопленных при начальнике тыла 4-го Украинского фронта майора госбезопасности Мочалова начальнику ГУПВИ генерал-лейтенанту Кривенко от 2.4.1945 г. о состоянии фронтальной сети по приему военнопленных за март 1945 г. (РГВА. Ф. 425 п. Оп.1. Д. 9. Л. 84–86),

62

См. доклад Мочалова Кривенко от 16.7.1945 о работе фронтальной сети по приему военнопленных 4-го Украинского фронта за апрель — июнь 1945 г. (РГВА. Ф. 425 п. Оп.1. Д. 9. Л. 184–192),

63

См. донесение начальника Отдела НКВД по делам о военнопленных Управления тыла 4-го Украинского фронта майора госбезопасности Мочалова начальнику ГУПВИ комиссару госбезопасности Ратушному от 10.6.45 г. Емкость лагеря составляла 7000 человек, его начальником был полковник интендантской службы Маслобоев (РГВА. Ф. 425 п, Оп.1. Д. 9. Л, 147).

64

См. в докладе Мочалова Кривенко от 19.7.1945 г. о работе фронтовой сети по приему военнопленных 4 УФ за 1-е полугодие 1945 г.: «Военнопленные, поступавшие после капитуляции фашистской Германии, по физическому состоянию в значительном числе не стоят того, чтобы катать их на 1000 километров в тыл СССР, так как трудовое использование их не может дать никакого эффекта. Много престарелых, подростков, инвалидов, ослабленных хроников» (РГВА. Ф. 425 п. Оп.1. Д. 9. Л. 193–204).

65

Официально музей открылся только 2.7.1946 г., когда польский парламент принял соответствующий закон.

66

Сколько всего схронов заложил Градовский в аушвицкий грунт, мы не знаем и не узнаем уже никогда.

67

Интересно, что рукописи Градовского были обнародованы в той же очередности, что и были написаны и найдены.

68

Ср. с позднейшим интервью, взятым у Ш. Драгона Г. Грайфом, историографом «зондеркоммандо»: «Залман Градовский из Гродно расспрашивал различных членов «зондеркоммандо», работавших на разных участках, и вел записи о людях, которых отравили газами и сожгли. Эти записи он закапывал возле крематория III. Я откопал эти записи сразу после освобождения и передал их советской комиссии... Комиссия забрала все материалы в Советский Союз. Я знаю, что там лежат еще и другие схроны с дневниками и рукописями погибших. Искать их надо напротив печей крематория. Точное место назвать не могу, так как после взрыва крематория местность изменилась» (Greif, 1999, S. 167),

69

По другим сведениям — военного следователя, капитана юстиции.

70

Об этом сообщается в материалах процесса против Хесса, бывшего коменданта концлагеря Аушвиц (АРМАВ, Hoss-Prozess. Bd.1 1. Bl.1 13).

71

ВММ МО РФ. № 21427. Соответствующий протокол осмотра фляги, обнаруженной при раскопке пепла в районе крематория III, составили и подписали военный следователь, капитан юстиции Попов и двое понятых — Мищенко и Штейнберг.

72

Greif. 1999. S. 167. См. об этом ниже.

73

Авдеев Михаил Иванович (1900–1977), главный судебно-медицинский эксперт СССР и начальник Центральной судебно-медицинской лаборатории Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны принимал активное участие в работе ЧГК.

74

Сообщено Валентином Петровичем Грицкевичем, одним из старейших научных сотрудников музея.

75

Кроме того, без номеров были зарегистрированы три экземпляра перевода записной книжки объемом в 16 страниц (из них 1-й экз. был отправлен в Москву), а также три катушки пленочных негативов и два 92-страничных комплекта отпечатков с этих негативов.

76

Их тексты и составляют первую и третью части настоящего издания.

77

Первоначальный схран был, вероятно, бутылочным.

78

См. подробнее «От переводчика».

79

Это, как явствует из письма В.П. Грицкевича П.М. Поляну от 26.1.2005 г., потребовало от него известной настойчивости и даже мужества.

80

Сведениями о том, состоялась ли такая публикация в этом журнале или нет, В.П. Грицкевич не обладает. Позднее, в 1990-е годы, по его словам, с документом знакомилась и Мария Яцековна Савоняка, исследовательница Холокоста из Белоруссии.

81

Б. Марк и его вдова Э. Марк всегда с благодарностью упоминали А.А. Лопатёнка «за предоставленную в 1962 г. возможность ознакомления с записками и протоколом комиссии Попова и Гераси-

мова» (см.: Zalmen Gradowski. Pamietnik / Предисловие и примечания: Bernard Mark. O pamietnike Zalmena Gradowskiego, czlonka Sonderkommando w obozie koncentracyjnym Oswiecim. Подготовка текста: Edwarda Mark // Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego. Warszawa, 1969. Nr. 71–72. P. 172–204; Ber Mark. The Scrolls of Auschwitz. Tel Aviv, 1985. P. 156–158).

82

Профессор Бернар Бер Марк (1908–1966), польский историк и публицист, в 1949–1966 гг. директор Еврейского исторического института в Варшаве. Он был едва ли не первым ученым с именем, кто всерьез заинтересовался публикацией, атрибуцией и анализом аушвицких рукописей.

83

Справка предоставлена его сыном С.А. Лопатёнком.

84

[Без подписи]. [В ленинградском Военно-медицинском музее находятся записки Залмана Градовского из Освенцима] // Folksztyme. Warszawa, 1962, № 68, 3 мая. С. 3.

85

Купюра № 1: «Эта записная книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью иногда не полностью сгоревших костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать». Купюра № 2: «Несмотря на хорошие известия, которые прорываются к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность широкой рукой уничтожить и вырвать с корнем остатки еврейского народа. Складывается впечатление, что союзные государства, победители мира, косвенно довольны нашей страшной участью. Перед нашими глазами погибают теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы дождаться свободы. Где только приближается опасность для варваров, что они должны будут уйти, там они забирают остатки еще оставшихся и привозят их в

Биркенау-Аушвиц или Штутгоф около Данцига — по сведениям от людей, которые так же оттуда прибывают к нам».

86

Mark B. *Über die Handschrift von Satmen Gradowski // Inmitten des Grauens. Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Verlaß des Staatlichen Auschwitz-Birkenau Museums*, 1996. S. 134. По его словам, та часть записной книжки, что поддается прочтению, читается легко, а сам текст написан на очень хорошем литературном идише. В то же время он отметил в стиле Градовского склонность к германизмам и определенной цветистости.

87

Установить это позволила характерная неточность в этой заметке, на которую обратила внимание И. Рабин: «Гродовский» вместо «Грановский». Точно такая же ошибка имеется и в машинописной копии русского перевода М. Карпа (в самом автографе М. Карпа написано правильно: «Градовский»), что, в свою очередь, и устанавливает «источник» Б. Марка, по состоянию на май 1962 г. Отметим, что и русский «дайджест-перевод» Миневич был выполнен в июле 1962 года и, следовательно, начат скорее всего в июне или весной. Налицо явный всплеск внимания к документу, вчистую проигнорированному советской стороной на Нюрнбергском процессе и пролежавшему безо всякого движения, изучения или иного употребления около 18 лет. Что послужило причиной или поводом для такого всплеска — неизвестно, но можно предположить, что в связи с начавшейся подготовкой первого из четырех так называемых ашвицких процессов, состоявшегося в 1963 году.

88

Единственное исключение — небольшой фрагмент об уничтожении семейного лагеря: Макарова Е., Макаров С, Неклюдова Е., Куперман В. *Крепость над бездной. Терезинские дневники. 1942–1945. Иерусалим — Москва, 2003. С. 220–221.*

89

Именно так представлял дело Иосиф Волнерман, сын Х. Волнермана (сообщено И. Рабин, беседовавшей с ним осенью 2008 г.).

90

Евреи произносили Освенцим как Ушпицин (вариант: Ушпизин), что означает «гости в Суккот». Согласно Каббале, в Суккот к евреям приходят, как в гости, души предков.

91

В сентябре 1941 г. вместе с другими освенцимскими евреями он был переселен в Сосновецкое гетто, где чудом сумел уцелеть. После войны в Освенцим вернулись еще несколько евреев, в том числе и последний председатель предвоенной еврейской общины Леон Шенкер, которого еще в ноябре 1939 г., вместе с главами других общин В. Силезии, вызывал к себе в Берлин сам А. Эйхман, заинтересованный в резком усилении еврейской эмиграции из нее. После войны Шенкер вернул себе фабрику «Агро-Химия» в Освенциме-Круке, окончательно национализированную только в мае 1949 г., и, по-видимому, целенаправленно собирал еврейские реликвии времен Аушвица (см. об этом в главе «Уничтоженный крематорий...» Приложения). Сведениями о том, насколько он в этом преуспел, мы, увы, не располагаем. В 1955 г. Л. Шенкер с женой и детьми эмигрировал из Польши в Австрию, откуда в 1961 г. переехал в Израиль. См. о нем в мемуарах его сына Генриха Шенкера: Schonker H. Ich war acht und wollte leben. Eine Kindheit in Zeiten der Shoah. Dusseldorf, 2008, а также: Szyndler F. Olan ocalenia // Karta, 2008. № 56. S. 136–139; Szarota T. Zydzi u Eichmanna // Rzech pospolita, № 9-10, 6. 2008. S. 10–11).

92

Подробнее об этом см.: «В сердцеvine ада», примечания к началу главы «Расставание».

93

Какие-либо следы таких переговоров в этом архиве не обнаружены (сообщено Париком).

94

Из этих пяти листов два находятся у сына Волнермана дома, а один лист Хаим отдал в Яд Вашем.

95

Перевод полного названия Яд Вашем — Музей Катастрофы и Героизма еврейского народа.

96

Волнерман называет людей, которые помогали ему на разных этапах: Азриэль Карлибах (редактор газеты «Маарив»), Довид Флинкер (редактор газеты «Тог-Форвертс») и Йосеф Кармиш, сотрудник Яд Вашем.

97

Он имеет сигнатуру ТМ/1793. Оригинал был предоставлен Волнерманом для микрофильмирования 9.5.1961 г.

98

Особняком стоит история их перевода на русский язык — об этом см. ниже.

99

То есть массовой ликвидации 8 марта 1944 года евреев из гетто Терезина, привезенных в Аушвиц в сентябре 1943 года.

100

Сами купюры, правда, в тексте обозначены.

101

Отмечая, что в тексте Градовского встречаются неудачные, а также трудночитаемые пассажи, она их ему, начинающему писателю, великодушно прощает: ах, ведь у него не было достаточно времени для художественной обработки! Главное для нее — это непреходящее значение текста как документального свидетельства, отсюда и ее нелепый упрек: вместо того чтобы сосредоточиться на фиксации происходящего, он, видите ли, позволял себе художественно домысливать факты, которым не был свидетелем (например, то, что происходило в бараках накануне уничтожения)! К тому же она не нашла ничего лучшего, как защищать «своих» терезинцев от «нападков» Градовского, ожидавшего, что терезинцы, поняв, что их ждет, обязательно восстанут. (Другой их «защитник» Мирослав Карный рассуждает примерно так: как могли терезинцы положиться на «зондеркоммандо», если они ничего друг о друге не знали? И почему члены «зондеркоммандо»? сами не поднимали восстание, а только ожидали, что это сделают другие.) Обо всем этом можно и размышлять, и рассуждать, но разве можно против этого «протестовать»?

102

О Я. Гордоне в Келбасине вспоминал и М. Цирульницкий, добавляя, что встретился с ним и в Аушвице, где тот входил в активисты Сопротивления (Цирульницкий М. Двадцать шесть месяцев в Освенциме // Черная книга. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / Сост. под ред. В. Гроссмана и И. Эренбурга. Вильнюс, 1993. С. 452–453).

103

Красная звезда, 1945, 8 мая. 6 июня 1945 года это «Сообщение...» было опубликовано в Москве отдельной брошюрой и в том же году переиздано еще раз — в Ульяновске.

104

См. протокол свидетельства Я. Гордона от 17–18.5.1945 г. — АР-МАВ. Process Hoss. Ria. S.158–176.

105

См. о ее переводе в предисловии «От переводчика» А. Полян.

106

Звезда (Санкт-Петербург), 2008, № 7–9.

107

Возможно, эти рефрены писались позднее текстов глав и одновременно или хотя бы незадолго до него — с «Письмом потомкам». Для проверки этой гипотезы необходим доступ к оригиналу рукописи (важно было бы проанализировать бумажные носители, чернила, почерк), но такой возможностью мы, увы, не располагали.

108

Последняя страница записной книжки обрывается на фразе «Только недавно я...» — иными словами, текст, возможно, не завершен.

109

Две последние главы разбиты автором и на внутренние главки, снабженные авторскими же названиями. Но в «Лунной ночи», не говоря о «Дороге в ад», такого членения нет. Тем не менее принцип внутренней структуризации выдержан — в данном случае составителем — и в них отдельные смысловые блоки разделены друг от друга спусками.

110

Само создание этого лагеря чаще всего объясняют необходимостью пустить пыль в глаза возможной инспекции Международного Красного Креста. Из этого контингента выжили только 23 человека, в основном близнецы, которых отобрал Менгеле.

111

Обращает на себя внимание следующий — и, вероятно, не преднамеренный — параллелизм композиции «Дороги в ад» и «В сердцевине ада»: в обоих случаях их завершающим элементом является рассказ о селекции.

112

Формально первое предисловие обособлено и играет тем самым роль предисловия ко всему тексту. Но для того, чтобы действительно им являться, оно слишком мало отличается от двух других.

113

Это имеет еще и сугубо практический смысл: автор не знал, какую из рукописей и куда он закопает, какая из них сохранится, и оттого время от времени он перемежал изложение такими «визитными карточками».

114

См. об этом ниже.

115

Такой же шок пережил и Залман Левенталь, другой член «зондеркоммандо», оставивший свои записки.

116

И действительно, около ста человек из «зондеркоммандо» уцелели. Для них эта надежда сбылась.

117

Эта бесчувственность, согласно Краузу и Кулке, имела и внешнюю форму проявления, а именно черты особой жесткости в выражении лица (Kraus, Kulka, 1991. S. 201).

118

См. «От переводчика».

119

Этим наблюдением я обязан И. Рабин.

120

Так называемая гематрия (см. выше).

121

По мнению А. Полян, переводчика текстов Градовского, — это собрание произведений разных жанров (см. «От переводчика»).

122

Как точно заметила И. Рабин, «очевидно одно — если человек был творческим, он творил в любом уголке ада» (в письме к автору от 6.1.2008 г.). При первой малейшей возможности эти обитатели ада писали стихи, рисовали картины и, как это было в Терезине, даже создавали оперы.

123

К аналогичным приемам относятся и многократные повторы вводных фраз (например, «Кто знает...»).

124

Здесь, как и в «Чешском транспорте», снова появляется дихотомия «мы» — «они», только носит она теперь внутриеврейский характер.

125

Косвенным подтверждением того, что такая встреча действительно состоялась, является рассказ Л. Лангфуса о французском раввине, прибывшем из Виттеля.

126

Впоследствии историк, сотрудник Яд Вашем, в 1960-е годы редактор издания «Известия Яд Вашем».

127

Рут Адлер (1919-?), немецкая еврейка из Дрездена, с 1935 года жила в Палестине. Начало войны застало ее у родителей в Париже: родителей и младшую сестру отправили в Аушвиц, а саму Р. Адлер интернировали и содержали в лагерях Безансон и Виттель, где она и познакомилась с И. Каценельсоном. Став частью одной из обменных акций между воюющими сторонами (гражданские лица, главным образом евреи, в обмен на немецких военнопленных), она сумела тайно вывезти и сохранить часть архива поэта.

128

Обе рукописи — и «бутылочная», и «чемоданная» — в настоящее время хранятся в Музее воинов Варшавского гетто, что в

кибуце Lochamej Hagetaot на севере Израиля.

129

Каценельсон, 2000. С. 17, 19, 21.

130

Там же. С. 17.

131

Кстати, луна есть и у Каценельсона, но это всего лишь часть небес, причем специфическая: он попросту называет ее лицемеркой и даже проституткой, выходящей ночью на панель.

132

Каценельсон, 2000. С. 111.

133

На это указывает Е.Г. Этхинд, переводчик Каценельсона, в своем предисловии к русскому изданию (Каценельсон, 2000. С. 12).

134

Эсэсовский врач И. Кремер (Kremers Tagebuch // Hefte von Auschwitz. 1971, № 13).

135

Образцом иного писательского творчества могут послужить записки другого члена «зондеркоммандо» — Залмена Левенталья, имеющие с записками Градовского много общего (восходящая к гетто экспозиция, шок от осознания того, что происходит в

Аушвице с евреями и от собственной роли в этом, и многое другое), но отличающиеся от последних своими подчеркнутыми приземленностью и фактографичностью, вплоть до упоминания — вопреки конспирации — десятков имен.

136

Эти обращения идентичного содержания на четырех европейских языках вписаны перед посвящениями, то есть на самой первой странице записной книжки. Каждая новая запись отделена от предыдущей отчерком. Обращения печатаются по: *Ber Mark Megillah Auschwitz. Tel Aviv, 1977. P. 286.* Со временем читаемость этих прочитанных Бер Марком записей, даже при обращении к оригиналу источника, существенно ослабла. Приводим фрагменты, которые в 2007 году смогла разобрать А. Полян. Польский текст целиком неразборчив. Русский (орфография сохранена): «...интересоватся с етим [докуме]нтом то он [...]вает в себя богаты матерял для историка». Французский: «de ce document[...] important». Немецкий: «[...] Dokument [...] wichtiges». Сам по себе текст является парафразом начала Письма..., написанного и законченного в землю 6 сентября 1944 года. (Здесь и далее примечания П. Поляна и А Полян.)

137

Две строки совершенно размыты и не поддаются прочтению.

138

Три строки совершенно размыты и не поддаются прочтению.

139

Аллюзия на пасхальную «агодэ».

140

Далее три строки зачеркнуты и не читаются.

141

Деревня и железнодорожная станция под Гродно (см. об этом во вступительной статье).

142

Имеются в виду нацисты.

143

Сам Градовский родился недалеко от Белостока, в Сувалках.

144

Во время описываемых событий — в декабре 1942 года — гетто в Белостоке, последнее среди всех 116 гетто так называемого дистрикта Белосток, все еще жило «нормальной» жизнью. 5 января 1943 года в гетто произвели селекцию, отделив около десяти тысяч человек, неработавших или работавших за пределами гетто: их уничтожили в Требнике. Ликвидация гетто была намечена на 16 августа 1943 года, но в этот день подпольщики подняли восстание, разгромленное только 21 августа; в результате окончательная ликвидация гетто состоялась лишь в октябре 1943 года.

145

Значительная часть варшавских евреев была депортирована и уничтожена еще летом 1942 года. К зиме 1942/1943 в живых в Варшаве оставалось не более тридцати пяти тысяч евреев.

146

В оригинале — «купе».

147

Градовский здесь имеет в виду, что поезд покидает границы предвоенной Польши, ту часть Верхней Силезии, что была присоединена к Рейху в 1939 году (в 1922–1939 г.г. она была аннексирована Польшей).

148

Имеется в виду немецкий воинский эшелон, направляющийся на Восточный фронт.

149

Градовский иронизирует над немецкими представлениями о том, что во всех несчастьях Германии, в том числе и в этой войне, виноваты евреи.

150

По всей видимости, это был город Домброва-Горничча. Следующим городом, через который, вероятно, пролегал маршрут поезда, был Сосновиц.

151

Некоторым евреям удалось из Трешлинки спастись. От них и остальные узнали правду об этой фабрике смерти. И эти слухи, несомненно, достигали не только Варшавы, но и Гродно.

152

Вероятно, один из них — еврейский старший по блоку (нем. — Вюскапевге) Серж Шавинский, французский еврей с уголовным прошлым, прибывший в Аушвиц еще 30 марта 1942 года, с первым РСХА-транспортом из Франции. Он носил красную повязку с белой надписью: «Старшина блока 13». З. Левенталь называл его «наихудшим бандитом и сутенером». Вместе с другими он был эвакуирован в 1945 году в Маутхаузен.

153

Отсеки в бараках.

154

Нары были рассчитаны по немецкой традиции, связанной с удобством счета «пятерками», на пять человек. Узники не только делили пространство нар, но и накрывались одним общим одеялом.

155

Штубовые (нем.) — ответственные за порядок в отдельных отсеках бараков, низшая ступень лагерной полиции из заключенных.

156

По-видимому, в них Градовский узнал участников селекции на рампе.

157

Команду «Подъем» били в 4.30 утра в летнее время и в 5.30 — в зимнее.

158

Аббревиатура от КаРо — Kameradschaft-Polizei. Чаще всего, но ошибочно, возводится к итальянскому саро — начальник.

159

Блокфюрером 13-го барака был унтершарфюрер СС Стефан Барецкий, в конце 1944 — начале 1945 годов ему подчинялся также

и барак 16. В 1965 году был осужден к пожизненному заключению.

160

Очевидно, что SK должно означать «зондеркоммандо». В оригинале описка: KS-Gruppe.

161

Лагерный оркестр (Lagerkapelle) состоял из узников-музыкантов. Каждый день утром и вечером, в любую погоду оркестр должен был играть марши и этим задавать заключенным темп при выходе на работу и при возвращении. Свой оркестр был у каждой крупной подразделения лагеря, в том числе и женского. Иногда музыканты выступали и перед лагерной администрацией.

162

Этот абзац написан другими чернилами.

163

Текст оборван: на этой странице более ничего нет, следующая страница, по-видимому, вырвана.

164

Имеются в виду Сувалки.

165

Йонкипер (иврит — Йом Кипур) — Судный день, осенний еврейский праздник.

166

Небольшой город под Варшавой.

167

Личность Кешковской не установлена.

168

«Мусульманами» в концлагерях назывались заключенные, дошедшие до крайней степени истощения. Как ставших непригодными к работе их после внутрилагерной селекции чаще всего уничтожали.

169

Фраза, говорящая в пользу того предположения, что этот зачин писался отдельно и позже, чем «Лунная ночь» (скорее всего, незадолго до даты намеченного восстания).

170

Мы пишем слово «луна» с прописной буквы, когда речь идет о Луне как герое произведения, со строчной — когда луна является не более чем частью пейзажа (еврейский алфавит не различает строчных и прописных букв, поэтому в оригинале это противопоставление нейтрализовано).

171

Так в тексте.

172

Имеется в виду традиционный еврейский обряд шиве: первые семь дней траура родственники усопшего должны проводить, сидя на полу или на низких скамейках.

173

Йорцайт — годовщина смерти.

174

6 сентября 1943 года из гетто Терезин (Терезиенштадт), что расположено примерно в 60 км к северо-западу от Праги, в Аушвиц вышел сдвоенный транспорт, который насчитывал 5007 (по другим данным, 5009) человек. Помимо основной группы чешских евреев в транспорт были включены 127 немецких евреев, 92 австрийских и 11 голландских. В транспорте было 256 детей до пятнадцати лет. 8 сентября 1943 года по прибытии в Аушвиц они не проходили селекцию. На следующий день после прибытия они были переведены в новый лагерный участок — ВІІb, получивший впоследствии название «семейный лагерь». Его узники представляли собой в Аушвице совершенно особую группу: они были единственные, кому было разрешено селиться семьями (все остальные, и не только евреи, разделялись по половому признаку, существовали отдельные женский и мужской лагеря), их не направляли на тяжелые работы, им разрешалось писать письма (в адресе отправителя указывался рабочий лагерь Биркенау) и получать посылки, для детей выделили особое диетическое питание, им было разрешено организовать школу. Рудольф Хёсс на процессе в 1947 году так объяснил существование этого лагеря: письма и открытки из этого лагеря должны были опровергнуть слухи об уничтожении евреев и успокоить как евреев в Терезине, так и представителей Красного Креста, с которыми они состояли в переписке. Так, 17 сентября Лео Янович (секретарь еврейского самоуправления в Терезине) пишет открытку в Женеву о том, что он с женой и группой друзей переехал в Биркенау, где строится новый лагерь. Он выразил надежду, что и здесь сможет работать, как ранее в Терезине. В ночь с 8 на 9 марта 1944 года, после того как обманный маневр удался и ровно через полгода после депортации, первых обитателей семейного лагеря уничтожили. Это событие и описывается Градовским: из 5007 человек, прибывших в Аушвиц в сентябре 1943 года, в этот день было уничтожено 3792 человека. В живых остались только несколько десятков человек — медицинский персонал больницы и 12 пар близнецов, находившихся у Менгеле (Terezinsky Rodinny Tabor v Osvetimi-Birkenau. Prague, 1994. P. 190–197; Adler H. Theresienstadt 1941–1945. Gottingen, 2005).

175

Перед началом рукописи «Чешский транспорт» в правом верхнем углу проставлены две буквы, являющиеся аббревиатурой формулы «С Божьей помощью». Религиозные люди помечают подобным образом начало любого рукописного текста, написанного еврейскими буквами.

176

Возможно, намек на подготовку восстания.

177

Пурим — весенний еврейский праздник в память о событиях Книги Эстер (Эсфирь) — о чудесном избавлении евреев от смертельной опасности, угрожавшей всему еврейскому народу.

178

Ночь с 8 на 9 марта 1944 года.

179

Девятое ава пост в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских Храмов.

180

Эшелоны из Терезина прибыли в Аушвиц в сентябре 1943 года.

181

Так в тексте. Скорее всего это описка, и здесь подразумевалось не словацкое, а чехословацкое правительство, находившееся в изгнании. Но возможно, что это и отголосок представлений о том,

что из всех стран прогитлеровской коалиции Словакия имела репутацию наименее антисемитской (в пользу чего говорило, правда, немного: например, ограничение шестью месяцами Закона от 15 мая 1942 года о депортации евреев).

182

Дополнительный аргумент в пользу того, что здесь, как и выше, подразумевалась не Словакия, а Чехословакия, где размещался и Терезиенштадт. Словакия же находилась географически чрезвычайно близко к Аушвицу, и евреи из Словакии были одними из первых, кого между февралем и октябрём 1942 года стали привозить туда на уничтожение. В то же время между октябрём 1942-го и сентябрём 1944-го депортации из Словакии не производились. Однако после подавления Словацкого национального восстания во второй половине 1944 года депортации были подвергнуты около тринадцати тысяч словацких евреев (главным образом в Аушвиц; они стали, по сути, последним массовым контингентом, нашедшим здесь свою смерть).

183

Концлагеря охранялись соединениями СС Мертвая голова, носившими темно-зеленую униформу (форма войск СС, воевавших на фронте, была черного цвета).

184

Оберштурмфюрер СС Йоханн Шварцхубер (1904–1947) как начальник мужского лагеря подчинялся непосредственно коменданту лагеря Р. Хёссу. После официального разделения концлагеря Аушвиц на три обособленных концлагеря (22 ноября 1943 года) подчинялся коменданту лагеря Аушвиц II штурмбаннфюреру СС Фритцу Хартенштайну (с мая 1944 года — гауптштурмфюреру СС Йозефу Крамеру). Именно Шварцхубер отбирал людей в «зондеркоммадо». Судим и казнен в Гамбурге в 1947 году.

185

Скорее всего — унтершарфюрер СС Иоахим Вольф, сменивший на посту оберрапортфюрера Шиллингера.

186

Правильно: обершарфюрер СС Петер Фосс (1897-?). С 1943-го и до мая 1944 года — начальник крематориев в Биркенау; он же, скорее всего, — Форст, о котором Л. Лангфус пишет, что, встречая транспорты перед крематориями или бункером, он имел обыкновение щупать и трогать за половые органы всех проходивших мимо него молодых женщин. С мая по сентябрь 1944 года начальником крематориев был гауптшарфюрер СС Отто Моль, до этого бывший начальником штрафной команды в Аушвице I, а с октября по декабрь — обершарфюрер СС Эрих Мушфельдт.

187

Личность героя неизвестна.

188

Имеется в виду транспорт из 1800 человек, прибывший в Аушвиц 23 октября 1943 года из Берген-Бельзена. Большинство находившихся в нем евреев (в основном из Варшавы) являлись счастливыми обладателями купленных ими за большие деньги паспортов или виз Гондураса и других латиноамериканских стран. Они искренне верили словам СС, что их везут в мифический транзитный лагерь Бергау около Дрездена, а оттуда в Швейцарию для последующей отправки в Гондурас. На самом деле планы СС обменять этих людей на захваченных английскими или американскими войсками немецких военнопленных не оправдались или сорвались, в результате чего сами эти люди потеряли для СС всякий интерес (Wfenck A. Zwischen Menschenhandel und Endlosung. Paderborn, 1997. S. 152–153). По прибытии в Биркенау (ассонанс с Бергау), на рампе, перед ними выступили представители администрации лагеря Бергау и Министерства иностранных дел (их роли успешно «сыграли» эсэсовцы Шварцхубер и Хесслер), после чего женщин и мужчин разъединили и отвели в раздевалки, соответственно, крематориев II и III для «принятия душа». Отчаянное сопротивление СС оказали не только женщины, но и мужчины из этого транспорта. Они пере-

резали электричество и в темноте убили одного и разоружили нескольких других эсэсовцев. С большим трудом подавив сопротивление, эсэсовцы выводили каждого из восставших по одному наверх и расстреливали у стены крематория. В подавлении этого бунта принял личное участие комендант концлагеря Хёсс (См.: Czech, 1989. S. 637–638; Langbein, 1979. S. 295; Muller, 1979. S. 137–141).

189

Обершарфюрер СС Вальтер Квакернак (1907–1946) — начальник службы регистрации концлагеря, перед этим начальник крематория I в Аушвице. Расстрелян англичанами 11 октября 1946 года.

190

Как установил Килиан, героиней могла быть одна из двух танцовщиц, находившихся в транспорте, — Лола Горовиц или Франциска Манн (см. на сайте А. Килиана SOKOS: www-sonderkommando-studien.de: Kilian A. Der Sonderkommando-Aufstand in Auschwitz-Birkenau. Neue Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zu Vorgeschichte. Ablauf und folgendes legendarsten Haftlings-Aufstands im KL Auschwitz-Birkenau. Marz 1943-November 1944). Раненный ею Йозеф Шиллингер умер по дороге в госпиталь в Катовице, второй раненный ею эсэсовец — Вильгельм Эммерих — выжил. Этот же транспорт оказал и еще более мощное сопротивление.

191

Здесь и далее у Градовского нумерация эсэсовская, без учета крематория в Аушвице I. Имеются в виду крематории II и III.

192

Имелся в виду лагерь Heydebreck.

193

За несколько дней до уничтожения семейного лагеря его узникам были розданы почтовые карточки, которые они должны были пометить более поздней датой. Эти карточки, посланные друзьям и родственникам, должны были убедить получателей в том, что их отправители живы.

194

На самом деле — до 25 марта (Gradowski S. In harts fun Genem In the Heart of the Hell//Theresienstadter Studien und Dokumente. Prag, 1999. S. 140).

195

Так в тексте. Учитывая специфику ситуации, можно предположить, что под свободой здесь подразумевается та относительная свобода, которой пользовались выходцы из Терезина, находясь в семейном лагере в Аушвице.

196

Аман — визирь персидского царя, вознамерившийся уничтожить всех евреев в Персии. Благодаря царице Эстер, еврейке по происхождению, планы Амана были расстроены. В память об этих событиях, описанных в библейской Книге Эстер (Эсфирь), евреи отмечают весенний праздник Пурим. В еврейской традиции принято сопоставлять с Аманом гонителем евреев. Градовский сравнивает с Аманом Гитлера.

197

Так в тексте.

198

Оберштурмбаннфюрерин СС Мария Мандель (1912–1948), с 7 октября 1942 года по ноябрь 1944-го начальница женского лагеря в Аушвице, где ее прозвали «бестией». Американский трибунал

приговорил ее к смертной казни.

199

Лейб Лангфус описывает аналогичный случай, произошедший в конце 1943 года, когда вместе с евреями из Голландии была уничтожена большая группа поляков-подпольщиков. Поляки перед смертью вели себя героически — выкрикивали проклятья Германии и здравицы Польше и спели польский гимн (*Eszcze Polska nie sginela*). Евреи же спели А-тикву (см. ниже), а затем, вместе с поляками, Интернационал. Судя по тому, что З. Левенталь приводит точное число поляков (164), и по ряду других подробностей он сам присутствовал при этом случае (см.: *Hefte von Auschwitz*. 1972. S. 119–121). З. Градовский сообщает о последовательном исполнении Интернационала, А-тиквы, чешского гимна, а также песни польских партизан.

200

А-тиква, или, более привычно, Хатиква (древнеевр. — надежда), — еврейская песня. Первоначальный текст из девяти строф написан Нафтуле Герцем Имбсром (1856–1909) из Злочева (Галиция) в 1878 году, опубликована в его первом сборнике Баркав. Мелодия восходит к итальянской песне XVII века Ла Мантована, впоследствии подхваченной в целом ряде народных песен на различных европейских языках, в том числе на идиш (вдохновлялся ею и чешский композитор Бедржих Сметана). Автор аранжировки А-тиквы композитор Шмуэл Коэн (1888). С этого времени песня стала неофициальным, а с 1897 года официальным гимном сионистского движения. С 1948 года неофициальный, а с 2004-го официальный гимн Государства Израиль (только первый куплет вместе с припевом).

201

Здесь, по-видимому, реминисценция из немецких антисемитских прокламаций: имеются в виду планы нацистов организовать после войны музей уничтоженного ими еврейского народа.

202

Чешским гимном стала песня *Kde domov můj?* (Где дом мой?) композитора Франтишека ШкROUPа на слова драматурга Йозефа Каетана Тыла из музыкальной комедии *Фидловачка*, премьера которой состоялась 21 декабря 1834 года. Пьеса оказалась непопулярной, и ее сняли с репертуара, а с ней и песню. Вторично пьеса была открыта только в 1877 году и вновь поставлена в 1917 году, в конце Первой мировой войны. В новом историческом контексте песня стала необычайно популярной, и уже в 1920 году она становится официальным гимном созданной в 1918 году Чехословацкой Республики. Об исполнении чешского гимна сообщает также бывший член «зондеркоммандо» Филипп Мюллер (Muller, 1979. S. 174–175).

203

Имеется в виду Петер Фосс (см. выше).

204

Имеется в виду крематорий II.

205

Так в тексте. Что тут имеется в виду, неясно: собственно технология кремации не предусматривала никакого обмывания водой. Однако, согласно свидетельству Я. Габая, работавшего на крематории III, прежде чем бросить в печь, трупы обдавали сильной струей воды из шланга. На крематориях II и III водой из шланга обильно поливали и цементный пол — для удобства при перетаскивании трупов от лифта к печам. Это немецкое указание преследовало цель не допускать попадания в печь сгустков крови (Greif, 1999. S. 208). Время от времени водой из ведер остужались и раскаленные металлические носилки, на которых трупы подавались к жерлам печей. Иногда трупы припекались к носилкам, и в этом случае их тоже обдавали водой.

206

Имеются в виду два 15-муфельных крематория (II и III).

207

Сейчас Шяуляй.

208

Как заметил еще Х. Волнерман в своем предисловии к изданию 1977 года, таким образом Градовский зашифровал свои имя и фамилию. Согласно традиции, каждая буква еврейского алфавита имеет свое числовое значение, поэтому распространен способ записи чисел буквами (он до сих пор используется при обозначении дат по религиозному календарю, при нумерации страниц религиозных книг и в эпитафиях). Кроме того, распространена техника подсчета числового значения того или иного слова (гематрия). Градовский указывает гематрию своих имени и фамилии: выписывает числовые значения букв, их составляющих. Две цифры 6, написанные через запятую, обозначают диграф, состоящий из двух букв «вов» (числовое значение этой буквы — 6) и читающийся как [в].

209

Еврейские капо.

210

Не идентифицирован.

211

Й. Шварцхубер (см. выше).

212

Главы (совр. иврит — прахим).

213

Мишна — произведение раввинистической литературы, самая ранняя часть Талмуда (окончательное составление Мишны приписывается рабби Йегуде га-Наси, традиционно датируется 220 годом н. э.).

214

Подборки священных текстов, которые читаются каждый день во время молитвы.

215

Шулхн-Орэх (совр. иврит — Шульхан Арух) — свод еврейских законов, составленный в XVI веке рабби Йосефом Каро.

216

Цифры Градовским округлены: если сложить количество отобранных на уничтожение членов «зондеркоммандо» (250) с количеством оставшихся (191), получится 441. В действительности селекции 24 февраля 1944 года и последующей ликвидации в Майданеке было подвергнуто не 250, а 200 человек.

217

Тфилн (совр. иврит — тфилин) и талес (совр. иврит — талит) — еврейские молитвенные принадлежности. Талес — большое покрывало, которым мужчины укрываются во время молитвы (белое с синими или черными полосами), тфилн — две коробочки, в которых находится небольшой фрагмент свитка Торы, с ремешками; во время молитвы они повязываются на лоб и на левую руку.

218

Имеется в виду Отто Моль.

219

Миньен (совр. иврит — миньян) — собрание десяти взрослых мужчин, которое необходимо для чтения многих молитв. Ежедневная трехразовая молитва является индивидуальной и миньена не требует.

220

То есть при встрече субботы.

221

Иеремия, 30:16: «И опустошители твои будут опустошены!» (синодальный перевод).

222

Шолом-Алейхем — часть субботней литургии, средневековый пиют (произведение литургической поэзии), который традиционно поется при встрече субботы.

223

Имеются в виду костровища около бункера-газовни № 2.

224

По-видимому, Градовский выкопал и 6 сентября 1944 года заново захоронил свою записную книжку, добавив к ней это письмо.

225

Ныне Штутово в Польше, недалеко от Гданьска (б. Данцига). Открыт 2 сентября 1939 года как лагерь для гражданских интернированных лиц, с 13 января (марта?) 1942 года — концентраци-

онный лагерь. Через него прошло около 115 тысяч заключенных.

226

Различались следующие разновидности: «Erziehungshaftling» («заключенный в порядке перевоспитания») — это узник, помещаемый в концлагерь на фиксированное время, и «VVer», или «Befristete Vorbeugungshaftling», («узник в порядке профилактики»; позднее: «Berufsverbrecher» — «нарушитель профессии»). Кроме того, юридически выделялись также «Polizeihaftlinge» («полицейские заключенные») — узники, формально находившиеся во власти полиции, а не СС. Так, в Аушвице-1 такие узники содержались в печально известном бункере, или 11-м блоке, но формально находились под юрисдикцией Катовицкого гестапо, полицейский суд при котором выносил приговоры, исполнявшиеся тут же, в расстрельном дворе бункера.

227

Из свидетельства Иды Мессер от 2.5.1945 (ЗИН. Relacja 301/287/2).

228

Обозначение «зондеркоммандо» встречается в материалах процесса около 30 раз, но главным образом имеются в виду «зондеркоммандо» СД, занимавшиеся убийствами и узаконенным разбоем в тылу вермахта. «Зондеркоммандо» в том значении, как оно сложилось в Аушвице-Биркенау, упоминается всего несколько раз: впервые — как «газкоммандо» — на утреннем заседании 28.1.1946 г. Marie-Claude Vaillant-Couturier рассказала о блоке 25 как о преддверии смерти, о разворачивавшихся перед ее глазами (сама она — обитательница барака 26 в женском лагере) селекциях на рампе и о самих газациях довольно точно. 8.2.1946 г. вопроса о «зондеркоммандо» вскользь коснулся Руденко, главный обвинитель от СССР. Упоминались они и в цитате из обращения Комитета бывших узников Аушвица.

229

Красные масляные «лампасы», согласно Э. Айзеншмидту, полагось иметь также на брюках и верхней одежде (Greif, 1999. S. 261–262).

230

В ранге ефрейторов медицинской службы (Sanitatsdienstgefreiter), согласно М. Нижли (Nyiszli, 1960. P. 50).

231

Именно в этом качестве участвовал в «зондеракциях» и доктор И. Кремер, автор «знаменитого» эсэсовского дневника.

232

На крематориях II и III с их подземными газовнями отверстия располагались фактически под ногами газаторов, в крыше, а на крематориях IV и V — в верхней части стен газовых камер, и газаторам, для того, чтобы сделать свое дело, даже приходилось приставлять к стене небольшую лесенку.

233

Именно такими нередко были партии «доходяг», регулярно образывавшиеся в результате неустанных внутренних селекций в лагере.

234

Nyiszli, 1961. P. 87–88, 126. Удерживание за уши, как свидетельствует Ш. Венеция, диктовалось следующей технологией: от тех, кто держал жертвы за уши, требовалось сразу же вслед за выстрелом резко наклонять голову к земле — чтобы кровь не фонтанировала и не запачкала сапоги и одежду убийц (Venezia, 2008. S. 119–123).

235

Об этом прямо пишет Ш. Венеция (Venezia, 2008. S.123).

236

На прогорание трех трупов в одном муфеле (или 18 трупов при наличии 6 печей) уходило, согласно Ф. Мюллеру, 20 минут.

237

Надо полагать, что под «пиететом» имелась в виду банальная сегрегация персонального пепла для выдачи родственникам.

238

См. это письмо в каталоге выставки «Технологи «окончательного решения»: Torf Mnd Sohne — строители печей в Аушвице» (Бухенвальд, 2005).

239

При этом детские трупы можно было добавлять по ситуации, но укладывать их надо было так, чтобы они не проваливались сразу вниз.

240

Эта сокровищница получила в лагере неформальное, но весьма прижившееся обозначение — «Канада», восходящее к представлению о Канаде как о необычайно богатой стране, где буквально все есть. Этим обозначением в разговорах пользовались даже эсэсовцы.

241

А они здесь очень высоки.

242

Опасений в исходе войны, а стало быть и потребности в уничтожении следов еще не возникало.

243

По свидетельству Хёсса — на 107 тысяч человек.

244

Muller, 1979. S. 207–209.

245

Капо был и М. Митек, так что Мюллер пишет о своеобразном двоевластии в команде.

246

Pezzetti, Marcello. Die Shoah, Auschwitz und das Sonderkommando // Venezia, 2008. S. 252.

247

См. свидетельство Станислава Янковского (Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1).

248

10 Его лагерный номер очень ранний — 27675. Снятие его показаний состоялось 16.4.1945 г. в окружном суде в Кракове.

249

В Аушвице 1.

250

В том числе однажды и обезглавленный труп бургомистра г. Аушвица Юлиуса Грюнвелера.

251

Он был одним из свидетелей на Нюрнбергском процессе (см.: Muller, 1979).

252

Muller, 1979. S. 30.

253

К нему впоследствии присоединили и первый состав.

254

По другим сведениям — 400 (Olexy K. Salmen Gradowski — ein Zeuge aus dem Sonderkommando // Theresienstadter Studien und Dokumente. 1995. Prag, 1999. S. 122). В то же время Й. Гарлинский, не давая никаких ссылок, утверждает, что 80 человек из первого состава «зондеркоммандо» были газованы в августе 1942 года (GarlinskiJ. Fighting Auschwitz. The resistance movement in the concentration camp. London, 1975. P. 245).

255

Формальным поводом послужила записка о том, что они готовили побег, но их, согласно Ф. Мюллеру, выдал штубовый, Б. Баум

пишет про 160 человек, которых якобы перевели для организации «зондеркоммандо» в концлагере Гросс-Розен, а на самом деле удушили газами в некоей камере недалеко от лагеря (Baum, 1962. S. 5—76).

256

Report of Rudolf Vrba and Alfred Wetzler // London has been informed... Reports by Auschwitz escapees. Oswiecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 2002. P. 213. Они же сообщают довольно позднюю дату селекции (17 декабря), не вполне согласующуюся с другими данными.

257

Их польские «коллеги» — капо Морава, а также Ильчук и Липка жили в бараке для знаменитостей (блок 2).

258

По словам Ш. Драгона, около 200 греческих и около 500 венгерских евреев (Greif, 1999. S. 169). Сами цифры относятся скорее к 1944 году, но и в этом случае преувеличены.

259

Muller, 1979. S. 104.

260

Venezia, 2008. S.127–128.

261

Об этом пишет А. Габай.

262

Muller, 1979. S. 88–89.

263

Неоднократно сообщалось, что Каминский был из Цеханува. Свидетельство Я. Гордона решительно этому противоречит. Это снимает подозрения в отождествлении Каминского с «капо из Цеханува», подвергавшего ужасным издевательствам Э. Айзеншмидта (Greif 1999. S. 269).

264

Он прибыл из Компьена еще в мае 1942 года. М.Надьяри характеризует его как человека крупного, всегда свежесбритого и ироничного (NATZAPPH M. HPOHKO. 1941–1945. IAPYMA ETI AXATM. ФЕНАЛОМКН, 1991. P. 41–42).

265

Д. Обстбаум был старый лагерник (с номером приблизительно 38000). Польский еврей и коммунист, перебравшийся во Францию и служивший там в Иностранном легионе, очень сентиментальный человек. Он покровительствовал Э. Айзеншмидту из-за его бейтарского прошлого (Greif, 1999. S. 268–269)

266

Некоторые из новичков были облачены в одежду погибших. По некоторым сведениям, «зондеркомандовцы» из Биркенау перед смертью оказали яростное сопротивление. Состав и задачи «зондеркомандо» в Майданеке, кстати, существенно отличались от аушвицких: до половины их численности составляли советские военнопленные, среди капо преобладали немцы — Хофман, тот же Конвоент. В задачи «зондеркомандо» в Майданеке входило и прямое соучастие в убийстве жертв.

267

Muller, 1979. S. 143. Один из пяти немецких евреев был некий Цанлер из Берлина, тесть одного из эсэсовцев.

268

Nyiszly, 1961. P. 77.

269

Там работал Э. Айзеншмидт — сначала грузчиком, а позднее — электриком.

270

М. Нижли — вероятно, ошибочно — полагал, что эти 30 человек — совершенно новый состав «зондеркоммандо».

271

Э. Айзеншмидт вспоминает о двоих (Greif. 1999. S. 284–286), а Нижли указывает на то, что их было четверо.

272

Muller, 1979. S. 276–277.

273

Параллельную селекцию вел еще Менгеле или кто-то из его заместителей: они отбирали «материал» — и прежде всего близнецов — для своих экспериментов.

274

В случае с теми, кто влился в «зондеркоммандо» в декабре 1942 г., (З. Градовский, братья Драгон и др.), карантина не было.

275

На участке между локтем и запястьем, ближе к локтю, а то и вовсе около сгиба левой руки. Номер писался в направлении от запястья к локтю.

276

При наборе в феврале 1943 года их даже обучали «ремеслу», причем 10 обучающихся по ходу обучения просто-напросто умерли, точнее, погибли от рук учителей.

277

Greif, 1999. S. 109–188.

278

По слухам, они разработали план восстания, но их предали. После этого вся «зондеркоммандо» была ликвидирована. Именно поэтому, возможно, новую «зондеркоммандо» сколачивали так спешно, без карантина.

279

Greif, 1999. S. 329–361 и 59-108.

280

Сам он полагал, что в конце ноября 1943 г.

281

Greif, 1999. S. 349–351. Золото затем очищалось и переплавлялось в небольшие слитки. Часть золота пряталась для внутрилагерной торговли с эсэсовцами (те взамен предлагали еду, алкоголь и одежду).

282

Форарбайтерами были Л.Р. (очевидно, Лемке Плешке) и В.М. (Милтон Буки?), с удовольствием избивавшие других членов «зондеркоммандо» (Greif, 1999. S. 88).

283

Greif, 1999. S. 101.

284

Greif, 1999. S. 60.

285

Greif, 1999. S. 189–232.

286

Kraus O., Kulka E., 1991.S. 202.

287

Greif, 1999. S. 198.

288

ZIH. Relacje 301/1868.

289

Greif 1999. S. 257.

290

Nyiszli, 1961. P. 108–109. М. Нижли(1901–1956), лагерный номер А-8450. Д. Чех, в противоречии с книгой самого Нижли, утверждает, что сначала он работал врачом в Моновице, откуда примерно через месяц был выписан Й. Менгеле для работы в лаборатории крематория III (Czech. 1989. S. 788).

291

Лагерный № 80810.

292

Ср. почти аналогичный рассказ Ф. Мюллера или рассказ Эли Визеля о его друге Беле Каце, попавшем в члены «зондеркоммандо» и вынужденном «обслужить» собственного отца.

293

Несомненно, что все такие случаи были результатом жесткого шока от самого первого соприкосновения с чудовищной сущностью работы, отныне предстоявшей новобранцам.

294

Впрочем, этот последний рассказ едва ли правдоподобен. Для того, чтобы решиться все запомнить и рассказать, вовсе не надо, чтобы кто-то тебя упрасивал об этом, тем более жертвы: ощути в себе дух летописца, отыщи, чем и куда писать — и пиши! И еще думай, как все написанное спрятать и сберечь.

295

Bowman S.B. The Greeks in Auschwitz // Fromer R. The Holocaust Odyssey of Daniel Bennaiah, Sonderkommando / Introduction Stewen B. Bowman. Tuscaloosa and London, University of Alabama Press, 1993. P.XVIII. Ссылка на «Календариум» Д. Чех, согласно которому из транспорта с греческими евреями, прибывшего 20.6.1944, селекцию прошли 436 мужчин и 131 женщина, еще не является подтверждением этой легенды. Такой потрясающий случай, если бы он действительно произошел, был бы непременно отмечен другими уцелевшими узниками, хотя бы из числа самих греков.

296

По всей видимости, М. Личи.

297

NATZARHM. HRONIKO. 1941–1945. IO”PYMAETOJAXATM. ФЕОЈОЈА-О»ООЌО™КН, 1991. P. 66. (На англ. яз. рукопись, размноженная на гектографе, P. 46).

298

Кстати, Лейб Лангфус пишет о том, как однажды член «зондеркомmando» предупредил жертв о том, что им предстоит. Те его тут же заложили, после чего на глазах у других членов «зондеркомmando» его самого бросили в печь живьем (возможно, что тут имеются в виду обезумевшая женщина из белостокского транспорта и Ицхак Деренский, которого живым бросили в печь). За то же и так же погиб и Лео Штайн из Табора (Muller, 1979. S. 119, 127). В то же время Й. Гарлинский сообщает (как водится, без указания источников) об инциденте, якобы имевшем место в 1942 г.: предупрежденный членами «зондеркомmando» транспорт с 1500 польскими евреями оказал отчаянное сопротивление немцам, причем к ним присоединились и 40 членов «комmando» (Garlinski J. Fighting Auschwitz. The resistance movement in the concentration camp. London, 1975. P. 246).

299

Но иногда они делали и это. Так, Градовский приводит имя Кешковской — женщины из Виленского гетто, рассказавшей ему о судьбе его отца.

300

Иногда они подкармливали и членов собственных семей, если те находились в Биркенау, а также подкупали эсэсовцев.

301

Еще менее сакрализированными были еврейские трупы для членов СС. После объявления и осознания государственной установки на физическое уничтожение евреев, все евреи — в том числе живые — для них стали как бы трупами. Тем более трупами, покойниками были для СС и сами члены «зондеркоммандо».

302

Langbein H. Sonderkommando // Langbein H. Menschen in Auschwitz. Wien, Munchen: Europaverlag, 1995. S.288.

303

А гророс: «грязные» члены «зондеркоммандо» — единственные во всем лагере узники, в чьем распоряжении в любое время имелся горячий душ.

304

См.: Report of Rudolf Vrba and Alfred Wetzler // London has been informed. Reports by Auschwitz escapees. Oswiecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 2002. P. 214. Однако из предыдущего изложения выясняется, что, несмотря на все ужасы, общение, и довольно тесное, имело место быть (у Ветцлера в «зондеркомман-

до», судя по всему, работал брат): через «зондеров» в лагерь попадали продукты, одежда, медикаменты и даже валюта, найденная у убитых.

305

Langbein H. Sonderkommando // Langbein H. Menschen in Auschwitz. Wien, Munchen: Europaverlag, 1995. S. 285. Поскольку общие больницы и лазарет были для «зондеркоммандо» недоступны, у них в 13-м бараке был своего рода медпункт, где, видимо, и работал Бендель. Решительно непонятно, почему его собственная роль в этом дьявольском конвейере казалась ему чем-то лучше или чище других? То же относится и к Врбе и Ветцлеру, до побега бывших на самом лучшем счету не где-нибудь, а в политическом отделе всего Аушвица-Биркенау!

306

Nyiszli, 1961. P. 70–71. Кстати, сам Миклош Нижли — подобный интереснейший случай. В силу своего амплуа — ассистента Й. Менгеле — он был привилегированной фигурой даже на фоне «зондеркоммандо» (не только своя постель, но и своя комната и т. д.). Бруно Беттельгейм, американский психолог, в своем предисловии к книге М. Нижли попробовал было противопоставить коллаборантскому поведению Нижли поведение врача-психотерапевта Виктора Франкля, не помогавшего СС в его штудиях. Это верно, как верно и то, что и Франкль от этого вовсе не отказывался: просто никто ему этого не предлагал. Самого Беттельгейма больше волнует не Нижли, а коллективное поведение евреев: почему, несмотря ни на что, они продолжали свои обычные гешефты (business as usual), почему, как лемминги, они покорно и молча шли в крематории, почему они бездействовали? Но, приводя в качестве примера «правильного действия» своевременную эмиграцию, он даже не задается вопросом, а почему это люди, столетиями жившие, скажем, в Вене или Берлине и корнями в них вросшие, должны были все бросить, взять и уехать?!

307

Greif, 1999. S. 346–347.

308

Greif, 1999. S. 221–222.

309

И тут необходимо подчеркнуть роль Э. Кулки, Г. Грайфа и А. Килиана, разыскивавших бывших членов «зондеркоммандо» по всему свету и бравших у них интервью.

310

Greif, 1999. S. 221.

311

Hefte von Auschwitz, Sonderheft 1.S. 125.

312

Выражение М.Надьяри.

313

Steiner J.-F. Treblinka. Die Revolte eines Vernichtungslager. Hamburg: Gerhard Stalling Verlag, 1966. S. 123–124.

314

Greif, 1998. S. 1027.

315

Greif, 1998. S. 1023.

316

Здесь, несомненно, имеется в виду СС.

317

[Хаузнер Г.] 6 000 000 обвиняют. Речь израильского генерального прокурора на процессе Эйхмана. [Иерусалим] Библиотека Алия, 1989. С. 31.

318

Например, Роберт Пендорф: «Несомненно, что без сотрудничества с жертвами едва ли было бы возможно для нескольких тысяч человек, большинство из которых, мало того, трудилась в канцеляриях, ликвидировать сотни тысяч других людей... Эти евреи соучаствовали в процессе убийства, с тем чтобы спасти себя от угрозы немедленной смерти» (PendoifR. Marder und Ermordete, 1961. S. 111).

319

Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. С. 147. Ср.: «Хорошо известный факт, что как таковой труд палачей в центрах уничтожения обычно находился в руках еврейских команд, был четко и прямо сформулирован в показаниях свидетелей обвинения — как они работали в газовых камерах и крематориях, как они вырывали золотые зубы и срезали с тел волосы, как они закапывали ямы с телами жертв, а потом снова их раскапывали, чтобы уничтожить следы; как еврейские инженеры строили газовые камеры в Терезиенштадте, где была основана такая еврейская автономия, что даже палач был евреем. Но все это было только ужасно, это еще не было моральной проблемой. Селекция и классификация рабочих в лагере осуществлялась СС...» (Р. 123).

320

См.: Полян П.М. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста в СССР // Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Воспоминания и документы, М., Новое издательство, 2006. С. 9–70.

321

Ту же игру и с тем же результатом вел и Якоб Гене в Вильне. Но если кто и уцелел, то не в гетто, а в партизанских лесах или в рабочих командах, куда их депортировали и где их не успели уничтожить.

322

В Берлине задокументировано 6 таких «грайферов», самые известные среди них — семейная пара Рольф Изаксон и Стэлла Гольдшлаг. Практиковалось ли что-нибудь подобное в других столицах — неизвестно (нам сообщено И. Рабин).

323

А в имеющихся интервью бросается в глаза установка не столько на самооправдание, сколько на самооборону от возможных нападок.

324

Байки вокруг «зондеркоммандо» формировались постоянно: так, лагерный врач Х. Фишер «вспоминал» о попойке «зондеркоммандо» с начальником крематориев эсэсовцем Модем, после которой Модем якобы высыпал перед ними баночку Циклона Б.

325

[Hoss, Rudolf]. Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Hoss. Munchen, 1958. S. 195.

326

Levi, Primo. S. 50, 52.

327

Levi, Primo. Die Untergegangenen und die Geretteten. Munchen, 1993. S. 52f.

328

Nyiszli, 1960. P. 68.

329

Сюда же Леви относит и то, что эсэсовец Горгес передал «зонде-ру» Мюллеру хлеб в Маутхаузене — вместо того, чтобы выдать Мюллера местным палачам (Muller, 1979. S. 276–277). Учитывая время и место события, думаю все же, что это гораздо более сложный случай.

330

Nyiszli, 1960. P. 79–83.

331

Zurcher R., 2004. S. 244. Над ее рабочим столом была приколата бумажка с цитатой из ментора, вынесенной ею в эпиграф к книге: «Это совсем не легко и не приятно прощупывать дно низости, но я тем не менее нахожу, что это необходимо делать...» (S. 11).

332

Zurcher R., 2004. S. 216–219.

333

Случай с эсэсовцем Пестиком (см. о нем далее) ей, видимо, не был знаком.

334

Вот аргументация уцелевшего члена «зондеркоммандо» Ш. Венеция: «Некоторые полагали, что мы ответственны за то, что происходило на крематориях. Но это же абсолютно неверно. Только немцы убивали. Мы же были насильно принуждены к пособничеству, тогда как под коллаборантами понимаются добровольцы. Важно подчеркнуть, что у нас не было выбора. Каждый, кто отказался бы, тут же получил бы выстрел в затылок. А для немцев это не составило бы проблемы: убив десяток из нас, они тут же набрали бы 50 новых. Для нас весь вопрос был в том, чтобы выжить, и другого выхода у нас просто не было. Ни у кого из нас. Кроме того, и мозг наш уже не был нормальным, мы не были в состоянии много размышлять о том, что произошло... Мы стали автоматами» (Venezia, 2008. S. 151–152).

335

Особенно котировались врачи и, если верить Мюллеру, зажигальщики, к которым принадлежал и он — член «зондеркоммандо» фактически с момента ее основания.

336

В высшей степени недобросовестны попытки приуменьшить значение восстания утверждениями типа: да это они же «спасали свои шкуры», да они же хотели «всего лишь» убежать — как будто другие восстания имели своей целью взятие Берлина! Примером такой попытки является статья Тадеуша Ивашко: Iwaszko T. Hanlingsfluchten aus dem Konzentrationslager Auschwitz //Hefte von Auschwitz. 1964, Nr. 7. S. 40–41.

337

Местное польское население охотно помогало польским беглецам, неохотно, но помогало — русским, а еврейских, как правило, выдавало.

338

Случай с Пестиком, кажется, единственный в своем роде. Впрочем, упомянем и дезертирство украинской охранной роты, откомандированной в Аушвиц в марте 1943 г. См.: HZ. Fa 183/1. Bl. 229. См. также: Lasik A, Die SS-Besatzung des KL Auschwitz // Dlugoborski W., Piper F. (Hg.). Studien zur Geschichte des Konzentrations — und Vfernichtungslager Auschwitz. Bd.I-rV. Oswiecim, 1999. S. 338.

339

Кату М. Die Flucht der Auschwitzer Haftlings Vitoslav Lederer und der tschechischer Widerstand //Theresienstudier Studien und Dokumente 1995. Prag, 1999. S. 157–183.

340

После их побега все регистраторы-евреи лишились своих мест.

341

Swiebocki H. Auschwitz: What Did the World Know During the War? // London has been informed... Reports by Auschwitz escapees. Oswiecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 2002. P. 24–42.

342

См.: Report of Czeslaw Mordowicz and Arnost Rosin // London has been informed... Reports by Auschwitz escapees. Oswiecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 2002. P. 275290. В частности, о «зондеркоммандо»: P. 212–214. О самих Ч. Мордовичеи А. Росине-см. в том же издании: P. 42–53. См. также: Swiebocki H. Auschwitz: What Did the World Know During the War? // London has been informed... Reports by Auschwitz escapees. Oswiecim: The Auschwitz-

343

Одним из участников этого побега был варшавский еврей Майорчик.

344

Странно, что он не упоминает о самом побеге.

345

Czech, 1989. S. 314–315, 323–324. Эти события отражены в воспоминаниях Хесса, в показаниях сотрудника политотдела Пери Брода (KL Auschwitz in den Augen der SS: Hass Broad, Kremer. Oswiecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 1973. S. 77f, 162–168, 227) и в дневнике И.Кремера за 24.10.1942 (Kremers Tagebuch //Hefte von Auschwitz. Nr. 13. 1971. S. 50, 113).

346

Жертвами самосуда стали, если верить Б. Бауму, и некоторые узники основного лагеря Аушвиц I, в частности бельгийский еврей, выдавший гестапо десятки соотечественников, или — в новогоднюю ночь 1945 года — капо Шульц (Baum, 1962. S. 102).

347

См. комментарий к «Чешскому транспорту». Мужчин из этого транспорта направили на крематорий III, а женщин — на крематорий II. Сообщения об этом случае весьма часты, причем не только узников «зондеркоммандо», но и обычных заключенных. При этом, как правило, они весьма неточны в деталях. См., например, «свидетельство» Ш. Драгона, якобы присутствовавшего при этой сцене и находившегося всего в 5 метрах от женщины, застрелившей Шиллингера (Greif, 1999. S. 163–165). В лагере после этого даже распространился слух, что остальных евреев из этой группы

нацисты были вынуждены выслать живыми за границу (здесь — в передаче Аврома-Берла Сокола из Высоко-Мазовецка. См: ZIH. Relacje 2250). Сообщают об этом инциденте и те, кто совершил удачный побег из Аушвица, в частности И.Табо.

348

Свидетельство Э. Айзеншмидта (Greif, 1999. S. 282–283)

349

Fromer R. The Holocaust Odyssey of Daniel Bannahmias, Sonderkommando. / Introduction Stewen B. Bowman. Tuscaloosa and London, University of Alabama Press, 1993. P.XIX. Греческие историки датируют событие интервалом между 21 и 29 сентября (Там же). А. Килиан полагает, что селекция «зондеркоммандо», состоявшаяся 23 сентября 1944 г., могла быть в том числе и реакцией на побег А. Эрреры (Zeugen, 2002. S. 266). В таком случае сама по себе попытка этого побега могла состояться только 21 или 22 сентября.

350

ZIH. Relacje 301/449. S.I; АРМАВ. Nr. 13390.

351

Кстати, за все время существования концлагеря в Аушвице из него бежало 667 чел. Только 270 из них были пойманы и казнены (единственный неказненный — немец Otto Kusel), а остальные увенчались успехом (см.: АРМАВ. Nr. 175036).

352

Одних только касиб (контрабандных писем) они вынесли более тысячи (подробнее о польских побегах из Аушвица и о взаимодействии польского подполья в основном лагере с партизанами Армии Крайовой в окрестностях Аушвица см.: Garlinski J. Fighting

Auschwitz. The resistance movement in the concentration camp. London, 1975).

353

Среди них, например, и Израэль Гутман — впоследствии известный исследователь Холокоста. Он был одним из связных между двумя группами Сопротивления — польской в основном лагере (в которой сам он представлял еврейский компонент) и еврейско-«зондеркомандовской» в Биркенау (Guiman I. Der Aufstand der Sonderkommando. // Auschwitz. Zeugnisse und Berichte. / Hg. von H.G. Adler, H. Langbein, E. Lingens-Reiner. 2. Auflage. Koln — Frankfurt-am-Main. Europaische Vferlagsanstalt, 1979. S. 213–219). Б. Баум пишет о советском еврее Монеке Маевиче, работавшем в той же самой прачечной, что и сам Баум (Baum, 1962. S. 79–80).

354

Halvini, 1979. P. 125–127.

355

От АК («Армия Крайова») и АЛ («Армия Людова») — польских движений вооруженного сопротивления, сориентированных, соответственно, на Лондон и на Москву.

356

Baum, 1962. S. 86–90.

357

В качестве основного связного с Биркенау и с крематориями Б. Баум называет австрийского коммуниста Симру, работавшего шофером (Baum, 1962. S. 74).

358

См.: Report of Rudolf Vrba and Alfred Wetzler // London has been informed... Reports by Auschwitz escapees. Oswincim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 2002. P. 239–241,

359

Среди сотен членов «зондеркоммандо» были также единичные советские военнопленные и поляки — первые были активнейшим элементом подготовки и проведения восстания, тогда как поляки — из опасений их предательства — ни во что не были посвящены.

360

Baum, 1962. S. 86–90.

361

Baum, 1962. S. 75–76.

362

Baum, 1962. S. 100–102.

363

Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1. Oswiecim, 1972. S. 155. Пассаж, надо сказать, пророческий, особенно если вспомнить, например, попытки Б.Баума приписать остановку и разрушение печей в Биркенау химерическому влиянию подпольной газеты «Эхо Аушвица», которую он якобы редактировал.

364

Свидетельство Э. Айзеншмидта. Он даже обвинил поляков в прямом предательстве, имея, однако, в виду польских членов «зондеркоммандо» (Greif, 1999. S. 284–286).

365

Но не следует преувеличивать и масштабы этого сотрудничества, История Б. Баума и И. Гутмана про 20 юг взрывчатки, парашютированной союзниками польским партизанам и доставленной ими малыми дозами в лагерь, — это выдумка и сказка (Halivni, 1979. P. 129–130). Не парашютировать, а просто сбросить на крематории банальную авиабомбу союзники так и не удосужились.

366

В сентябре 1944 г. 200 членов «зондеркоммандо» были убиты в Аушвице I.

367

Halvini, 1979. P. 127.

368

Здесь: крематорий III. — П.П.

369

Inmitten des grauenvollen Verbrechens: Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1. Oswiecim, 1972. S. 186–187.

370

Свидетельство Зигмунда Соболевского (Yad Vashem Archive. 03/8410. P. 55–58). Кстати, после войны З. Соболевский и Христианско-еврейское общество Альберты, куда он переехал, хотели установить на этом месте памятный знак, но поляки буквально оцептелились и даже слышать об этом не хотели.

371

Свидельство Ф. Мюллера (Langbein H. Der Auschwitz-Prozess. Eine Dokumentation [in 2 Bd.]. Wien — Frankfurt — Zurich: Europa Verlag, 1965. S. 131).

372

Так, Д. Бен-Амиас сообщал о том, что ашкеназы презирали сефардов, называли их cholera или korva (от hwores — мерзавцы, ублюдки). См.: Bowman S.B. The Greeks in Auschwitz // Fromer R. The Holocaust Odyssey of Daniel Bennis, Sonderkommando. Tuscaloosa and London, University of Alabama Press, 1993. P. XXI.

373

Venezia, 2008. S. 142–145.

374

Ш. Венеция полагает, что между членами «зондеркоммандо» существовали в целом солидарные отношения, залогом которых была их относительная сытость и бытовое благополучие (Venezia, 2008. S. 150–151).

375

Langbein, 1979. S. 230.

376

Ф. Мюллер уточняет: восстание намечалось на пятницу.

377

Возможно, что эта мера была продиктована соображениями не только трудовой целесообразности, но и безопасности, об угрозе которой эсэсовцам стало известно (или стало понятно).

378

Согласно Л. Когену, убить их собирались фирменно по-эсэсовски — аутопсией (уколом фенола).

379

Происхождение клички связано, возможно, с тем, что он периодически закрывал глаза. Стриженный и коренастый блондин, он был настоящим монстром. Развлекаясь, он стрелял в живых людей, целясь с расстояния 15–20 м в определенные части тела, после чего бросал убитых или раненых в печь (NATZARH M. HRONIKO. 1941–1945. LARYMA ETZ AXATM. ФЕНАЛОМКН, 1991. P. 45).

380

Greif, 1999. S. 356–358.

381

А по некоторым данным (например, Ш. Венеция), и еще раньше.

382

О том, что восстание отложили из-за того, что через Биркенау прошла и на несколько дней здесь остановилась крупная немецкая военная часть, свидетельствует и Я. Габай (Greif, 1999. S. 226).

383

Zeugen, 2002. S. 258–261.

384

По некоторым сведениям, его предал Митек Морава, антисемит и польский оберкапо на крематориях II и III. Обершарфюрер СС Эрих Мусфельдт — в Аушвице с августа 1940 по ноябрь 1941 г., начальник крематория в Майданеке — с июня 1942 по начало апреля 1944 г., с 6.4.1944 снова в Аушвице. Приговорен к смерти в Кракове 22.12.1947, приговор приведен в исполнение.

385

Kraus, Kulka, 1991. S. 351–353.

386

По другим версиям, это произошло все же раньше — в начале августа или даже в июне.

387

Cohen L. From Greece to Birkenau: the Crematoria workers uprising. Tel Aviv, 1996. 107 p. См. также: Greif, 1999. S. 356–359.

388

Л. Флишка и В. Сокол — правда, с чужих слов — называют Градовского даже единственным и главным руководителем восстания (ZIH. Relacje 301/1868).

389

Свидетельства Я. Габая и Э. Айзеншмидта (Greif, 1999. S. 222, 285). Кроме майора восстание готовили еще три русских еврея.

390

Вместе еще и с Х. Херманом.

391

Номер Доробуса неизвестен, а номер Гандельсмана — 106112.

392

Левенталь пишет и еще об одном человеке — о Майорке Элуше из Гостынина: но он, готовясь к одиночному побегу, был выдан своими и ликвидирован.

393

Материалы процесса Р. Хёсса и другие источники.

394

Краус и Кулка называют его, наряду с Паничем, лидером восстания. О его записках эти авторы даже не подозревают (Kraus, Kulka, 1991. S. 356–358).

395

Он был связным с польским подпольем. Владек был польским капо еще со времен Аушвица I. В Биркенау он жил в блоке 2 и мог свободно ходить по лагерю. Его дважды забирали в блок 11 основного лагеря, подозревая его в связи с коммунистами и с подпольем. Но во второй раз он попал в крематорий уже в мешке.

396

Нам сообщено В. Плосой (Освенцим).

397

Greif, 1999. S. 172.

398

146 Langbein, 1979. S. 227–238; Bowman S.B. The Greeks in Auschwitz // Fromer R. The Holocaust Odyssey of Daniel Bennis, Sonderkommando. Tuscaloosa and London, University of Alabama Press, 1993. P.XVIX. См. также: Venezia, 2008. S. 127–128.

399

Его застрелил Моль еще до восстания.

400

Greif, 1999. S. 222–223.

401

Greif, 1999. S. 175–176.

402

Этот человек как раз и завербовал Ш. Драгона в ряды заговорщиков. Скорее всего им был Альтер Файнзильбер (Станислав Янковский), воевавший в Испании (см. о нем выше).

403

Greif, 1999. S. 356.

404

Yad Vashem archive. TR 17. JM 3498.

405

ZIH. Relacje 301/335. S. 7.

406

Muller, 1979. S. 229–230.

407

Свидетельство Э. Айзеншмидта (Greif, 1999. S. 285).

408

Gutman, 1979. S. 213–219.

409

См.: In Honor of Alla Gertner, Roza Robota, Regina Safirztajn, Ester Wajcblum. Martyred Heroines of Jewish Resistance in Auschwitz, executed on January 5, 1945.

410

In Honor of Alia Gertner. 1992. P135.

411

И. Гутман ссылается при этом на свидетельство Иешуа Айгера: Айгер И. Соппротивление в Аушвиц-Биркенау // Fom letzten khurban. Munchen, 1948, Nr.10. S. 70–75 (на идиш). Среди русских узников Аушвица был советский военнопленный Иван Бородин (№ 2535), родившийся в Сухолистах, пекарь по профессии (АР-МАВ). Увы, индивидуальная карточка советского военнопленного с таким номером не сохранилась, но, судя по номеру, он должен был бы поступить в Аушвиц в октябре 1941 г.

412

Ш. Венеция пишет, что роль связного исполнял человек по имени Альтер. Возможно, это Альтер Файнзильбер (см. выше), но скорее всего подразумевается все тот же Айгер (Venezia, 2008. S. 167–168).

413

Greif, 1999. S. 172–175.

414

Свидетельство Э. Айзеншмидта (Greif, 1999. S. 284–285).

415

По мнению М. Нижли, никакая не селекция, а полное уничтожение: появившись на крематориях в апреле (или, по другим сведениям, в июне) 1944 г., он почему-то свято верил в то, что ротация «зондеркоммандо» происходит каждые 4 месяца. Он даже пишет о 12-й, 13-й и 14-й «зондеркоммандо», с которыми соприкоснулся лично.

416

Nyiszli, 1960. P. 153–167. Происхождение этих различий довольно труднообъяснимо. Статус М. Нижли придворного патологоанатома доктора Менгеле, весьма успешно справляющегося со всеми своими обязанностями, — допускал довольно тесное общение с ним (например, обсуждение последних новостей с фронтов, о которых Нижли узнавал, ежедневно читая «Фелькише беобахтер»), но все же едва ли располагал заговорщиков к откровенности в вопросах подготовки восстания.

417

Свидетельство Э. Айзеншмидта (Greif, 1999. S. 283–284). Скорее всего тут подразумевается Йосель Варшавский (Доребус). Вместе с тем Ш. Драгон утверждал, что гранатами воспользоваться не удалось, поскольку помещения, где они были спрятаны, уже горели (Greif 1999. S. 177). В то же время Я. Габай утверждает, что подрыв крематория IV — дело рук двух греков: Ицхака Барсилая и артиллерийского офицера по имени Рудо (Greif 1999. S. 224). Согласно А. Килиану, это сделал капо Шлойме Кирценбаум (Zeugen, 2002. S. 271).

418

Сам Ф. Мюллер пишет, что перебежал из крематория V в крематорий IV и спрятался в канале между печью и трубой. Дождавшись ночи, он попытался пробраться под ее покровом в сторону «Канады», но понял, что охрана усилена, и вернулся. Там же, в трубе, он и переночевал, а наутро его прикрыл капо Шлойме, и он пристал к его бригаде (Muller, 1979. S. 251–255).

419

Ф. Мюллер сумел перебежать на крематорий IV и спрятаться там; то же сделали и Ш. Драгон, и Таубер.

420

См. также: Langbein, 1979- S. 232. К. Конвоент сообщил о том, что знал, шарфюреру СС Буху, а тот передал дальше, что и привело к очень быстрой реакции СС. Вероятнее всего, прежде чем бросить в печь, его убили: в пепле потом нашли, согласно Э. Айзеншмидту, его ключ от крематория (Greif, 1999. S. 286), а согласно Ш. Венеция — пуговицы от его пиджака (Venezia, 2008. S. 175–176). По другой версии, предателем был Макс Фляйшер (по-видимому, второй рейхсдойче, политический; он был капо на крематории III).

421

Я. Габай приводит довольно фантастическую историю о своем двухкратном посещении жены в 15-м бараке женского лагеря в

зоне Б. Второй такой визит, по его словам, состоялся 4.10.1944-го, когда ему, Габаю, уже было известно о приближающемся восстании, о чем он, как хороший муж и плохой заговорщик, чистосердечно предупредил и жену (Greif 1999. S. 214–215). Эта история строится на нескольких маловероятных допущениях: а) на допущении деконспирации восстания по легкомыслию, б) на разрешении праздных воскресных прогулок узников, живших в крематории III, по территории крематория II, где часть из них работала в остальные дни, в) на возможности петть и говорить так громко, что женщины в 15-м бараке женского лагеря (в третьем ряду от угла территории крематория III, то есть в нескольких сотнях метров) могли не только услышать эти звуки, но и отвечать на них, причем так, что г) содержание разговора понимали одни только беседующие.

422

В комментариях к публикации записок Левенталя сообщается, что имелась заблаговременная договоренность между крематориями, что ее «зондеркоммандо» не принимает участия в восстании.

423

Zeugen, 2002. S. 270.

424

За два часа до событий капо Элиезер Вельбель с крематория IV предупредил Лемке о том, что выступления не будет.

425

Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1. S. 188–189 (сам текст «600 нагих» принадлежит Л. Лангфусу).

426

Согласно Ф. Мюллеру, восстание началось на крематории IV, причем довольно спонтанно и неорганизованно, а именно с того, что советский военнопленный набросился на эсэсовца, прыгнул на его велосипед и покатил.

427

Ш. Венеция, правда, говорит, что согласно разработанному плану он и один русский военнопленный, вооруженные топором и ножом, около двух часов поджидали за дверью появление немецкого охранника для того, чтобы наброситься на него и убить (Venezia, 2008. S. 171–172).

428

Greif, 1999. S. 359.

429

Л. Коген говорил Г. Грайфу, что в случае восстания на Крематории III его задача состояла бы в поджоге крематория.

430

Существенно установить, когда это произошло. Д. Чех полагает, что 10.10.1944-го, ориентируясь, судя по всему, именно на дату записи Левенталя. Но ничто не противоречит тому, что это произошло и накануне — 9.10.1944.

431

Свидетельство З. Соболевского (Yad Vashem Archive. 03/8410. P. 55–58).

432

Соболевский вспоминает о подрыве крематория IV в Биркенау и об еврейках, сумевших пронести динамит с оружейного завода («Unionwerke» выпускал ручные гранаты), где они работали, в «зондеркоммандо». Взрыв произошел в субботу, 7 октября, примерно в 12.15. Соболевский был начальником бригады пожарных из заключенных. Были еще пожарники и из эсэсовцев. Когда они приехали, то крематорий уже практически сторел. По этой причине нарушился производственный процесс в газовых камерах, около 450 евреев вывели из них, и обершарфюрер Вильгельм Клаузен (большой покровитель спорта и рефери во время футбольных матчей и боксерских боев) лично расстреливал их тут же, на месте, предварительно разбивая на группы в 5–6 человек и приказывая раздеться и лечь ничком («Hinlegen!»), Был он в резиновых сапогах, залитых кровью. Соболевский впервые стал непосредственным свидетелем убийства и ощутил под ложечкой неприятное чувство: он оказывался носителем опасной тайны (Geheimnis), а стало быть, и возможной будущей жертвой, так как соприкоснулся с этим действием чересчур близко. Вдоль края крематория лежала куча пепла высотой с большую свечу с несгоревшими костями и другими человеческими останками (куски пальцев и т. п.), слегка прикрытая брезентом, который тоже вспыхнул от искр. Там же было решето наподобие тех, что применяли на стройках дорог для просеивания песка и отделения от гравия. В данном случае отделялись непрогоревшие человеческие пальцы и т. п. (Yad Vashem Archive. 03/8410. P. 55–58). Еще один член «зондеркоммандо» из крематория III — фюрарбайтер Милтон Буки вспоминал, что при подавлении восстания около 15 человек убил лично Стефан Барецки, блокфюрер барачков для «зондеркоммандо». Сам Барецки рисует совершенно иную картину: восстание началось у другого крематория — II. Барецки там был и выставил дозор у р. Солю, а потом поехал на крематорий III; выстроили и там оцепление, прочищали лес (Langbein Der Auschwitz. Eine Dokumentation [in 2 Bd.]. Wien — Frankfurt — Zurich: Europa Verlag, 1965, S. 130.).

433

Czech, 1989. S. 900.

434

Czech, 1989. S. 900.

435

См. KL Auschwitz in den Augen der SS: Hoss Broad, Kremer. Oswiecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum, 1973. S.

436

Он работал на крематории II.

437

Langbein K Der Auschwitz. Eine Dokumentation [in 2 Bd.]. Wien-Frankfurt-Zurich: Europa Verlag, 1965. S. 131.

438

Он бежал из гетто местечка Ошаков благодаря связям с социалистическим подпольем, получил поддельные документы и долгое время переходил из деревни в деревню, выдавая себя за поляка и живя на деньги за мелкую работу по найму. Его выследили и схватили при облаве 18 ноября 1942 года, причем за фальшивые документы и подрывную деятельность ему как польскому подпольщику угрожал расстрел; испугавшись, он признался в том, что он еврей(!), после чего долгое время провел в тюрьмах и пережил многочисленные допросы и пытки. В январе 1944 г. попал в Освенцим (где получил номер 171701). Как этапированный из тюрьмы он был записан в картотеку прокуратуры и носил зеленый знак (уголовника) — так что он не проходил селекции, и его сразу определили в трудовую бригаду (ЗИН. Relacje 301/1904).

439

ЗИН. Relacje 301/1904.

440

Zeugen, 2002. S. 258–281.

441

ZIH. Relacje 301/335. S. 7.

442

Venezia, MOS. S. 176.

443

Greif, 1999. S. 224. Кстати, возможно, что этим капо (а не просто электриком) был Э. Айзеншмидт, у которого (как у «электрика», по его словам) была своя отдельная комнатка в жилой зоне крематория.

444

Der Aufstand des Sonderkommandos im Auschwitz-Birkenau. Dossier zum 50. Jahrestag des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau. Frankfurt-am-Main, Oktober 1994. 37S.,ill.

445

См. также: Kogan, 1979. S. 220–222.

446

Czech, 1989. S. 900.

447

ГАРФ. Ф.Р-7021. Оп.108. Д.20. Л.3–4. См. также: Czech, 1989. S. 901–902.

448

Впоследствии он стал одним из главных уцелевших свидетелей — членов «зондеркоммандо».

449

Янковский находился в лагере до 18.1.1945-го когда вместе с 7000 других узников его отправили пешим маршем на запад. Около Рыбника ему удалось бежать из транспорта. После двухмесячных скитаний он прорвался к Советской армии возле г. Водзи-слава.

450

Его брат, Генрих, умер позднее в Австрии от голода, не дожив до освобождения американскими войсками всего два часа! (Greif, 1999. S. 322–324).

451

То, что не было вынесено никаких приговоров, говорит скорее всего о том, что все подследственные в ходе расследования погибли.

452

Czech, 1989. S. 903. Со ссылкой на: АРМАВ. D-Aull-3a/2, Inventarnummer 29722. Wsp./51, Bd.I, S. 150; Douna Ourisson; Osw.-/252, Bd. 10; Raya Kagan, Frauen in Amt der Halle, S. 49–60; Raya Kagan. Die letzten Opfer des Widerstandes// Auschwitz, S. 282–284; Michai Grinberg. Zydzi w rejencji ciechanowskiiij 1939–1942. Warsaw, 1984. S. 126–127.

453

Отдел регистрации актов гражданского состояния.

454

Kagan, 1979. S. 220–222.

455

Gutman, 1979. S. 213–219.

456

Czech, 1989. S.902. Со ссылкой на: АРМАВ. Dpr. ZO/29, Bl. 107. Высказывания бывшей узницы Густавы Кинзелевской; Wsp./51, Bd.1, S.50 — 169/Douna Ourisson; Osw./252, Bd. 10, S. 49–60.

457

Czech, 1989. S. 903–904. Со ссылкой на: АРМАВ. D-AulII-3a/llc/349, FL Arbeitseinsatzlisten; Osw./252.

458

Bd.10, S. 49–60; Raya Kagan, Frauen in Amt der Halle.

459

Gutman, Israel. Der Aufstand der Sonderkommando. // Auschwitz. Zeugnisse und Berichte. / Hg. von H.G. Adler, H. Langbein, E. Lingens-Reiner. 2. Auflage. K?ln — Frankfurt-am-Main. Europaische Verlagsanstalt, 1979. S. 213–219.

460

См.: In Honor of Alla Gertner, Roza Robota. Regina Safirztajn, Ester Wajcblum. Martyred Heroines of Jewish Resistance in Auschwitz, executed on January 5, 1945.

461

In Honor of Alla Gertner. 1992. P. 131.

462

Так в тексте.

463

Inmitten des grauenvollen Verbrechens: Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1. Oswiecim, 1972. S. 126–127.

464

Jeziarska M. E. Archeologia oswiecimska /VTygodnik Powzsechny. No. 5. 3. 2.1963. P. 1–2.

465

См. В анонимной преамбуле: Bergung der Dokumente // Briefe aus Litzmannstadt. Koln, 1967. S.7-13.

466

Inmitten des grauenvollen Verbrechens: Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos, Hefte von Auschwitz. Sonderheft 1. Oswiecim, 1972. S. 132–171.

467

Дов Пейсахович из Бессарабии знал об этом и даже пытался в 1965 г. разыскать нужное место, но так ничего и не нашел. См. Jad Vashem Archives. TR17. JM, 3498,

468

Greif, 1999. S. 201–202. Это свидетельство вызывает, однако, большое сомнение. Создатели крематориев из фирмы «Топф и сыновья» недаром говорили об отсутствии всякого пиетета к трупам, так как никакой технологической возможности отделить пепел одной жертвы от пепла другой в Биркенау просто не было.

469

Nyiszli, 1960. P. 123–124. Многое, конечно, заставляет усомниться в достоверности этого сообщения. Даже в преддверии ожидавшейся ликвидации старожилов зондеркоммандо» самый сбор двухсот подписей был самоубийственным мероприятием. К тому же почему о таком массовом мероприятии не вспоминает никто, кроме Нижли, даже сам Д. Одере.

470

См. ниже.

471

АРМАВ. № 280–282. В 1950-е годы оригинальные пластины были утеряны, но сохранились негативы, сделанные с их пересъемок. Обычно публикуются первые две фотографии, причем отредактированные: на них изображены только люди и дым, без какой бы то ни было рамочной перспективы; гораздо реже печатается третья и почти никогда четвертая, где людей нет, а только пейзаж (см. подробнее: Stone D. The Sonderkommando Photographs // Jewish Social Studies. New Series. 2001. Vol. 7. № 3. P. 131–148).

472

Вот текст касибы: «Срочно. Отправьте эти две металлические катушки с пленками (2,5 и 3,5 дюйма) как можно скорей. Возможно получить отпечатки. Мы шлем фотографии из Биркенау — люди, которых газировали. На фотографии костер из тел, сжигаемых снаружи. Тела сжигают снаружи тогда, когда крематории не справляются со сжиганием необходимого количества. На переднем плане тела, приготовленные для того, чтобы быть брошенными

ми в костер. Другая фотография показывает одно из мест в лесу, где людям приказывают раздеться якобы для того, чтобы идти в баню, а на самом деле в газовую камеру. Отправьте катушки как можно скорей...» (Цит. по: Stone D. The Sonderkommando Photographs // Jewish Social Studies. New Series. 2001. Vol. 7. № 3 (Spring-Summer). P. 142).

473

См. свидетельство Д. Шмулевского (нам сообщено В. Плосой, Освенцим). Б. Ярош в связи с фотографиями упоминает целую фотобригаду в составе: Алекс-грек, Шлоймо и Йосель Драгоны, Шмуль Файнзильберг и Давид Шмулевский (Jarnsen B. Les organosations de la rosistance et leur activite ete l'exterieur du camp // Piper F. etSwiebocka T. (Ed.). Camp de concentration et d'extermination. Oswincim, 1994. P. 248). Но не так уже и важно, кто именно нажимал на фотозатвор, а кто стоял «на стрёме»: организация такого фотосеанса могла быть — и была! — только коллективной.

474

Сам Панич, застрелив в день восстания эсэсовца, совершил самосожжение в печи (ЗИН. 301/1868. То же: Yad Vashem. M.I 1, папка 224, на идиш).

475

Zeugen, 2002. S. 265–266.

476

Это, вне всякого сомнения, Лейб Лангфус (см. ниже).

477

О Довиле Нонилэ и о Леоне Французе высказывается предположение, что они выжили.

478

Greif, 1999. S. 205. 500-страничный дневник погиб, но Я. Габай подчеркивает, что уже одно его наличие тренировало его память, благодаря чему он прекрасно помнит не только события, но и многие даты.

479

См. об этом подробнее во вступительной статье.

480

В это время в Освенциме был развернут Терапевтический полевой подвижной госпиталь (ТППГ) 2692, начальником которого была майор медицинской службы, доктор медицинских наук Маргарита Александровна Желинская (сообщено А. Ю. Валькович).

481

См. справку, выданную А. Заорскому 21.2.1945 г. о том, что он добровольно работал с 6 по 20 февраля в воинской части 14884 (начальник — майор Вейников) и по окончании работы проследовал в г. Краков (АРМАВ. D-RO XXIV. 1358/114).

482

АРМАВ. Bd 70. B1. 212f (Отчет д-ра А Заорского, март 1971).

483

АРМАВ. D-RO XXIV. S.91. В деле имеются также переводы письма на французский и польский языки.

484

АРМАВ. D-RO/147. Собрание документов о движении Сопротивления. Т. XXIV Л. 91. Остается все же не вполне ясным, дошло ли письмо непосредственно до адресата — жены автора письма.

485

Возможно, он полагал, что у текста на французском языке больше шансов достичь адресата во Франции, чем у текста на идиш. Между тем каждый зарегистрированный узник любого немецкого концлагеря был вправе дважды в месяц получать и писать письма своим родным; принимались письма, написанные исключительно на немецком языке и как можно более стандартными фразами; письма цензуровались. М. Нижли сообщает даже о навязывании узникам в июне-июле 1944 г. почтовых карточек с обратным адресом «Am Waldsee» вместо Аушвица или Биркенау (Nyiszli, 1960. S. 113). А незадолго до ликвидации «чешского лагеря» его обитателям предлагалось разослать открытки с липовыми адресом отправителя «Ной-Берун» (то есть «Новое Биркенау») и липовой датой (25.3.1944).

486

Вместе с 200 членами «зондеркоммандо» он был вывезен 24.2.1944 г. в Майданек (Люблин) и там уничтожен.

487

Обоих упоминает З. Левенталь.

488

Из записей Лейба Лангфуса явствует, что это действительно произошло, но несколько позже — 26.11.1944 г.

489

Аннотация копии документа, хранящейся в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, и приложенная к ней «Служебная запис-

ка» от 2 апреля 1974 года магистра Яна Куча, сотрудника краковского регионального бюро Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений.

490

О служебном положении В. Баруса в записке Я. Куча ничего не говорится, но, судя по всему, он работал на стыке партийной и культурной иерархий. В Главную комиссию по расследованию он обратился после того, как на глаза ему попала публикация «Рукописи неизвестного автора» в посвященном «зондеркоммандо» специальном выпуске «Аушвицких тетрадей», вышедшем на польском языке в 1971 году.

491

Имеется в виду Польская объединенная рабочая партия (аналог коммунистической), обладавшая монопольной властью в стране до 1989 года.

492

Весьма вероятно, что здесь подразумеваются успешные раскопки с участием Я. Порембского в 1962 году.

493

Biulletin ZIH. 1954, Nr. 9-10. S. 303–309.

494

Mark, Esther. Notes on the identity of the Anonymous author and on his manuscript // The Scrolls of Auschwitz. Tel-Aviv, 1985. P. 166–170.

495

Mark, Esther. Notes on the identitz of the Anonymou auther and on his manuscript // The Scrolls of Auschwitz. Tel-Aviv, 1985. P. 168.

496

Nyiszli, 1960. P. 195–197. Нижли описывает его как худого, слабого и черноволосого человека.

497

Эти воспоминания находились в архиве Б. Марка.

498

Возможно, именно с этим транспортом попал в Аушвиц и Д. Каценельсон.

499

Отто Моль (1915–1945, Дахау) — гауптшарфюрер СС, в Аушвице-Биркенау с 2.5.1941-го по сентябрь 1945 г., начальник бункера в центральном лагере с декабря 1942-го по сентябрь(?) 1943 г., с мая по сентябрь 1945 г. — начальник всех крематориев. О его зверствах см. также в свидетельстве Я. Габая (Greif, 1999. S. 217–219).

500

Возможно, автор ошибается в дате, так как пржемысльский транспорт прибыл только в сентябре 1943 г.

501

На самом деле селекции и ликвидации подверглись только 100 человек.

502

См. протокол приемки от 10.11.1970 (АРМАВ. F13. Wsp. 420).

503

По другим сведениям, из Скидл или из Цеханува. Капо (на крематории III) он стал в январе 1943 г., а оберкапо — в середине апреля 1944 г. (Friedler, 2002, S, 378).

504

См.: Szukajcír w ropiókach. Lodz, 1965. S. 7. В то же время о нем как о яром антисемите и садисте вспоминал А. Файнзильбер, а некоторые указывали и на то, что именно он донес на капо Каминского.

505

См.: Die Bergung der Dokumente // Briefe aus Litzmannstadt / Hrsg, von Jamisz Oumkowski, Adam Rutkowski und Arnfried Astel. Koln: F. Middelhaue, 1967. S. 89–96 (Пер. P. Lachmann u. A. Astel; см. также: Willy und der Verfasser, S. 7—13).

506

См. атрибуцию в: Fuchs H. L. The Heavently Lodz. Tel Aviv, 1972. P. 184–185.

507

Самая ранняя дата — около 16 сентября 1943 г.

508

Greif, 1999. S. 222.

509

Его имя встречается и в транспортном списке.

510

Л. Коэн при этом выделяет его, как человека, отличившегося во время восстания в крематории IV.

511

АРМАВ. D-Mau-3/9/8. Zugänge vom KL Auschwitz, s. 90.

512

См. также его книгу на английском языке: NATZАРНМ. НРОНИКО. 1941–1945. LIRYMA ETI AXATM. OESIAAONIKH, 1991. 66 с. [рукопись, размноженная на гектографе]. См. Также его книгу на английском языке: АРМАВ. Syg. Wsp./ Nadjar/ 1073.

513

См. соответствующий протокол, подписанный Ф. Пипером 25.10.1984 г. (АРМАВ. Wsp. / Nadjar Marcel. Bd. 135).

514

Сообщено М. Коницким-Гольденфингером.

515

54 Сообщено Н. Гальперин.

516

См. об этом подробнее: Suchoff, David. A Yiddish Text from Auschwitz: Critical History and the Anthological Imagination //Prooftexts. 1999. No. 19. P. 59–68. Его издательская и читательская

судьба оказалась несравнимо удачливее: летом 1945 г. А. Левит находился в лагере для перемещенных лиц под Штуттгартом. Там он передал свою рукопись каплану Морису Дернбовицу. Через посредство профессоров Абрама Йешуа Хешеля и Макса Арцта из Еврейского теологического семинара в Нью-Йорке рукопись попала в JTVO и уже в 1946 г. увидела свет в его «Записках». В 1957 г. И. Гутман включил ее, в переводе на иврит, в книгу «Люди и прах» — антологию материалов об Аушвице и Биркенау (см. библиографию). Но еще до этого — 12 мая 1953 года — тогдашний министр образования и культуры Израиля Бенцион Динур процитировал Левита в кнессете во время дебатов по поводу установления Дня памяти Катастрофы. Вскоре после этого текст вошел в обязательную программу израильской средней школы. Цитатой из А. Левита открывается новая экспозиция в музее Яд Вашем.

517

См.: Swiebocki H. Das Erstellen und Sammeln, S. 120 f. Gedenkbuch. Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. In 2 Bd. Munchen, 1993.

518

См.: Ibid. S. 128–131.

519

См.: Ibid. S. 128–131.